

ОГАРЕВ, БАКУНИН И Н. А. ГЕРЦЕН-ДОЧЬ В «НЕЧАЕВСКОЙ» ИСТОРИИ (1870 г.)

Статья и публикация С. В. Житомирской и Н. М. Пирумовой

В семейном архиве Герцена и Огарева, после их смерти хранившемся у детей Герцена, были материалы, которые семья считала не подлежащими гласности — вообще или в течение весьма длительного срока. К ним принадлежали: часть «Былого и дум», посвященная семейной драме Герцена, и связанная с этим переписка; переписка Герцена и Огарева, раскрывающая роль Н. А. Тучковой-Огаревой в жизни их обоих и детей Герцена, и, наконец, документы, связанные с С. Г. Нечаевым. Эти последние были окружены особенно глубокой и длительной тайной. Не только их обнародования, но даже какой-либо информации об их существовании дети Герцена не допустили до конца своих дней. Причины этого выясняются только теперь.

Пересылая Огареву 2 августа 1870 г. последнюю, вызывающе грубую записку Нечаева (см. п. 66), Бакунин писал: «Записку дай прочесть О(зеру)ву и отдай на сохранение Tata. Она — наш архивариус»¹. Еще до этого именно у Натальи Александровны Герцен постепенно собирались в подлинниках или копиях все письма и финансовые документы, касавшиеся совместной деятельности Бакунина и Огарева с Нечаевым и последующего их разрыва. У нее же, естественно, хранился собственный дневник того времени и переписка ее с Нечаевым.

Долг «архивариуса нечаевской истории» — если понимать его только как долг безусловного сохранения документов — Н. А. Герцен выполнила с предельной добросовестностью. Она сохранила все, что у нее было, — даже и те документы, которые, по ее же понятиям, компрометировали не только дорогую ей память Огарева, но и ее самое. Но при этом в течение многих лет, до конца своей жизни, она упорно ограждала их от гласности и отрицала само их наличие у себя. Характерен в этом отношении, в частности, такой случай. Публикуя в середине 1890-х годов письма Бакунина к Герцену и Огареву, М. П. Драгоманов для их комментирования обращался с рядом вопросов к детям Герцена. Заинтересовала его и та записка Нечаева, о которой шла речь в приведенном выше письме Бакунина от 2 августа 1870 г. Но, судя по примечанию Драгоманова к этому письму, Н. А. Герцен заявила ему, что никакой записки Нечаева она от Огарева не получала². Той же линии поведения она придерживалась и далее. На первый взгляд это трудно понять. Ведь уже к началу XX в. факт причастности Н. А. Герцен к группе, связанной в 1870 г. в Швейцарии с Нечаевым, был освещен опубликованными к тому времени письмами и воспоминаниями. Скрывать документы, относящиеся к этому кратковременному эпизоду, казалось бы, не было смысла. Более того, обнародование их (как можно утверждать теперь, после знакомства с ними), объяснив подлинные, чисто идейные причины разрыва ее, Бакунина и Огарева с Нечаевым, устранило бы многие обвинения, родившиеся из скудости источников. Но этого как раз и не могла сделать Н. А. Герцен: документы, о которых идет речь, противоречили той версии «нечаевского дела», которую она настойчиво стремилась представить читающей публике и специалистам. С наибольшей полнотой эта версия отразилась в ее воспоминаниях «Нечаев и дети А. И. Герцена», написанных, по-видимому, не без влияния близкого к ней тогда Ф. И. Родичева и напечатанных в 1931 г. в парижской эмигрантской газете «Последние новости»³. Непосредственным поводом к этому выступлению в печати послужила вышедшая в Париже в 1930 г. книга Е. Извольской «Vie de Bakounine», изложение в которой интересующего нас эпизода Н. А. Герцен сочла нужным опровергнуть публично, напечатав свою версию событий. Выясняется, однако, что версия эта сложилась у нее гораздо раньше полемики с Извольской. Сохранился и недавно поступил в московский Музей А. И. Герцена черновик письма Н. А. Герцен в Москву от 9 января 1927 г. Он написан рукой Ф. И. Родичева, но авторство Н. А. Герцен подтверждается приписанной ему в конце собственноручно фразой о В. Н. Фигнер. Письмо это, без обращения, — ответ кому-то из тех лиц, которые после смерти в 1925 г. М. О. Гершензона взяли на себя труд завершить и издать книгу «Архив Н. А. и Н. П. Огаре-

вых»⁴. В ней, как известно, публиковался не печатавшийся прежде фрагмент воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой об отношениях ее и Н. А. Герцен с Нечаевым⁵.

Естественным поэтому было желание публикаторов проверить достоверность фактов в них, обратившись к живой еще участнице описываемых событий. В своем ответе Н. А. Герцен решительно опровергала рассказ Тучковой-Огаревой. Она писала:

«1) Крупнейшее заблуждение Нат(альи) Алекс(еевны) изложено на стр. 163, где она рассказывает, как Нечаев меня послал куда-то в горы. Бакунии и Нечаев не внушали мне никакого доверия, и я никогда не приняла бы никакого поручения от них. Огарев просил меня отвезти Нечаеву некую рукопись. Уверенная, что успею вернуться в тот же день, не предвидя, что поездка продлится дольше, я не могла говорить Нат(алье) Ал(ексеевне), что мое отсутствие продлится два дня. Ее рассказ о моей поездке сплошь неверен.

2) Нат(алья) Ал(ексеевна) вполне неверно освещает мое отношение к Нечаеву, рассказывая на стр. 168 про посещение нас Нечаевым, когда он просил приютить его. Из рассказа Нат(альи) Ал(ексеевны) выходит, как будто я была предупреждена Нечаевым и подготавливала его появление у нас. Я удивилась ему не меньше Нат(альи) Ал(ексеевны) и раньше не имела понятия о его намерении укрыться у нас (< . . .)

3) Продолжая давать неправильное освещение моему отношению к Нечаеву, Нат(алья) Ал(ексеевна) влагает в мои уста предположение, что рубец на руке Нечаева может иметь отношение к делу Иванова. — В совершенной простоте души я спросила Нечаева, что за рубец у него. «Это так, ничего», — отвечал он и заговорил о другом.

Только [много] позже я узнала правду о смерти Иванова, о значении рубца на руке Нечаева (след укуса Иванова во время борьбы). Это сообщил мне Герм(ан) Лопатин, отговаривая идти на собрание по просьбе Нечаева. Я тогда же решила не идти на это собрание. После этого никаких отношений к Нечаеву у меня не было.

И подробный рассказ о собрании, где обсуждался вопрос о Нечаеве, — во всем, что касается моего присутствия на этом собрании, — совершенный вымысел. Я на этом собрании не была не случайно, а намеренно. Узнав о роли Нечаева в трагическом деле Иванова, я не желала иметь никакого касательства к делу о Нечаеве.

У меня нет никаких моих писем к Нечаеву. Другой переписки, кроме коротеньких сообщений, у меня с Неч(аевым) не было. Мои ответы не могли иметь особого значения». Далее в черновике зачеркнуто: «И ответные мои записки к нему касались только его».

Как и в воспоминаниях 1931 г., в письме этом ошибки памяти, вполне объяснимые возрастом автора и давностью событий, сочетаются с отступлениями от истины, которые нельзя приписать простой забывчивости. Если бы Н. А. Герцен стремилась точно восстановить прошлое, то ничто не мешало ей обратиться к хранившимся у нее подлинным документам, и прежде всего к собственному дневнику тех лет и к своим письмам к Нечаеву, наличие которых она отрицала. Но именно этого она не хотела. «Нечаевский» эпизод ее биографии, несмотря на свою кратковременность, оказался решающим для всего направления ее последующей жизни: после него она раз и навсегда отстриглась от какого бы то ни было участия в революционном движении. Едва только события, связанные с Нечаевым, отошли в прошлое, они стали казаться ей невероятной и отталкивающей фантазмагорией. И если летом 1870 г. она еще могла правдиво рассказывать о своем увлечении не только в дневнике, но и в письме к М. К. Рейхель («Бросили мне пыль в глаза, рассказали разные небывицы; частью я поверила, потому что представить себе не могла, что талант лжи можно довести до такого совершенства, — ну и увлеклась я, правда на очень короткое время — не личностью, а делом одним»⁶), то вскоре она — может быть, подсознательно — начала «выпрямлять» события, чтобы оправдать прошедшее в собственных глазах. Позднее же, когда почти чудом она получила назад свои письма к Нечаеву (по рассказу М. П. Сажина, привезшего после ареста Нечаева его архив из Парижа в Цюрих, письма Н. А. Герцен к Нечаеву были ей возвращены. Подробнее см. ниже), приемлемая для нее версия могла складываться уже намеренно и за долгие годы прочно укоренилась в ее сознании.

Почти двадцать пять лет спустя, в июне 1893 г., Н. А. Герцен так освещала в беседе с Е. С. Некрасовой характер своих взаимоотношений с Нечаевым: «От Якоби мы перешли к Герману Лопатину, — записывала Некрасова в тот же день в своем дневнике. — Она говорит, что она ужасно благодарна этому человеку, что он раз пришел и предупредил ее, чтобы она не сблизилась, не знакомилась с Нечаевым, который очень хлопотал о знакомстве и просил даже у нее денег. Герман же Лопатин сказал мне, что Неч(аев) — убийца, что это не социалист, что он только убийца»⁷.



Н. А. ГЕРЦЕН — ДОЧЬ ГЕРЦЕНА

Фотография. Париж, 1869

На обороте надписи: рукой Н. А. Герцен — «Natalie, от Таты Г.», рукой Н. А. Тучковой-Огаревой — «24-го сентября 1869»; рукой Е. С. Некрасовой: «Карточка прислана Нат(альей) Алексеев(ной) Огаревой»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой, с которыми полемизировала Н. А. Герцен в приведенном письме, действительно не точны в некоторых деталях, забытых за четверть века (они были написаны в 1894 г.). Очевидны в них и субъективный взгляд автора на описываемую ситуацию, и недостаточная осведомленность. Тем не менее они во многом ближе к действительности, чем версия Н. А. Герцен⁸.

Один из главных пунктов полемики — могла ли Н. А. Герцен предполагать, что рубец на руке Нечаева был связан с убийством Иванова. Она решительно отрицала в своем письме самую возможность своей осведомленности, утверждая, что лишь «много позже узнала правду о смерти Иванова». В действительности о роде Нечаева в этом преступлении семья Герцена, как и вся революционная эмиграция в Швейцарии, знала с момента его приезда в Женеву в декабре 1869 г. Когда же русское правительство в феврале 1870 г. потребовало выдачи Нечаева, то дискуссия шла не о том, совершил ли он убийство, а лишь о характере убийства — уголовном или политическом. Как известно, Нечаев утверждал, что Иванов был убит как агент III Отделения, и добивался для себя политического убежища в Швейцарии.

Дневник Н. А. Герцен показывает, что она не только знала обо всем этом, но и одобряла убийство Иванова как политическую акцию. Еще в первый свой приезд в Женеву в начале февраля 1870 г. она обсуждала это с братом, и оба они сходились в такой оценке действий Нечаева (см. дневник). А вот как размышляла она перед своей поездкой в Локль к Нечаеву: «Ехать, сама не зная к каким людям, для свидания с убийцей — приходило и это мне в голову, — но ведь он убил шпиона, дело хорошее» (там же). Да и могла ли она рассуждать иначе? Очевидно, нет.

Анализируя три года спустя уроки нечаевщины и обращаясь к своему опыту, Ф. М. Достоевский писал: «Итак, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий (. . .)?» Говоря далее, что убийство было представлено Нечаевым товарищам как дело «политическое и полезное для будущего „общего и великого дела“», Достоевский объяснял, что в романе «Бесы» «попытался изобразить те многообразные и разнообразие мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства»⁹. Проницательное суждение писателя, стремившегося понять природу нечаевщины, как будто прямо объясняет оправдание действий Нечаева дочерью Герцена в начале их знакомства.

Но вернемся к поздним воспоминаниям Н. А. Герцен. Изображение в них характера ее отношений с Нечаевым и Бакуниным еще дальше от истины, чем в разобранном выше письме. Это с полной очевидностью доказывает подлинный ее дневник 1870 г. Вся структура и окраска этих воспоминаний подчинены двум целям: завуалировать истинные свои отношения с Нечаевым, преувеличить свое недоверие в то время к нему и Бакунину и, с другой стороны, противопоставить им Огарева. Для этого подчеркнуты разногласия Огарева с Нечаевым — будто бы имевший место его протест против некоторых пунктов в отправляемой с Татой к Нечаеву в Локль рукописи (наличие каких-то дискуссионных параграфов не подтверждается ни ее дневником, ни письмом, отправленным Огаревым Нечаеву по ее возвращении, — см. п. 13). В воспоминаниях не только не освещено реальное участие Н. А. Герцен в практической деятельности Огарева, Бакунина и Нечаева, но намеренно сдвинута вся последовательность событий. Так, она не случайно поместила изложение той беседы с Нечаевым и Бакуниным, когда они убеждали ее разрешить использовать ее имя при издании «Колокола», до рассказа о поездке в Локль: она стремилась обосновать таким способом свое утверждение, будто сразу по возвращении из Локля «потеряла Нечаева из виду». Не случайно и просьба Нечаева сделать для него рисунок, изображающие русского мужика, представлена ею так, будто целью рисунков было изготовление фальшивых денег¹⁰, а сама просьба была высказана в присутствии Бакунина. В таком варианте аморальность действий Нечаева (а вместе с ним и Бакунина) становилась очевиднее для читателя, чем если бы, в соответствии с подлинными фактами, Н. А. Герцен объяснила, что речь шла о рисунках для пропагандистских картинок, как это видно из дневника. Стремление приспособить воспоминания к позднейшим своим позициям сказалось даже в мелочах: Н. А. Герцен рассказывает в них, например, будто паролем, который должен был подтвердить в Невшателе Д. Гильому, что ее можно направить к Нечаеву в Локль, служили названия цветов. Вряд ли она забыла, что паролем служили слова «от имени Народной расправы»; но назвать их — значило бы обнаружить хоть некоторую свою причастность к делу, само наименование которого навсегда стало для нее символом лжи, клеветы, мошенничества, убийства. Еще не завершилась в ее жизни эта странная история, когда она писала М. К. Рейхель: «Осталась у меня только сильная ненависть против людей, которые проповедуют иезуитскую фразу „Цель оправдывает все средства“ и на практике доказывают или показывают, что они в этом убеждены»¹¹.

Позднее ей хотелось бы просто забыть о печальном эпизоде своей молодости. Но, лишенная возможности отрицать этот факт, уже известный в печати, она постаралась закрепить его в памяти потомства в несколько более приемлемом для нее виде. После этого ей только и оставалось упорно и до конца скрывать существование у нее «нечаевской» документации¹². В составе последней, помимо дневника и переписки с Нечаевым, оставались письма к Н. А. Герцен Бакунина, Огарева, Лопатина, Лаврова, письма Бакунина к Огареву, а также копии той переписки Бакунина с Нечаевым и с другими лицами вокруг Нечаева, которую Огареву и Бакунину казалось нужным сохранить как важные документы на случай дальнейших осложнений. Нет сомнения, что все это далеко не исчерпывало документацию, реально возникшую в ходе совместной деятельности Огарева, дочери Герцена, Бакунина и Нечаева в 1870 г. и их последующего разрыва. Достаточно сказать, что среди них нет большинства писем Огарева и Бакунина к Нечаеву,

которые раскрыли бы многие детали всей этой истории. Но они, очевидно, входили в те части нечаевского архива, одна из которых после его ареста в 1872 г. попала в руки З. К. Ралли, а другая, оставшаяся в Париже, была привезена М. П. Сажиним в Цюрих.

З. К. Ралли рассказывает об этом так: «Вскоре после ареста Сергея Геннадиевича явился ко мне в Цюрих Владимир Серебренников и предложил купить у него архив Нечаева; требовал же он за этот архив 400 франков. Возмущенный этим предложением, я отнял у него архив силою и выгнал его. Архив Нечаева был разобран мною совместно с Бакуниным и Сажиним; часть документов была тут же сожжена, а часть осталась у Сажина»¹³.

По словам же Сажина, к нему в Цюрихе, после выдачи Нечаева русской полиции, явилась Е. Н. Южакова, последней имевшая свидание с ним, и передала следующую его записку: «Мой архив у г-жи Клеман в городе, откуда я вам когда-то писал; возьмите его. Я уверен, что вы используете его к лучшему. Я погиб. Поняв, что речь идет о Париже, Сажин отправился туда, с помощью П. Л. Лаврова разыскал квартиру, где жил раньше Нечаев, а в ней нашел пакет с бумагами. Сведения о его содержимом очень важны, поэтому приведем почти полностью дальнейший рассказ Сажина. «В Цюрихе, — пишет он, — мы рассмотрели бумаги. Я занялся пакетом, носившим надпись „Меморандум“, где нашел бумаги и письма, там указанные. Там были многочисленные письма А. И. Герцена; в одном из них он писал Огареву: „Я ставлю крест на всей своей предшествующей деятельности“. Многие другие были полны автокритики этого рода или конфиденциальных сообщений о своей семейной жизни... Письма дочери Герцена к Нечаеву были ей возвращены. В том же пакете был знаменитый „Катехизис революционера“, написанный весь целиком рукою Бакунина, его расписка о получении 150 рублей от „Народной расправы“. Кроме этих двух документов, писанных Бакуниным, там не было ничего ему принадлежащего (. . .). И, наконец, письма, а именно И. С. Тургенева, Г. А. Вырубова и других. Все эти бумаги были сейчас же сожжены (. . .); исключение было сделано только для писем дочери А. И. Герцена, Натальи Александровны Герцен (. . .). Таким образом, все эти архивы были уничтожены. Теперь можно было спать спокойно, не было риска, что какая-либо из этих бумаг попадет в руки полиции»¹⁴. Наконец, третья часть бумаг Нечаева была захвачена при его аресте швейцарской полицией и хранится до сих пор в Гос. архиве в Цюрихе. В ней не было писем, а лишь журналы, списки различных лиц с адресами их и записная книжка Нечаева¹⁵.

Тот факт, что из всех находившихся у Нечаева бумаг были не сожжены, а возвращены только адресованные ему письма Н. А. Герцен, говорит о постоянной ее тревоге по этому поводу, о которой знали не только Огарев и Бакунин, но, вероятно, и другие. При свойственной ей недоверчивости она не удовлетворилась бы ничьими заявлениями о сожжении ее писем вместе с остальными и могла быть спокойна, только получив их в собственные руки.

Бумаги, которые сохранялись у Н. А. Герцен и столь долго держались ею в тайне вместе с известными ранее письмами Бакунина, исчерпывают, таким образом, дошедшие до наших дней письма участников этого эпизода. Подробности «нечаевской истории», содержащиеся в сожженных письмах, утрачены, по всей вероятности, навсегда — однако можно полагать, что это действительно лишь подробности. Главные документы перед нами.

После смерти в 1936 г. Н. А. Герцен они хранились в той же строгой тайне у ее сестры, О. А. Моно-Герцен, а после смерти последней — в ее семье. И только в 1960-х годах дочь О. А. Моно-Герцен Жермен Рист передала их в парижскую Национальную библиотеку. Тогда и появилась наконец возможность начать вводить их в науку, и в 1966—1971 гг. значительная их часть была постепенно напечатана: во Франции — Т. А. Бакуниной (Осоргиной), Ж. Катто и М. Конфино¹⁶ и в Нидерландах — А. Ленином¹⁷. Но как единый и полный комплекс источников документы эти предстают перед читателем впервые. Кроме того, обследование московских архивов позволило дополнить документы из Национальной библиотеки рядом весьма ценных, освещающих тот же вопрос писем. При этом выяснилось любопытное обстоятельство: строго засекретив «нечаевские» бумаги в узкой части своего архива, Н. А. Герцен не подвергла соответствующему отбору ни основной массив архива семьи Герцена, ни бумаги, оказавшиеся в семье после смерти Огарева. Именно поэтому М. П. Драгоманов получил возможность еще в 1896 г. обнародовать касающиеся Нечаева письма Бакунина к Огареву¹⁸, а ряд документов оказался среди тех частей герценовского архива, которые передавал в Россию еще А. А. Герцен, и тех, что поступили в советские хранилища из Праги и Софии. Так, например, в «пражской» коллекции обнаружено адресованное Нечаеву и, судя по пометам на нем, переданное через Н. А. Герцен шифрованное письмо, первоначально принадлежавшее, несомненно, к «секретной» части ее бумаг¹⁹.

Материалы, публикуемые ниже, точно, в хронологическом порядке документируют всю историю отношений Огарева, Бакунина и дочери Герцена с Нечаевым с конца 1869 по август 1870 г. Они восстанавливают канву событий, в которых в разное время и по разным причинам участвовали люди различных общественных направлений — Герцен, Огарев, Бакунин, Лопатин, Лавров, Н. А. Герцен, Озеров, Жуковский, С. Серебренников, Трусов и многие другие. Бумаги эти позволяют представить себе неуловимые прежде идейные оттенки, дополняют или уточняют программные и тактические позиции участников. В ряде случаев в них обнаруживаются ответы на такие принципиальные вопросы, которые до настоящего времени не удавалось выяснить. И, главное, они глубоко вскрывают как причины временного союза старых революционеров с Нечаевым, так и далеко не полностью известные до сих пор основания и конкретные обстоятельства их разрыва.

Но прежде чем перейти к их анализу, необходимо восстановить последовательность событий, обнаруживающуюся из совокуности новых и прежде известных документов.

Важно заметить, что появлению Нечаева за границей предшествовало его обращение не к Бакунину, а к Герцену. «Вчера,— писал Огарев Герцену 1 апреля 1869 г.,— пришло на твое имя письмо с просьбой напечатать послание к студентам от одного студента, только что удравшего из Петропавл(овской) крепости. Послание, может, немножко экзальтировано, но не печатать нельзя; по моему глубокому убеждению, оно, во всяком, случае, поворачивает на воскресенье заграничной прессы (. . .) В печать я отдам сегодня, а подробности лучше сообщу с Тх(оржевским)»²⁰. Речь шла о прокламации «Студентам университета, Академии и Технологического института в Петербурге», подписанной «Ваш Нечаев»²¹. Огарев предлагал поместить ее в Прибавлении к «Колоколу», Герцен же посоветовал «пустить листком». «Прокламация к студентам не того — просто шлехтодырват», — отозвался он в письме к Огареву (XXX, 77). Оценка эта не охладила увлечения последнего. Б. П. Козьмин был прав, вероятно, объясняя впечатление Огарева тем, что Нечаев сразу же мог выдать себя за представителя тайной революционной организации в России. Это косвенно подтверждается одной из записей в дневнике Н. А. Герцена: «Ты веришь, что у них организовано общество, которое имеет большое влияние?» — спрашивала она Огарева зимой 1870 г. «То, что они сильны,— отвечал он,— доказывает уже сам по себе факт побега Волкова *, то, что его освободили товарищи» (см. дневник, с. 442). Огарев не мог остаться равнодушным и к тому, что «внуки» лучше поняли и оценили «отцов», чем «дети»²². Но обращение Нечаева к Герцену, как показало дальнейшее, было вызвано совсем не уважением к его деятельности и даже не интересом к ней, а лишь намерением использовать его материальные возможности и имя для целей понимаемой по своему революционной пропаганды.

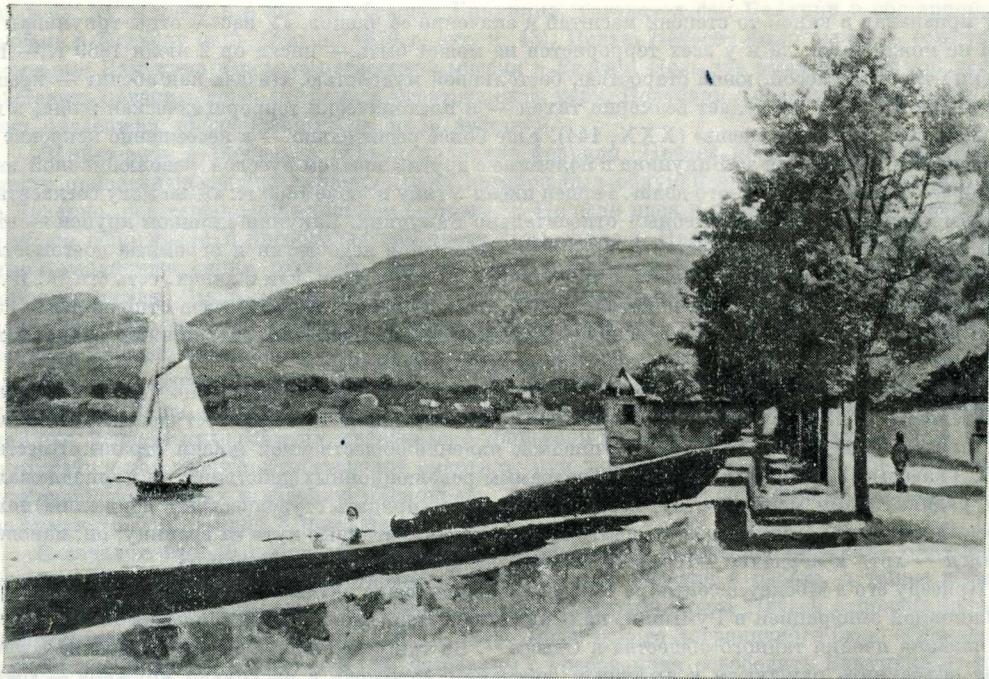
В Женеве Нечаев появился в первых числах апреля 1869 г. «Вчера я его передал Бакунину,— писал Огарев Герцену 7 апреля.— Не думаю, чтоб было что очень широко развитое, но развита энергия и много узнается и увидится нового — в этом я почти уверен». У Бакунина «лишнее место,— прибавлял он,— и он юношу взял к себе почевать»²³. С этого момента начинается продолжавшееся до конца лета 1869 г. теснейшее общение Нечаева с Огаревым и в особенности с Бакуниным.

Из этих продолжительных бесед и выросла та глубокая привязанность к Нечаеву, которую испытывал Бакунин и которая изумляла и современников и позднейших исследователей. Образование, культуру, революционный опыт, наконец, возраст этих людей нельзя было и сравнивать. Но дело было в ином: Нечаев оказался тем единственным за всю жизнь Бакунина человеком, энергия которого равнялась энергии его самого. Полное отречение от всего личного во имя революционной борьбы также было близко Бакунину. «Яркое пламя любви к народу», «боль по нашей народной беде», звучавшие в речах Нечаева, довершили дело. Бакунин полностью доверился ему во всем, что касалось пропаганды и революционной организации в России.

Фанатическая приверженность Нечаева к делу революции и его исключительная энергия покорили при личной встрече и Огарева. Он, по словам Е. Л. Рудницкой, «увидел в нем яркое воплощение революционера новой формации, тех выходцев из „низов“, которые, как он писал еще задолго перед этим, „должны стать руководящей силой будущей крестьянской революции“»²⁴.

Пропагандистская кампания, развернутая Огаревым, Бакуниным и Нечаевым весной и летом 1869 г., вызвала решительное осуждение Герцена. Первые его письма к Огареву об этом сначала касались только прокламаций, согласия на печатание которых, а затем и подписи Герцена просил его старый друг. В отказе своем Герцен был непреклонен. «Мне очень больно,— писал он Огареву 20 апреля 1869 г.,— что я чуть ли не в первый раз не только не согласен с тобой —

* Имя, под которым фигурирует Нечаев в первой обширной записи Н. А. Герцена.— *Ред.*



ЖЕНЕВА. ВИД С НАБЕРЕЖНОЙ ПАКИ

Картина К. Коро, 1860-е годы

Музей искусства и истории, Женева

это бывало, — но не уступаю...» — и продолжал на следующий день: «И если ты видел, что воззвание необходимо, — отчего же ты его не написал сильной и благородной кистью? Ведь и Нечаева воззвание ни к черту не годится. — Я искренно и истинно не понимаю, что за ослепление и неразумье» (XXX, 91). Протесты Герцена, однако, ни к чему не привели, печатная агитация развертывалась все шире. 2 мая 1869 г. Герцен с горечью писал сыну: «Огар(ев) все шалит. Закусил удила, да и только — шумит, бранится, еще написал манифест. Что с ним это? — Ведает бог да Бакунин» (XXX, 102).

Между тем Огарев стал настойчиво предлагать Герцену встретиться с Нечаевым — и надеясь, что личная встреча сломит упорство Герцена, и вместе с тем сомневаясь в немедленном успехе. «Мой мужичок тебе с первого взгляда, пожалуй, не понравится; мы с ним и сблизимся только весьма постепенно», — писал он Герцену. В том же письме он отделял себя в какой-то степени от позиции Бакунина и Нечаева, признаваясь: «Мне приходится стоять как-то посредине между элементом шума и элементом консервативного социализма. Как это тяжело, мой, во всяком случае страстно любимый брат, — ты себе этого представить не можешь»²⁵.

10 мая Герцен приехал в Женеву и прожил там с небольшим перерывом шесть недель. Опасения Огарева оправдались: Нечаев вызвал у Герцена резкую антипатию²⁶. Разногласия между Герценом и «триумвирами» остались непримиримыми. 22 июня Герцен с горечью сообщал старшей дочери о «войне» не только с Бакуниным, но и с Огаревым, который «стал такой кровожадный — что и бог упаси. — Пугачают и стращают. Бакун(ин) не только на Волге, но и здесь, на Роне, проповедует светопреставление» (XXX, 138).

Одними из главных в женевских спорах, помимо общих революционных проблем, были вопросы о возобновлении «Колокола» и об использовании Бахметьевского фонда для агитационной кампании Огарева—Бакунина—Нечаева. Уступив Огареву, аргументировавшему, в частности, свою настойчивость тем, что деньги были оставлены под их общую расписку, Герцен вынужден был предоставить ему половину всей суммы.

При всем том впечатление, произведенное на Герцена женевскими встречами, было неоднозначным. Осуждая деятельность «тройки», он даже в самых острополюемических письмах к Ога-

реву признавал в какой-то степени масштаб и значение ее членов. «У вас — отцы-триумвиры — воли не может быть, да и у всех террористов не может быть, — писал он 2 июля 1869 г., — Бакун(ин) тяготит массой, юной старостью, бестолковой мудростью. Нечаев как абсинт — крепко бьет в голову. И то же делает безмерно тихая — и платонически террористическая жила, в которой ты себя поддерживаешь» (XXX, 144). Еще более решительно — и несомненно искренне — он вступался в те же дни за Бакунина в полемике с другим крылом русской революционной эмиграции — группой «Народного дела». Герцен писал Утину в июле 1869 г.: «Я не могу согласиться с вашим мнением, очень враждебным относительно Бакунина. Бакунин слишком крупен — чтоб с ним поступать *sommairement* *. У него есть небольшие недостатки и огромные достоинства. У него есть прошедшее, и он — сила в настоящем (. . .) В людях, как в винах, есть сги **. Я думаю, что Бакунин родился под кометой» (XXX, 158). В июле 1869 г. Нечаев отправился в Россию и вопрос о «Колоколе», как и вообще о дальнейшем направлении заграничной пропаганды, выпал на время из переписки Герцена с Бакуниным и Огаревым.

Деятельность Нечаева в России как по масштабам, так и по общественному резонансу была значительной. В 1868 и первой половине 1869 г. он был одним из лидеров студенческого движения, представлявшего в то время крупнейшее явление общественной жизни страны. Вместе с П. Н. Ткачевым Нечаев был автором «Программы революционных действий»; он принадлежал к тому радикальному меньшинству, которое стремилось придать студенческому движению политический характер; ему удалось наладить южные конспиративные пути за границу; он, наконец, пытался — хотя и неудачно — создать тайную революционную организацию.

Приезду его в Москву в сентябре 1869 г. предшествовало активное общение с болгарской революционной эмиграцией в Румынии, налаживание связей, явок, попытка или реальная организация ячейки тайного общества в Одессе ²⁷. За три с половиной месяца в Москве Нечаев сумел объединить рвущуюся к активным действиям молодежь в несколько кружков — «пятерок», которые в целом должны были составить централизованную тайную организацию «Народная расправа», руководимую будто бы Комитетом, а в действительности — одним Нечаевым. Однако внедрение им иезуитских приемов в среду товарищей по борьбе, требование неукоснительного подчинения таинственному Комитету, его личное диктаторство — все это не способствовало укреплению организации. Убийство же И. И. Иванова (21 ноября 1869 г.), организованное Нечаевым после отказа первого подчиниться его диктатуре, привело к полному провалу: несколько сот людей было арестовано, 87 из них преданы суду. Самому Нечаеву удалось скрыться: он уехал в Петербург, а оттуда бежал в Швейцарию. Еще из России, 20 декабря, он письмом сообщил Огареву о скором своем приезде в Женеву. 5 января 1870 г. Огарев известил об этом Герцена и Бакунина. Герцен отвечал: «Я буду очень рад, если бой выздоровеет, — но видеться мне с ним не нужно» (XXX, 297). Ответ Бакунина был: «У меня для него стол и постель всегда готовы» ²⁸.

9 или 10 января Нечаев приехал в Женеву и, очевидно, в тот же день начал добиваться свидания с Герценом и получения от него второй половины Бахметьевского фонда. Деньги нужны были срочно, ибо в ближайшую программу Нечаева входило не только издание прокламаций, но и возобновление «Колокола». 12 января Герцен писал Огареву, продолжавшему настаивать на встрече его с Нечаевым: «1-ое. Юношу видеть я могу и мужеству его отдаю полную справедливость — но деятельность его и двух старцев считаю положительно вредной и несвоевременной (<...>). 2-ое. На каком основании ты думаешь отклонять от назначения фонд? Не знаю. Твое «приготовь, сколько хочешь» меня сконфузило: что же за мера в «сколько хочешь», а потому я буду ждать от тебя приказа в цифрах. И выполню его для того, что ты того желаешь» (XXX, 299). Холодный ответ Герцена не остановил ни Огарева, ни тем более Нечаева. В письме от 15 января Огарев указал цифру — 5 тысяч франков, выразив здесь же всю непоследовательность своей позиции: «Я с твоим мнением не согласен, да во многом и с ним не согласен; но мешать нельзя» ²⁹. 17 января, в последнем своем письме к Герцену, не зная еще о его смертельной болезни, Огарев вновь настаивал на немедленной, «без рассуждений», высылке денег ³⁰.

Пока Огарев и Нечаев в Женеве строили планы издания нового «Колокола», Бакунин оставался в Локарно, где его удерживали семейные дела. Сюда к нему около 20 января приехал Нечаев. (21 января датировано рекомендательное письмо Бакунина к И. Ф. Беккеру в Женеву (см. п. 2), которое, несомненно, было вручено Нечаеву при свидании.) О том, с чем явился Не-

* бесцеремонно (франц.).

** своя почва (франц.).

чаев на эту встречу и в чем он убеждал Бакунина, рассказал сам Бакунин в обширном своем письме к Нечаеву от 2—9 июня 1870 г. (см. п. 43). Целью Нечаева было рассеять естественные сомнения Бакунина в успехе нечаевской миссии в России. Цель эта была достигнута: нетрудно заставить поверить того, кто боится утратить свою веру. Позволив Нечаеву убедить себя, Бакунин поддержал предложенный им план действий.

Вернувшись в Женеву в первой половине февраля, Нечаев развернул лихорадочную по темпу пропагандистскую кампанию, план которой был обдуман им, очевидно, еще до поездки в Локарно, под решающим влиянием Огарева³¹. Но если идея и план были предложены Огаревым, то исполнение в преобладающей части определялось Нечаевым. Прокламации, обращенные к различным слоям русского общества, носили характер скорее мистификации, чем серьезной пропаганды. Чего стоили одни подписи в них: «Потомки Рюрика и Партия Российского независимого дворянства», «Контора вольных русских кушцов», «Истинные пастыри», «Дума всех вольных мешан» и т. п.

В это же время был издан второй выпуск «Издания общества „Народной расправы“», принадлежащий перу Нечаева. Передовая статья его имела целью не только осветить в желательном для Нечаева духе события, связанные с убийством Иванова и последовавшими арестами, но и пустить в ход версию о собственной смерти от рук жандармов³². Одновременно началась интенсивная подготовка к изданию «Колокола», первый номер которого вышел 2 апреля³³ (всего до 9 мая 1870 г. вышло 6 номеров).

С началом второй пропагандистской кампании Нечаев попытался заставить Бакунина переехать в Женеву для непосредственного практического участия в работе, а также вовлечь в свою деятельность Наталью Александровну Герцен. Именно тогда Нечаев отправил первое из угрожающих писем, посылавшихся им от имени мифического Заграничного бюро общества «Народная расправа», — письмо к Н. Н. Любавину с требованием освободить Бакунина от принятого им на себя обязательства перевести «Капитал» Маркса для русского издания³⁴. Добиваясь от Бакунина, чтобы он полностью отдался «русскому делу», Нечаев обещал ему уладить этот вопрос с издателем — и «уладил» таким, только ему свойственным путем.

Вовлечение в «русское дело» дочери Герцена пошло сперва весьма успешно. В Женеву она приехала через две недели после смерти отца — приехала, чтобы побыть с Огаревым. Несколько дней спустя в его доме она встретила с Нечаевым.

Душевное состояние Натальи Александровны в это время было тревожным и неуравновешенным. Впечатление от перенесенной недавно болезни, тяжесть и боль утраты сочетались в ней со смутным стремлением найти свой путь в жизни — и, может быть, в причастности к революционному делу. Она помнила слова отца: «Ты мой Петр, „на котором созижду храм мой...“ (только Петр немного вялый и недеятельный)» (XXX, 95). По натуре она действительно была недеятельной, сдержанной, скрытной, осторожной и порой подозрительной; но ее мысли и симпатии, весь ее внутренний склад отвечал высоким требованиям, которые Герцен предъявлял к своим детям³⁵. Еще в декабре 1869 г. она писала Огареву: «Я вижу, понимаю, что жизнь так коротка, надобно каждой минутой пользоваться, надобно бы что-нибудь да делать для других, хоть для близких, а все что-то мешает. — Что мешает? А должно быть то, что я все играю, все думаю... припоминаю все, что слышала, ваши споры, споры у Шиффов и т. д. — Мне это трудно, все разбросано, все перепутано — я хочу привести все в порядок, ищу заключения» (XXX, 278). Эти стремления к «заключению», к пониманию смысла своей жизни стали еще острее в те дни, когда она встретила с Нечаевым. Волевая, неукротимо целеустремленная натура человека, представлявшего, как ей первое время казалось, последнее слово русского движения, не могла не произвести на нее впечатления. Вопреки сопротивлению брата и Н. А. Тучковой-Огаревой она уступила настоятельным просьбам Нечаева и Огарева и решила переехать в Женеву, чтобы помогать им³⁶.

Сближения с дочерью Герцена Нечаев добивался не только в расчете на дальнейшую финансовую поддержку (исполняя просьбу Огарева, А. А. Герцен уже дал согласие передать ему вторую половину Бахметьевского фонда), но и в связи с задуманным возобновлением «Колокола». Стремление Нечаева связать новое издание с традицией герценовского «Колокола» побуждало его попытаться привлечь дочь Герцена к редакции или по крайней мере добиться согласия на использование ее имени. Об этом недвусмысленно рассказывает ее дневник (см. с. 456). Попытка Нечаева была поддержана обоими «старцами», убеждавшими не только Н. А. Герцен, но и ее брата, А. А. Герцен, приехавший в конце февраля 1870 г. в Женеву для свидания с сестрой и передачи Огареву бахметьевских сумм, просил отказаться от мысли назвать новое издание «Ко-

локолом», но, разумеется, не смог в этом убедить не только Нечаева, но и Огарева (Бакунина в Женеве в это время еще не было)³⁷. Дать свое имя новому «Колоколу» Н. А. Герцен решительно отказалась; однако она не только не перестала сотрудничать с Нечаевым, но взяла на себя (по-видимому, совместно с В. А. Озеровым) функции секретаря редакции³⁸.

Еще в начале февраля стало известно, что русское правительство, преследуя Нечаева как уголовного преступника, убийцу Иванова, требует от швейцарских властей его выдачи. 8 февраля Бакунин сообщал Огареву, что написал «по требованию» Нечаева «наскоро статью о полицейских услугах, оказываемых иностранными правительствами русскому в деле разыскания мнимых разбойников, воров и делателей фальшивых бумажек»³⁹. Статья эта под заглавием «Police suisse», напечатанная 19 февраля в «Progrès», в части, касавшейся Нечаева, имела целью внушить сомнение в существовании вообще такого лица⁴⁰. Пытаясь затем организовать общественный протест и обратившись по этому поводу к А. Рейхелю, Ш. Перрону, А. Фогту, И. Ф. Беккеру⁴¹, Бакунин даже в письмах, опасаясь перлюстрации, продолжал развивать мысль, не является ли разыскиваемый Нечаев мифом, изобретенным русским правительством в своих реакционных целях. Сам же Нечаев, в условиях полной конспирации укрывшийся на время в Локле, отправил в конце февраля в «Journal de Genève» письмо — якобы из Лондона. Газета напечатала его 2 марта (см. п. 11). В это время и у Нечаева, и у Огарева оставались еще иллюзии, что швейцарские власти либо поверят в его пребывание в Лондоне (см. п. 13), либо под давлением общественного мнения откажутся его выдать. Надежды эти, однако, не оправдались. 29 февраля кантональное правительство попыталось найти Нечаева в Локарно у Бакунина, о чем последний по своим каналам предупредил Нечаева. Но вместо поисков еще более надежного укрытия Нечаев предпочел вернуться в Женеву, где вскоре появился и оставался более месяца и Бакунин.

Здесь, продолжая попытки воздействия на общественное мнение Швейцарии, Бакунин написал брошюру «Бернские медведи и петербургский медведь» (напечатана Гильомом в мае), где защищал «русского патриота Нечаева», критиковал действия Федерального совета и призывал «совершенно уничтожить в принципе и фактически все, что называется политической властью»⁴².

В марте в Женеве готовились к печати первые номера нового «Колокола», продолжались споры о его направлении, шла интенсивная работа всех участников пропагандистской кампании. В то же время достигли кульминации личные взаимоотношения Нечаева и Н. А. Герцен, которые теперь, после знакомства с их перепиской и ее дневником, вряд ли можно свести только к очередной мистификации Нечаева, предпринятой для опутывания богатой наследницы. Задумав, вероятно, именно это, Нечаев неожиданно для себя оказался во власти истинного чувства, которое все с большей убедительностью проступает в его письмах — особенно в письмах, написанных в конце мая, после его бегства с помощью Н. А. Тучковой-Огаревой из Женевы. Но чем более пылкими становились письма Нечаева, тем настойчивее относилась к нему Н. А. Герцен, и появление в Женеве Г. А. Лопатина с последовавшим разоблачением Нечаева только облегчило желанный уже для нее полный разрыв отношений.

Отметим здесь, что ни полученные только что от А. А. Герцена деньги, ни ежедневные встречи с Н. А. Герцен не помешали Нечаеву в то же самое время, в начале марта, предпринять враждебную акцию против семьи Герцена. Она была частью его действий по вовлечению Бакунина в «дело» и оградению для этого его репутации — оградению свойственными Нечаеву методами. Узнав, что А. А. Герцен и Н. А. Тучкова-Огарева намерены напечатать в готовившемся «Сборнике посмертных статей» Герцена письма «К старому товарищу» (о характере их Нечаев мог слышать от Огарева или Бакунина), Нечаев прибегнул к уже испытанному приему: 7 марта он отправил Н. А. Тучковой-Огаревой и А. А. Герцену письмо от имени Заграничного бюро «Народной расправы» с требованием отказаться от этого замысла и с угрозами прибегнуть в случае отказа к «менее деликатным мерам»⁴³. Реакция адресатов на него была в высшей степени достойной: «наглое и нелепое», по словам А. А. Герцена, письмо, полученное им, только покончило с его колебаниями, печатать ли «К старому товарищу» и части «Былого и дум», посвященные «молодой эмиграции»⁴⁴. Характерно, что ни А. А. Герцен, ни Н. А. Тучкова-Огарева не решились обсуждать этот инцидент с Татой Герцен, а недоверие их к ней простиралось в этот момент до того, что А. А. Герцен специально просил Наталью Алексеевну спрятать рукописи у А. Фогта и не выдавать их «даже Тате».

Между тем в печати все еще не было сведений о решении швейцарских властей по поводу выдачи Нечаева. Стремясь выяснить свое положение, Нечаев — снова будто бы из Лондона — обратился 21 апреля с запросом в Федеральный совет. Огарев сопроводил этот запрос коротким

письмом от себя (см. п. 26 и 27). На следующий день канцелярия Швейцарской конфедерации официально уведомила Огарева, что Нечаев преследуется как уголовный преступник и доказательства этого, представленные русскими властями, несомненны. Поэтому швейцарское правительство не может предоставить Нечаеву убежища без предварительного следствия, которому он будет подвергнут, если окажется на территории страны (см. п. 28).

Тучи сгустились над головой Нечаева. Общественный протест, к которому призывал Бакунин своих швейцарских друзей, не был организован. В защите Нечаева не была единая и русская революционная эмиграция. Резко враждебная по отношению к Бакунину группа «Народного дела», ставшая к этому времени Русской секцией Интернационала, решительно отстранялась от какой-либо солидарности с Нечаевым и Бакуниным. Ее позиции ясно выражены в печатаемом ниже письме А. Трусова к С. Марковичу (см. п. 40). Отношение к Бакунину в революционных кругах осложнилось в этот момент распространившимся слухом о присвоении им Бахметьевского фонда. И. Ф. Беккер, на поддержку которого в защите Нечаева так рассчитывал Бакунин, 13 марта писал об этом Марксу: «Бакунин, который был очень беден, вследствие смерти Герцена получил недавно в свое распоряжение сумму в 25 тысяч франков. Эта денежная сумма была передана Герцену его друзьями для целей пропаганды (. . .). Бакунин, который лишь недавно рассыпался в оскорблениях и клевете на Герцена, поспешил завоевать расположение его сторонников, принявшись за канонизацию его в прессе. Маневр удался и вскоре снова появится „Колокол“. Увидим тогда, заявит ли „гражданин“ Бакунин в „Колоколе“ выражение тех же чувств, какие проявлял еще недавно, будучи пролетарием! Если он этого не сделает, мы его в лучшем виде загоним в угол, возможно через Русскую секцию»⁴⁵. 30 апреля статья с прямым обвинением Бакунина в присвоении этих денег появилась в газете «Volksstaat». Прочтя ее, Бакунин потребовал от Огарева публичного заявления о непричастности его, Бакунина, к Бахметьевскому фонду⁴⁶.

В Женеве между тем возникли и иные трудности. Диктаторская манера Нечаева привела к отказу Чернецкого печатать «Колокол» в своей типографии⁴⁷. На шестом номере от 9 мая издание было прекращено.

В те же дни была сделана все-таки попытка организовать протест русских эмигрантов против готовившейся выдачи Нечаева. Это и было упоминавшееся уже собрание 7 мая. Неуверенность Огарева и Нечаева в исходе обсуждения ясно отразилась в том, что накануне Огарев телеграфировал Бакунину, прося разрешить голосовать за него, — каждый голос мог иметь значение (см. п. 29). Собрание, по-видимому, высказалось все же в пользу протеста против выдачи Нечаева, хотя личность и деятельность его не вызвали сочувствия у большинства присутствовавших.

Женевские власти тогда же перешли к решительным действиям: 9 мая на улице был арестован один из членов группы Огарева—Бакунина—Нечаева, С. И. Серебrenников — цюрихский студент, приехавший в Женеву и живший, как и Нечаев, у Огарева. Полиция привяла его за Нечаева и продержала в тюрьме до 20 мая, пока не убедилась в своей ошибке. В эти дни Огаревым было написано то протестующее письмо президенту Женевского кантонального совета Камперо, которое печатается ниже (см. п. 30). Арест Серебrenникова был воспринят Огаревым, Бакуниным и Нечаевым как повод для еще одного общественного действия. Рассказ Серебrenникова о происшедшем с ним был переведен Огаревым на французский язык и издан отдельной брошюрой⁴⁸. Одновременно С. Серебrenников, по общему решению, обратился к адвокату и начал судебный процесс против женевской полиции. Арест Серебrenникова показал Нечаеву масштаб опасности, угрожающей непосредственно ему, и принудил его к предосторожностям. Именно тогда он оказался на время в квартире Н. А. Герцен и Н. А. Тучковой-Огаревой, откуда уехал в горы⁴⁹.

В дни, когда происходили все описанные события, Бакунин в Локарно был обуреваем тревогой из-за отсутствия писем из Женевы. Уезжая оттуда, он поставил условием своего переезда из Локарно для постоянной работы в «Колоколе» получение достаточно определенного материального положения и точную договоренность о своей роли в издании⁵⁰. Нечаев должен был сообщить ему в Локарно письмом «Комитета» — но и не думал этого делать. Бакунин бомбардировал Огарева и Нечаева письмами и телеграммами, не получая в ответ сколько-нибудь ясной информации. Опасаясь за судьбу Нечаева, он в середине мая лично отправился в Берн и 19-го собиравшись оттуда в «сборном» письме, отправленном на имя Озерова, о полученном им от Адольфа Фогта обещании быть «деятельным бюро по делу Нечаева и Серебrenникова для всей немецкой Швейцарии». Вернувшись в Локарно, он повторил это в письме к Огареву от 20 мая, где прибав-

лял: «Жду, наконец, от нашего комитета ответа (< . . . >) предупреждая вас, что я (< . . . >) не иначе поеду в Женеву, как убежденный, что еду к вам на возможное и прочное положение как в отношении к самому делу, так и в отношении к средствам существования»⁵¹. Но на следующий день, не в силах, по-видимому, больше дожидаться ответа, Бакунин выехал в Женеву.

Туда же для встречи с ним приехал в это время Г. А. Лопатин. Полностью информированный о ситуации, сложившейся во взаимоотношениях Бакунина, Любовина и Нечаева, Лопатин поехал в Женеву для решительного объяснения с Бакуниным. Целью его было раскрыть Бакунину глаза на истинную роль Нечаева и смысл всей его эпопеи. Объяснения между Лопатиным, Бакуниным и Нечаевым во время встреч в Женеве в мае 1870 г. достаточно ясно освещены печатаемыми ниже письмами⁵².

Только все это показало наконец Бакунину не воображаемый, а близкий к реальности образ его ближайшего соратника. Поняв невозможность дальнейшего безоговорочного союза, он по возвращении в Локарно принялся за письмо к Нечаеву, которое, не отрываясь, не перечитывая, не согласовывая порой одно с другим, писал целую неделю, с 2 по 9 июня. Письмо это — еще не разрыв с Нечаевым. Это осмысление опыта, размышления, планы и надежды, надежды на будущее новое сотрудничество. Выдающееся значение и особый интерес этого документа состоит как в том, что в нем подробнейшим образом изложены теоретические основания, программа и тактика Бакунина, так и в том, что все общественные проблемы, неразрывно переплетаясь с глубоко личными, составляют его «интимно-политический» сюжет. Эмоциональность изложения: беспощадные обличения Нечаева и тут же восхваление его достоинств, горькие сожаления о своей неадекватности и новые иллюзии, страстная вера в неизбежность революции и мысли о неготовности к ней народа, призывы к нравственности и апология разбоя — все это придает письму неповторимый колорит, делает его одним из важнейших документов, характеризующих личность Бакунина.

Для историков общественной мысли и революционного движения письмо 2—9 июня, впервые полностью публикуемое в советском издании⁵³, важно не только как вариант русской программы Бакунина, как памятник заблуждений, стремлений и надежд крупной исторической личности; именно оно полнее всего объясняет подлинные причины разрыва с Нечаевым, которые более ста лет оставались неясными исследователям⁵⁴.

Принципы программы и тактики анархистской революции, разработанные Бакуниным в 1864—1866 гг. в таких документах, как «Международное тайное общество освобождения человечества»⁵⁵, «Революционный катехизис»⁵⁶ и др., были в общих чертах и предельно кратко изложены им в конце 1860-х годов в статье «Наша программа» в № 1 «Народного дела». «Мы хотим, — писал Бакунин, — полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа». Под первым он понимал освобождение от веры в бога и «всякого идеализма вообще»; под вторым — ликвидацию права наследственной собственности, уравнивание женщин в правах с мужчинами, воспитание детей обществом. «Основной экономической правды, — говорил еще далее, — мы ставим два коренные положения: земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками — земледельческим общинам. Капиталы и все орудия труда — работникам, рабочим ассоциациям».

Политическое освобождение трактовалось как уничтожение государства и создание свободной федерации земледельческих общин и фабрично-ремесленных ассоциаций, построенной по принципу «снизу вверх». Для всех народов, угнетенных империей, программа провозглашала «полнейшее самораспоряжение на основании их собственных инстинктов, нужд и воли»⁵⁷.

Положения эти оставались для Бакунина основополагающими и в 1870 г. Именно поэтому первым пунктом возможного, как он еще считал, дальнейшего союза с Нечаевым было «подное, целостное и страстное» признание программы № 1 «Народного дела». Однако программа эта отражала лишь общие принципы Бакунина, не связанные с национальными особенностями России.

Необходимость сформулировать программные положения и тактику движения для России возникла именно в связи с Нечаевым. Его появление возбудило надежды Бакунина на создание в России отделения «Альянса». Как он говорил З. К. Ралли, он был уверен в возможности провести «через Нечаева и его товарищей наши идеи и наш взгляд на вещи в России». «А также я думал серьезно, — прибавлял Бакунин, — что Нечаев способен будет стать во главе русской ветви революционного союза моего. Этим он и был дорог мне»⁵⁸.

Эти надежды и предпринятая в связи с ними пропагандистская кампания требовали программного обеспечения. Хотя авторами брошюр, листовок, статей выступали и Огарев, и Бакунин, и Нечаев, но наибольшая активность в формулировании программных положений принад-

лежала двум последним. При этом Нечаев проявлял склонность к регламентированию как деятельности тайной организации в настоящий момент («Катехизис революционера»), так и принципов построения будущего «порядка вещей» («Главные основы будущего общественного строя» в № 2 «Издания общества „Народной расправы“»).

Из политических течений того времени Нечаев ближе всего был к бланкизму. Анархистскую фразеологию Бакунина он использовал главным образом в тактических целях. Этого не понимал Бакунин, даже в письме 2—9 июня продолжавший утверждать, что сначала программа Нечаева была «вполне одинакова» с его собственной. Теоретические разногласия он стал замечать лишь во второй приезд Нечаева в Швейцарию. Разоблачение же Нечаева Лопатиным и надвигавшаяся неизбежность разрыва заставили Бакунина изложить подробнейшим образом все свои программные требования и предъявить их Нечаеву в качестве ультиматума. Именно поэтому письмо 2—9 июня стало первым полным, широко аргументированным программным документом Бакунина, посвященным специально русскому движению. Два года спустя, в «Прибавлении А»⁵⁹, адресованном русской революционной молодежи и ставшем для значительной ее части руководством к действию, он повторяет все главные теоретические положения своего письма.

В центре построений Бакунина — народ с его собственными идеалами, собственной, инстинктивно им осознанной программой. Программа народа и есть программа «стихийной или народно-социальной» революции. Задачи тайной организации — лишь угадать ее и помочь ее осуществлению. «Наш народ не белый лист бумаги, на котором любое тайное общество может написать, что ему угодно (. . .). У него выработалась отчасти сознательно, на три четверти, пожалуй, бессознательно, программа своя, которую тайная организация должна узнать, угадать и с которой она обязана будет сообразоваться» (см. п. 43, с. 507).

Характеристика народного сознания как «чистого листа бумаги» принадлежала П. Я. Чадаеву и глубоко запомнилась Бакунину со времени московских споров⁶⁰. Еще в 40-х годах, ранее, чем пришел к этому Герцен, Бакунин считал присущими русскому крестьянству стремление к освобождению и общинный уклад: «Характер русской революции как революции социальной предуказан заранее и коренится во всем характере народа, в его общинном укладе», — утверждал он в 1849 г.⁶¹ Указывая Нечаеву в письме от 2—9 июня 1870 г. на два начала народной жизни, на которые должны опираться революционеры, — «частые бунты и вольно-экономическая община», — он, в сущности, развивал ту же мысль. Важно, однако, обратить внимание здесь не столько на устойчивость оценки Бакуниным революционных потенций русского народа, сколько на совсем иную трактовку возможностей народных масс Западной Европы. В рукописи «Международное тайное общество освобождения человечества» он определял народ как «невежественную, инертную массу, покорную традициям и необходимости и неспособную двигаться вперед, если ее не ведут за собой». И даже передовое меньшинство этой массы, городских рабочих — «катеорию, несравненно более пробудившуюся», он считал «неспособною продвигаться самостоятельно»⁶².

Таким образом, в рассматриваемом письме неспособному к самостоятельной борьбе народу на Западе противопоставлен русский народ, постоянно бунтующий и располагающий собственными идеалами общественного устройства. В противоположность Западу, где народные массы приходятся увлекать «вопреки их воле для решения их судьбы»⁶³, в России достаточно лишь «соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий всенародный бунт» (см. п. 43, с. 507).

И хотя уже ясно было, что «народ не встал», что рассказы Нечаева об обстановке в России по меньшей мере недостоверны, Бакунин не желал отказаться от этого тезиса, допуская теперь все же, что революция может вспыхнуть «не прежде 10 или 20 лет».



М. А. БАКУНИН

Портрет работы неизвестного художника (масло), 1870-е гг.

Музей Герцена, Москва

Каким же представлялся Бакунину народ — армия революции? Бунтарем, стремящимся по праву захватить всю помещичью и кулацкую землю. «Совокупителем» же и «соединителем» общинных бунтов, составляющих, по словам Бакунина, обыденное явление народной жизни, может стать «казачий воровско-разбойный мир». Эта мысль не впервые высказывалась им здесь: она присутствовала и в «Постановке революционного вопроса» (1869). Именно по поводу этого Герцен писал Н. А. Тучковой-Огаревой: «Он совсем закусил удила, и я привезу его новую статью — которая наделает страшных бед. Я буду протестовать и снимаю всякую солидарность» (XXX, 109) ⁶⁴. Но и в анализируемом письме Бакунин продолжал настаивать на активной роли «разбойного мира» и доказывать, что она «подтверждается всею нашею историей».

Само отождествление Бакуниным казачества с «разбойным миром» говорит прежде всего о весьма слабом его знакомстве и с подлинной историей народа, и с жизнью современной ему русской деревни. Появление этих идей в бакунинских программных документах в период его совместной деятельности с Нечаевым менее всего можно приписать влиянию последнего. Напротив, развернутая их аргументация была развита Бакуниным в том самом письме, где его взгляды противопоставлялись нечаевским. Продолжал он настаивать на этом и в следующем программном документе — «Прибавлении А» ⁶⁵.

Итак, естественную армию революции составляет, по Бакунину, объединенный в общины русский народ, бунтарь и социалист «по инстинкту». Однако каждая деревня восстанет лишь при уверенности в солидарности других. Вот тут-то и должна проявиться роль революционной организации, которую Бакунин еще в воззвании «К офицерам русской армии» назвал «штабом революционного войска». Задачей этого штаба в письме от 2—9 июня не случайно отведено столь значительное место: узкой заговорщической тактике Нечаева Бакунин пытался противопоставить тактику народной войны, развязыванию и организации которой должен только помогать «штаб», пробуждая во всех общинах «сознание их неотвратимой солидарности», а затем, во время самой революции, помогая народу самоопределиваться, содействуя «полному осуществлению народной свободы». При этом тайная революционная организация остается все время лишенной всякого официального права и значения и действует лишь как «слуга, помощник, отнюдь не повелитель народа, а также и не распорядитель над ним», даже ради народного блага.

Определяя характер деятельности тайной революционной организации, Бакунин вплотную подошел к проблеме революционной нравственности — ведь его полемика с Нечаевым развернулась вокруг несуществовавшего Комитета «Народной расправы» и существовавшей программы поведения членов организации («Катехизис революционера») с ее отказом от нравственных норм и апологией иезуитских методов.

Принадлежа по образованию и культуре к презираемому Нечаевым поколению 40-х годов ⁶⁶, Бакунин не раз обращался к проблемам нравственности. Тем не менее в период своего недавнего увлечения Нечаевым нравственный аспект деятельности «триумвиров», казалось, не существовал для него. Больше того — и теперь, в пору крушения своих иллюзий, он далеко не сознавал всю глубину своей моральной ответственности за активное участие в «нечаевской истории». Но все случившееся заставило его — может быть, впервые — осознать масштаб вреда, который наносит революционному делу забвение нравственных принципов. Возражая против этого, стремясь четко формулировать свои представления о нравственности революционера, он проводит резкую грань между моральными принципами внутри организации и поведением по отношению к врагам: «Правда, честность, доверие между всеми братьями и в отношении к каждому человеку, который способен быть и которого Вы бы желали сделать братом; ложь, хитрость, олутовчанье, а по необходимости и насилие в отношении к врагам». Это не значило, впрочем, что Бакунин признавал такие средства борьбы с правительством нравственными: он допускал их лишь потому, что на реальной арене борьбы не видел возможности без них обойтись.

Проблема нравственности революционера увязывалась Бакуниным в его программном письме с социальным статусом ее носителя. Если неудачи революционных движений на Западе он приписывал в значительной мере тому, что руководители их были выходцами из привилегированных классов, то Россия, по его мнению, и в этом отношении была «счастливее Запада». В массе «образованных, мыслящих и лишенных всякого положения, всякой карьеры, всякого выхода» людей, короче — в разночинной интеллигенции, составлявшей особенность русской жизни, Бакунин видел «материал, драгоценный для тайной организации». Он оговаривался при этом, что в среде ее «настоящей нравственности очень немного», что «народолюбива она (. . .) только благодаря положению, отнюдь же не по сознанию и воле». Для создания революционной нравственности необходимы свободное сознание и воля, без них она невозможна. Задача, следовательно,

состояла в том, чтобы развить в этих людях сознание и волю, укрепляя в них «единую всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения». Страсть, сочетающая в себе протест против ненавистного общественного строя и идеал нового, и должна была стать нравственной основой тайной организации.

Излагая в 21 пункте основные принципы этой организации, Бакунин подчеркивал, что сила ее будет зиждиться на нравственности каждого члена, полной равноправности, солидарности, искренности и взаимопомощи всех, на безусловном соблюдении правила «один за всех и все за одного». Все это было полемикой с «Катехизисом революционера» и всей системой действий Нечаева. «Вы по образу мыслей подходите больше (. . .) к иезуитам, чем к нам», — писал ему Бакунин в том же письме. Можно подумать при чтении этого письма, что и «Катехизис», и вся иезуитская система Нечаева только теперь стали известны Бакунину, почему и возникла необходимость противопоставить им обстоятельное теоретическое обоснование собственных представлений о революционной морали.

Но это было далеко не так. В том же самом письме Бакунин признавался, что еще в первый приезд Нечаева говорил ему: «Для Вас ничего не стоит солгать, когда Вы полагаете, что ложь может быть полезна для дела». Он не только знал «Катехизис революционера», но, по приведенному нами выше свидетельству Сажина, переписал его своей рукой⁶⁷ (именно этот список «Катехизиса», обнаруженный Сажиным в бумагах Нечаева, столь долго давал основание приписывать Бакунину авторство этого печально известного сочинения). Правда, письмо от 2—9 июня показывает, что он возражал тогда против него («Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков»), но не так значительны были для Бакунина эти споры, чтобы разорвать альянс его с Нечаевым. Не исключено, что подобная полемика возникла и вокруг брошюры «Начало революции», и вокруг статей в первом номере «Издания «Народной расправы», но ведь и они выходили не без ведома Бакунина.

Таким образом, столь убедительно развиваемые им в письме от 2—9 июня идеи нравственных принципов революционера занимали вовсе не столь важное место в системе его взглядов, чтобы ими нельзя было пренебречь тогда, когда союз с Нечаевым представлялся Огареву и Бакунину реальным революционным делом. Ни очевидная с самого начала безнравственность нечаевской системы, ни даже подозрение обмана в оценке Нечаевым обстановки в России и возможности народного восстания, появившиеся у Бакунина, когда, вернувшись из России, Нечаев приехал к нему в Локарно (см. п. 43, с. 541), не смогли оттолкнуть его от своего кумира. И поэтому моральная ответственность за нечаевскую эпопею, возложенная на Бакунина революционной общественностью, была вполне заслуженной.

Была, однако, область, в которой Бакунин не допускал уступок: его доктрина анархизма. Пока ему представлялось, что в союзе с Нечаевым он сохраняет инициативу в главных теоретических вопросах, он шел на достаточно широкие компромиссы в других направлениях. Когда же дело коснулось этих теоретических основ, конфликт стал неизбежен⁶⁸ — и только тогда Бакунин не счел уже возможным закрывать глаза на неприглядные приемы своего соратника.

Нечаевская эпопея, заставившая Бакунина пристальнее вдуматься в роль нравственных проблем, ничуть не повлияла на его доктрину в целом. Не прав поэтому Конфино, утверждая, что «нечаевское дело в силу своего жестокого провала (. . .) явилось для Бакунина поводом для пересмотра своих взглядов (. . .) и переосмысления всего своего мировоззрения»⁶⁹ и что оно будто бы положило начало «политическому закату Бакунина в России и Западной Европе»⁷⁰. Главные свои работы («Икнуто-германская империя и социальная революция» и «Государственность и анархия») он написал именно после «нечаевщины». В 1872 г. появилось и «Прибавление А», сыгравшее важную роль в народническом движении. Что же касается прямой революционной деятельности во Франции, Италии, Швейцарии, Испании, то и здесь его организационная активность (начиная именно с конца лета 1870 г.) достигла широкого размаха.

Нельзя согласиться и с утверждением Конфино о том, что почвой, на которой выросли теоретические разногласия Бакунина и Нечаева, были бакунинская верность своим принципам и полная беспринципность Нечаева⁷¹. Противопоставление это неправомерно. Теоретические принципы Бакунина сравниваются здесь не с аналогичными принципами, а с тактикой Нечаева, готового использовать либерализм, анархизм, бланкизм и любое другое течение политической мысли в той мере, в какой оно могло послужить разрушению существующего строя. Это вовсе не значит, однако, что он был лишен собственных теоретических убеждений — такие убеждения, действительно, противоположные анархистской доктрине Бакунина, у него были, был и свой

идеал общественного устройства — «казарменный коммунизм», как его назвал Маркс, и железная диктатура «нашего Комитета»⁷².

Вот по этой линии противоречий анархизма авторитаризму и проходило теоретическое размежевание Бакунина с Нечаевым. Первым симптомом конфликта стали разногласия вокруг издания «Колокола».

7 января 1870 г. Герцен писал Огареву: «Для возобновления „Колокола“ — нужна программа — даже для нас. На таком двойстве воззрений, которое мы имеем в главном вопросе, нельзя создать журнал» (XXX, 297). Справедливое это мнение после смерти Герцена уже никем из «триумвиров» не принималось в расчет. «Колокол» возник даже не на «двойстве», а на полном разном воззрении, хорошо описанном Н. А. Герцен в ее дневнике. Споры о «красном» или «пестром» направлении «Колокола», по ее же словам, окончились тем, что «старика уступили молодому тирану» (с. 494).

Записи Н. А. Герцен отразили, правда, лишь внешнюю сторону полемики, доступную ее пониманию. В действительности все было сложнее. Обратимся к свидетельствам бакунинского письма от 2—9 июня: «Несчастливая попытка Ваша издавать „Колокол“ на невозможных условиях; «Исковерканная программа „Колокола“, от которого Комитет и Вы требовали просто нелепости, невозможности»; «Против своего убеждения, я уговорил Огарева согласиться на издание „Колокола“ по выдуманной Вами дикой, невозможной программе». Фразы эти, разбросанные по тексту письма, подтверждают диктат Нечаева в этой «несчастной попытке» и убеждают в том, что сначала предполагалась другая программа издания и что Огарев упорнее, чем Бакунин, сопротивлялся «дикому, невозможному» направлению «Колокола». Последнее обстоятельство кажется странным, поскольку именно Огарев принял затем самое деятельное участие в издании, открыв его обращением «К русской публике», выступив в четырех номерах из шести, редактируя ряд других материалов.

Можно предполагать, что первое время после смерти Герцена позиция Огарева определялась его верностью старому знамени, но затем он счел возможным согласиться с Нечаевым, думая, что «пестрое» издание, обращенное и к либеральному лагерю, заполнит брешь в пропагандистской кампании⁷³.

«Пестрота» программы «Колокола» заслуживает особого внимания. Материалы, рассчитанные на различные слои либеральной общественности, сочетались в его номерах с призывами к уничтожению самодержавия, освобождению народа, объединению всех оппозиционных сил, включая сторонников немедленного бунта, с подробным рассказом о тайном революционном обществе с центром в России (статья Огарева). «Дикой, невозможной» программа эта была потому, что она, как и вся деятельность Нечаева, строилась на мистификации, стремилась ввести в заблуждение и столкнуть разные общественные течения⁷⁴.

Центральной фигурой в «Колоколе» был Нечаев. Он же был и анонимным автором части материалов. Невзирая на мимирию, с помощью которой он пытался предстать в разных статьях в различных обликах, особенности его лексики и способа аргументации, рельефно отражающие черты его личности, дают возможность без труда узнавать их автора⁷⁵.

На вопрос, обладал ли Нечаев достаточным образованием и литературными способностями для журнальной деятельности, Ю. М. Стеклов, ссылаясь на мнения В. И. Засулич и других современников, отвечал отрицательно⁷⁶. Мы придерживаемся другого мнения. Он обладал и тем и другим в достаточной степени, чтобы высунуть со статьями в европейских газетах, в «Колоколе», почти единолично издать два номера «Общины», листки «Народной расправы» и многое другое. В крепости он писал статьи, романы, воспоминания, читал массу книг на трех европейских языках. Анонимный рецензент III Отделения, бывший, по-видимому, единственным читателем написанного Нечаевым в крепости, писал в 1876 г.: «Вообще говоря, нельзя назвать автора личностью дюжинной. Всюду сквозит крайняя недостаточность его первоначального образования, но видна изумительная настойчивость и сила воли в той массе сведений, которые он приобрел впоследствии»⁷⁷. Считая это свидетельство по меньшей мере беспристрастным и опираясь на все известное об интеллектуальном развитии Нечаева до заключения, вряд ли можно безоговорочно согласиться с утверждениями Конфино, оценивающего Нечаева как «обладателя весьма упрощенной, заурядной культуры и отнюдь не выдающегося ума»⁷⁸.

В этой связи нельзя не вспомнить слова Ф. М. Достоевского, возражающего тем, кто считал «Нечаевых» просто «идиотическими фанатиками». «Да, — писал он, — из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и искверканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с страстной и болезненно-ранней потребностью высказать

Во 2-м номере «Колокола» (9 апреля 1870 г.) появилась протестующая статья Бакунина «Редакторам Колокола», которую до сих пор исследователи трактовали как реакцию на беспринципную программу издания, ранее ему не известную. Публикуемые ниже письма Бакунина и дневник Н. А. Герцена показывают совсем иную ситуацию: зная о замыслах Нечаева, Бакунин вместе с Огаревым спорил с ним, но в конце концов смирился. Ясно, однако, что реальное воплощение этих замыслов уже в первом номере «Колокола» оказалось все же неожиданным для него, тем более что он не принимал непосредственного участия в его подготовке. Именно поэтому в письме 2—9 июня он писал об «исковерканной программе»: журнал в своем реальном виде вышел за пределы тех уступок, на которые пошли «старики» в предшествовавших изданию спорах. И хотя Нечаев, требуя переезда Бакунина в Женеву, желал полностью занять его работой в «Колоколе», это не помешало ему отделаться от прямых вопросов, поставленных в статье «Редакторам Колокола», несколькими общими фразами «от редакции», помещенными после нее. В следующем номере он уже позволил себе заявить, что «кособый радикализм принципов, о котором так хлопочут люди, занимающиеся одними теориями, кажется нам теперь несвоевременной роскошью». Бакунин на этот счет имел совсем иное мнение. Ни заявление его в письме в редакцию о согласии на коалицию лишь в случае, если она будет «неуклонно и без малейшей уступки требовать от всех, приступающих к нам, несомненных доказательств ненависти к существующему порядку и твердого намерения всеми средствами и силами способствовать к его разрушению», ни подчеркнутое еще раз в конце письма его credo («социальная революция и интернациональная организация общества, основанная на коллективном труде и коллективной собственности») не согласовались со всеми хитросплетениями Нечаева и сопутствующей им теоретической путаницей, которой наполнен был «Колокол». Так на вопросе о «Колоколе» впервые обнаружилась неизбежность будущего разрыва.

Более Бакунин не участвовал в журнале. Статья его «Панславизм», опубликованная во французском приложении к «Колоколу» от 9 апреля 1870 г., была посвящена разоблачению политики царизма в славянских странах и, возможно, отвечала пожеланиям болгарских революционеров. Одновременно у Бакунина начали крепнуть сомнения и в других действиях Нечаева. «Признаюсь,— писал он в письме 2—9 июня,— что уже первый приезд мой в Женеву сильно разочаровал меня и пошатнул мою веру в возможность крепкой связи и дела с Вами». Разоблачения Лопатина попали, таким образом, на подготовленную почву. Тем не менее они глубоко потрясли Бакунина. Он не предполагал ранее размеров того резонанса, который может получить огласка неприглядных дел Нечаева в революционных кругах Европы. Не вдумывался он всерьез и в то, как это может скомпрометировать его лично. Однако нельзя сказать, что он совсем этого не предвидел. В первый же приезд Нечаева Бакунин постарался в известном смысле обобщиться от него. Соглашаясь поддерживать действия «Комитета», он оговорил свой отказ от «слепой солидарности (< . . .) в заграничных делах», поскольку она могла бы поставить его в положение, «противное обязанностям и правам как члена Интернационального Союза». Но в остальном, как мы видели, он полностью и горячо предался «русскому делу», рассчитывая главным образом на Нечаева.

Чем же все-таки объяснить, что, подозревая возможность обмана со стороны Нечаева, зная с первого же дня о методах его действий, Бакунин не только игнорировал все это, но даже год спустя, после всех разоблачений и краха многих иллюзий, все еще приглашал его к совместному «делу», называя «человеком драгоценным»? Полное отречение от всего личного, железная энергия, «страстная всецелостная отдача себя делу» действительно были редкими качествами в эмигрантской среде, которую только и знал в те годы Бакунин. Это и заставило его назвать Нечаева самым преданным «из всех нам известных русских людей». Склонный к идеализации, страстным увлечениям идеями и людьми, Бакунин часто не замечал того, что не хотел видеть. Уже на пути к полному разрыву он все еще продолжал верить себя и других, что Нечаев лишен «личных себялюбивых капризов и самообольщений» и только увлечен ложной системой. При такой схеме интересы дела логически должны были, как рассуждал Бакунин, заставить его союзника отказаться от своей системы и создать возможность продолжения совместной работы, но уже на новых условиях. Такой горячей надеждой был продиктован последующий ряд писем Бакунина. Анализ их и объясняет дальнейший ход его мыслей и поступков.

Пересылая через друзей свое огромное письмо Нечаеву, он сопроводил его «Соборным посланием» — первым из трех написанных с 9 по 20 июня писем-призывов спасти Нечаева от него самого. «Мы должны все вместе своротить его с направления, на котором он себя и дело погубит», — писал он 10 июня (п. 48). Надежды на «исправление» Нечаева Бакунин основывал на том, что

ложь, принятая им как фундамент его действий, сочеталась будто бы в его натуре с «неспособностью к ловкому обману». Этот наивный аргумент становился еще более шатким, когда в письме от 10 июня (более других проникнутом мрачными сомнениями в успехе задуманных переговоров с Нечаевым) сам же Бакунин начал обвинять его в «громдном самолюбии», «самодурстве», «огромном, поразительном отсутствии разума и внутренней правды». «Я сказал все, что умел, что мог, чтобы убедить его и чтобы убедить вас, — писал Бакунин Огареву 14 июня. — Теперь мне остается поэтому ждать его и вашего ответа»⁸⁰.

Ответные письма участников «собора» не заставили себя ждать (см. п. 49). Пришло известие и от Нечаева: он собирался лично встретиться с Бакуниным⁸¹. Это вызвало у последнего новый взрыв необоснованных надежд и совершенно поразительную психологически попытку еще раз найти оправдания всем действиям Нечаева. Попытка эта была сделана в следующем «Соборном послании», спешно отосланном друзьям 20 июня, несмотря на то, что в ближайшие дни Бакунин должен был сам приехать в Женеву.

Если о письме от 2—9 июня Бакунин говорил, что «писал прямо из головы и из сердца», не перечитывая того, что вылилось на бумагу, то в гораздо большей степени это можно отнести к последнему его письму. Кажется, будто он забыл о только что высказанных им же обвинениях Нечаева. Нечаев снова становится лишенным самолюбия и честолюбия обладателем «глубокой, высоко-доблестной и девственно-чистой правды», ставшим лишь жертвой ложной системы (п. 50). Но мало этого: теперь Бакунин пробует найти оправдания и самой системе или, вернее, обстоятельствам, из которых она родилась. Для этой цели он обращается к российской действительности, пытаясь взглянуть на нее глазами своего бывшего и, как он надеялся, будущего союзника. Попытка оправдать Нечаева, объяснив истоки его ложного пути окружающим его миром, вылилась в глубокий и в известной мере обоснованный психологический анализ причин, породивших «нечаевщину». Однако степень объективности, с которой Бакунин защищал в этом письме новый взгляд на вещи, может быть объяснена лишь страстным, доведенным до абсурда желанием любой ценой удержать ту силу, которой в его глазах обладал Нечаев, этот «высокий фанатик».

В заключение Бакунин снова предлагал участникам «собора» встретиться, чтобы договориться об условиях и средствах воздействия на «барона». Готовясь к этой общей встрече, он попытался еще раз повлиять на С. Серебрянникова и Н. А. Герцен, о чем говорят письма к последней от 26 и 28 июня (см. п. 51—53). Слова в письме к Наталье Александровне о том, что Нечаев «остается (. . .) лучшим и в отношении к делу, не лицам, честнейшим человеком между всеми нами», были последней данью иллюзиям Бакунина.

1 или 2 июля Бакунин приехал в Женеву. 4-го числа агент III Отделения Романи (под именем Постникова известный Герцену, Огареву и всему кругу революционной эмиграции, где он сумел, к сожалению, добиться определенного доверия) доносил начальству, что «Бакунин уже два дня здесь». Очевидно, уже начало переговоров с Нечаевым убедило наконец Бакунина в тщетности его надежд. Первое свидетельство об этих днях — запись от 3 июля в дневнике Н. А. Герцен, где она рассказывает о «первом свидании с Бакуниным после всех этих историй и переписки» и где уже нет речи о каком-либо сотрудничестве с Нечаевым. «Кажется, в самом деле все кончено между Бакуниным, Огаревым и Нечаевым. Последний тоже опять здесь в Женеве. По-видимому, они все ужасно спорили эти дни» — в этой записи от 7 июля Н. А. Герцен рассказала и о событиях 5-го числа, когда она получила последнюю (из известных нам) записку Нечаева с требованием выяснения отношений (см. п. 58). На встречу эту Наталья Александровна не пошла ни 5-го, ни в последующие дни, несмотря на то что В. Серебрянников оставил ей еще одну записку (см. п. 60). Далее записи в дневнике обрываются, но с Нечаевым ей еще пришлось встречаться. Была она, как свидетельствует Бакунин, на «соборном» собрании, состоявшемся между 7 и 10 июля: 10 июля в письме к Лаврову Н. А. Герцен упомянула, что Огарев и Бакунин «прекратили все сношения с Нечаевым и его товарищами» (п. 61).

Об этом собрании Бакунин рассказывал дважды, разоблачая Нечаева в письме к Талантье 24—28 июля⁸² и в письме к Мрочковскому от 19 августа. «Да, он крал наши письма (. . .) — писал он последнему. — Да, он компрометировал нас, действуя от нашего имени без нашего ведома и согласия. Да, он всегда лгал нам бессовестно. Во всем этом я его уличил при Огареве, при Тате (M-lle) Herzen, — и приведенный к невозможности отрицать моими доказательствами, знаете, что он мне отвечал? — Мы очень благодарны за все, что вы для нас сделали, но, так как вы никогда не хотели отдаться нам совсем, говоря, что у вас есть интернациональные обязательства, мы хотели заручиться против вас на всякий случай. Для этого я считал

себя вправе красть ваши письма и считал себя обязанным сеять раздор между вами, потому что для нас не выгодно, чтобы помимо нас, кроме нас, существовала такая крепкая связь»⁸³.

Но и на этом откровенно-диичном ответе объяснение, как ни странно, не прекратилось. Нечаев не только продолжал доказывать свою правоту, но, как рассказывал в письме к Талан-дье Бакунин, «упрашивал меня изложить эту теорию в русском журнале, который он предлагал мне основать»⁸⁴. Вот для чего нужны были эти переговоры Нечаеву — не идти на компромисс с Огаревым и Бакуниным он стремился, а еще раз попытаться заставить их работать на себя и свою систему.

Между тем в дни разрыва с Нечаевым Огарев и Бакунин сами были заняты мыслью об издании нового журнала. Я. З. Черняк, публикуя наброски Огарева к этому изданию под заглавием «Община или Русская община», высказывал мнение, что именно он был автором программы предполагаемого журнала⁸⁵. Однако новые документы позволяют утверждать, что программа эта была плодом совместного творчества Огарева и Бакунина. Показывают они также роль Лаврова в готовившемся издании и уточняют причины, по которым этот замысел не был реализован. По словам участвовавшего в обсуждении этого плана Сажина, «предполагалось при посредстве этого журнала связаться с русским обществом и интеллигенцией»⁸⁶. Согласно донесению Романна (Постникова), Бакунин и Огарев 10 июля заходили к нему, чтобы поговорить о журнале, а 14 июля состоялось уже специальное совещание, где, кроме инициаторов, присутствовали Постников, Озеров и Жуковский. Постникову было предложено снабжать издание корреспонденциями из России (что позволило ему неразоблаченным вернуться туда). С письмом по поводу журнала в Париж к Лаврову 16 июля был отправлен Сажин⁸⁷.

Лавров обратился с письмом к Бакунину еще в мае 1870 г. Однако Бакунин, погруженный в свои сложные отношения с Нечаевым, долго не отвечал, ограничившись припиской в письме к Лопатину от 9 июня: «Скажите, пожалуйста, Лаврову, что мне бесконечно совестно, что я еще до сих пор не ответил на его письмо» (п. 47). Теперь же, в новой ситуации, совместное издание представилось Огареву и Бакунину делом реальным. Вот что писал последний в письме, которое повез Сажин: «Письмо Ваше ко мне застало маленький кружок наш в переходном кризисе. Прежде, чем я мог отвечать Вам, необходимо было для нас определить и выяснить многое, а также освободиться от многого. Теперь могу объявить Вам, что все наши отношения с господином Нечаевым окончательно порваны, так что он отныне не будет иметь ни прямой, ни косвенной связи с каким бы то ни было из наших предприятий. Податель этого письма, наш общий приятель Сажин, объяснит Вам причины этого разрыва»⁸⁸.

По изложенному в письме замыслу предполагалось издавать ежемесячное «Review», посвященное атеизму, отрицанию государственности, борьбе с буржуазным индивидуализмом. Для России признавалось преобладание «социализма деревенского» и первым условием к его осуществлению в выдвигалось «разрушение всероссийской империи».

Письмо кончалось весьма дипломатично: «Ваше имя, столь любимое в России, придало бы огромный вес нашему журналу. Но вряд ли Вы согласитесь нам дать его. Мы даже не смеем просить Вас об этом. И будем чрезвычайно Вам благодарны, если Вы согласитесь посылать нам время от времени статьи теоретические»⁸⁹.

Сотрудничество в «революционно-социалистическом» органе привлекало Лаврова, но в программе издания ему импонировало далеко не все. Обсудив предложение Бакунина с Лопатиным, Лавров решил, что свое участие он сможет оговорить, объявив себя несолидарным со многими мнениями редакции. 12 августа он писал Лопатину: «Я знаю, что мало надежды на скромность Бакунина и С⁹, но полагаю, что предисловие, с которым я пошлю первую статью, меня выгородит и определит мое положение, если журнал состоится»⁹⁰. Эти слова показывают, что Лавров вовсе не отказывался от участия в журнале (как полагал Я. З. Черняк). Не состоялся журнал по другим причинам. В эти же дни, когда Огарев тоже готовил материал для нового журнала, Бакунин уже был занят иными мыслями. 11 августа он писал ему: «Ты под шумок проишествий думаешь только о нашем предполагаемом журнале и о своей статье. Вот ты какой философ. Тебе хорошо — ты только русский, а я интернациональ»⁹¹. Интернациональные обязательства, связанные с революционными событиями во Франции, заставили Бакунина надолго отвлечься от идеи этого издания.

Но вернемся к событиям июля 1870 г. Встреча Огарева и Бакунина с Нечаевым между 7 и 10 июля не была последней. Пока они строили издательские планы, Нечаев занялся «делом», а именно созданием отряда или, по словам Бакунина, «банды воров и разбойников (< . . . > натурально с целью составить революционный капитал»⁹². Не будучи принципиальным противником

экспроприации в революционных целях, Бакунин полагал, что подобные дела можно вести, «во-первых, в самой строгой солидарности, а во-вторых, со знанием места, обстоятельств, людей и с чрезвычайным умом». Ничем этим Нечаев не располагал. Действуя на свой страх и риск, он привлек к своей затее, писал Бакунину Мрочковскому, «наших людей, напр(имер) Ненгу, и к тому же так глупо, что все дело осрамило бы и погубило нас всех до конца. Вот почему я разрушил его»⁹³. Из письма же к Таландые мы узнаем, что Бакунин заставил Нечаева покинуть Швейцарию, «так как он непременно был бы открыт (. . .). Он бы пропал, — погубил бы с собой и нас»⁹⁴. Погубил бы потому, что, согласно своей методе, постарался бы запутать и скомпрометировать как можно больше людей.

Средства, при помощи которых Бакунин «разрушил» замысел Нечаева, остаются неизвестными. Несомненно, однако, что именно это было предметом еще одного, последнего личного объяснения бывших «триумфиров». Оно состоялось, очевидно, 15 или 16 июля (19-го, судя по письму от этого числа Лаврова к Н. А. Герцен, уже до Парижа дошли слухи о том, что Нечаев покинул Швейцарию)⁹⁵. Огареву и Бакунину удалось заставить Нечаева отказаться от своей новой авантюры и согласиться на немедленный отъезд. Внешние приличия были, однако, соблюдены. «Раставаясь с вами, Мм. Гг., после окончательного объяснения, — напишет потом Нечаев, — я дал вам руку как друг»⁹⁶. У каждой стороны был свой расчет: Нечаев хотел использовать знакомства и связи Бакунина в Лондоне и Париже, Бакунин и Огарев — выиграть время, чтобы попытаться вернуть себе бумаги, которые, как они обнаружили, украл у них Нечаев.

Все это не помешало Нечаеву прихватить с собой еще одну порцию бумаг. На этот раз исчезновение важных документов было замечено сразу же после отъезда Нечаева из Женевы. Вслед за ним по случайно обнаружившемуся следу отправился Озеров. Детективную историю охоты за нечаевским чемоданом с бумагами рассказал в своих воспоминаниях Д. Гильом. «В начале июля, — начинает он свой рассказ, — в то время, пока Бакунин был в Женеве, я получил от Нечаева известие, что он собирается отправить ко мне принадлежащий ему чемодан и просит меня хранить его в течение нескольких дней. Чемодан прибыл, и я поместил его в надежное место». Спустя некоторое время, очевидно уже уехав совсем из Женевы, в Невшатель к Гильому явился сам Нечаев в сопровождении молодого итальянца, который был при нем «чем-то вроде слуги». Чемодан он, однако, не взял, а предупредил только, что за ним скоро придет один из его друзей. На другой день действительно явился В. Серебренников, благополучно получивший чемодан у ничего не подозревавшего Гильома. К удивлению последнего, еще через день в его дверь позвонил Озеров с тем самым итальянским рабочим, который ранее приходил с Нечаевым. Они спросили о чемодане, причем Озеров рассказал Гильому о его содержимом и обо всех предыдущих событиях. При этом выяснилось, что о местопребывании Нечаева они узнали от этого молодого итальянца, сбегавшего от него и по возвращении в Женеву рассказавшего, что «радгоне» * был зол, обращался с ним как с собакой, угрожал ему револьвером, чтобы заставить повиноваться». Из Невшателя, по указанию Гильома, Озеров отправился вдогонку за Нечаевым в Локль, но «экспедиция эта окончилась ничем». Выясняется из рассказа Гильома и еще одна любопытная деталь. «Не они одни, — продолжает он, — включились в эту кампанию. В тот же день, когда они уехали в Локль, или на следующий меня посетила молодая дама с таинственными манерами и передала записку от Бакунина. Это была мадемуазель Натали Герцен, старшая дочь основателя „Колокола“. Она хотела тоже добраться до Нечаева и попытаться путем убеждения получить то, что Озеров рассчитывал получить насильем; она также потерпела неудачу: она представилась от моего имени Огюсту Шпишгеру, который проводил ее в дом, где прятался Нечаев; но разговор, происшедший у нее с последним, был безрезультатен»⁹⁷.

Так, благодаря воспоминаниям Гильома, стало известно, когда в действительности произошло последнее свидание Н. А. Герцен с Нечаевым.

Новая кража бумаг и отказ их возвратить сделали необходимым срочно предупредить об истинном облике Нечаева всех общих знакомых. Гильом был уже извещен, нужно было теперь писать в Лондон, куда направлялся Нечаев. Очевидно, уже 17 июля и Бакунин, и Огарев написали Таландые. Но Нечаев опередил их и, явившись к Таландые, был представлен им Мрочковскому и его жене З. С. Оболенской. Узнав об этом, Бакунин 24 июля вновь написал обоим своим лондонским друзьям, а в августе повторил ряд подробностей еще в одном письме Мрочковскому.

* хозяин (итал.).



Н. П. ОГАРЕВ

Фотография, 1870-е гг. (Пересъемка О. Ренара, Москва)

Музей Герцена, Москва

Нечаев как будто шел на уступку. Но тем самым публично демонстрировалась его совместная деятельность не только с Огаревым и Бакуниным, но и с Герценом и его дочерью. Более того, подчеркивалась не ослабевшая будто бы его связь с Н. А. Герценом, «через посредство» которой предлагалось передать деньги.

Последняя, со своей стороны, так реагировала на новую выходку Нечаева: «...отличился Нечаев и С-е, — писала она 3 октября М. К. Рейхель, — напечатал один № журнала «Община», в котором требует от Огарева и Бакунина какие-то деньги — и чтобы переслали через мое посредство, так как я *заведую их кассой*. Это только милая шутка, чтоб отомстить за то, что, раскусив их, я отшатнулась с ужасом»⁹⁹.

Кроме того, «Община» становилась как бы естественным продолжением того общего «практического дела», отказываясь от которого бывшие соратники должны были вернуть свой долг. Публикация письма диктовалась не расчетом на возобновление разорванного союза; это была акция, рассчитанная на публику, предпринятая с тем, чтобы обезопасить себя против дальнейших разоблачений Бакунина и Огарева.

Но разоблачений этих не последовало. Шла франко-прусская война. В массовых стихийных демонстрациях французских рабочих, требовавших после поражения в августе 1870 г. французских войск свержения Наполеона III и вооружения народа, Бакунин увидел начало социальной революции, которая, как ему казалось, должна охватить все романские страны. 9 сентября он выехал в Лион. «Я решил понести туда свои старые революционные кости и там, вероятно, сыграть свою последнюю игру», — писал он перед отъездом А. Фогту¹⁰⁰. 19 сентября, сообщая Огареву из Лиона, что «здесь все готовится для настоящей революции», он просил, между прочим: «Пришли мне журнал лондонских мерзавцев. Прочту и скажу тебе свое мнение, как поступить». Был ли послан и дошел ли журнал, было ли что-нибудь предпринято Огаревым и Бакуниным —

В конце июля Нечаеву стало известно об этих предупреждениях. Это и побудило его написать последнюю личную записку Огареву и Бакунину. Получив ее 1 августа, последний в письме к Н. А. Герцен вынужден был признать: «...нам всем, а мне более всех остается покрыть голову пеплом и с горем воскликнуть: мы были круглыми дураками!» (п. 69).

Так был подведен итог лично-общественным, или, говоря словами Бакунина, «интимно-политическим», отношениям двух старых революционеров с Нечаевым.

Нечаев, однако, не считал свои дела с ними законченными. В изданном им в Лондоне вместе с В. Серебrenниковым № 1 журнала «Община» он поместил «Письмо к Огареву и Бакунину». «Не предвидя скорой возможности лично видет-ся с вами, я прошу вас через посредство старшей дочери Герцена, заведующей нашей кассой, доставить в редакцию „Общины“ остаток того фонда, которого части получены мною при жизни А. Герцена и еще в недавнее время». Заявляя далее, что, несмотря на разногласия, он не перестает смотреть на них «как на лучших представителей поколения, к сожалению бесследно сошедшего со сцены истории», Нечаев весьма двусмысленно и дерзко выражал надежду на сохранение дружеских отношений с ними — не по какой иной причине, как та, «что вы никогда не выступите более как практические деятели русской революции»⁹⁸.

Это было хитрое письмо. Признавая публично факт получения Бахметьевского фонда, в чем он ранее упорно отказывался выдать расписку,

неизвестно. Ясно только, что с этого времени «нечаевская история» стала для них прошлым.

Своеобразным эпилогом к ней служит письмо Бакунина Огареву от 2 ноября 1872 г. «Итак, старый друг, неслыханное свершилось. Несчастного Нечаева республика выдала. Что грустнее всего, это то, что по этому случаю наше правительство без сомнения возобновит нечаевский процесс и будут новые жертвы. Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб безвозвратно и без сомнения знает, что он погиб, на этот раз вызовет из глубины своего существа, запугавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера. Увидим скоро, прав ли я. Не знаю, как тебе, а мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и не сделал намеренно, столько зла, как он, а все-таки мне его жаль < . . . > Под конец он стал дураком круглым. Вообрази себе, что еще недели за три или за две до ареста мы через знакомых — не прямо, потому что ни я и никто из моих друзей с ним не хотел встречаться, — мы предупреждали его, чтоб он убирался скорее из Цюриха, что его ищут. Он не хотел верить и говорил: „Это бакунины гонят меня из Цюриха“ — и прибавлял: „Теперь не то, что в 1870 году; теперь у меня в бернском федеральном совете есть свои люди, друзья, — они предупредили бы меня, если б мне грозила такая опасность“. Ну вот и пропал»¹⁰¹.

Последние слова Бакунина сказаны будто специально для того, чтобы подтвердить поразительное проникновение Достоевского и психологию Нечаева: в заготовках к роману «Бесы» еще за два года до ареста Нечаева, весной 1870 г., он писал о своем персонаже: «Он < . . . > до того презирал всех, что не брал особенных предосторожностей и сделал множество промахов»¹⁰².

В своей оценке будущего поведения Нечаева Бакунин был прав. За десять лет заключения в крепости Нечаев действительно проявил всю свою «энергию и доблесть». Процесс же над ним, вопреки прогнозам Бакунина, не вызвал новых жертв. Глубокое сожаление и человеческое участие к судьбе Нечаева, звучащие в этом письме, тем более важны, что действительно никто другой не сделал Бакунину намеренно столько зла. Ведь именно действия Нечаева, тенденциозно поданные в докладе Утина¹⁰³, явились (всего лишь за месяц до этого) одним из важных оснований для исключения Бакунина из Интернационала. Но Бакунин, как видим, сумел сохранить объективность и человечность к недолгому своему прежнему соратнику.

Обратимся к некоторым итогам. Благодаря Н. А. Герцен, всю жизнь скрывавшей, но не решившейся уничтожить «нечаевскую» документацию, любезной помощи правнука Герцена Л. Риста и Национальной библиотеки в Париже, предоставившей «Литературному наследству» микрофильм документов, ряду находок в архивах нашей страны и публикациям Института социальной истории в Амстердаме оказалось возможным достаточно полно представить сложные взаимоотношения как главных действующих лиц (Огарев, Бакунин, Н. А. Герцен, Нечаев), так и тех, кто был причастен ко всем этим событиям.

Предыдущие зарубежные публикации документов, рассматривая их изолированно, не касаясь, как правило, сопутствующих обстоятельств, не объединили в одно целое ни сами документы, ни все события, развернувшиеся в среде русской эмиграции в Швейцарии с декабря 1869 г. по август 1870 г. Единая публикация всего комплекса бумаг, введение ряда дополнительных материалов и хронологический принцип построения повествования, которое ведут сами документы, позволили представить цельную и достоверную картину этих событий¹⁰⁴. Восстанавливая ее, вскрывая неизвестные ранее обстоятельства разрыва Бакунина и Огарева с Нечаевым, публикуемые документы отвечают на неясные прежде вопросы или уточняют роль каждого из участников событий. В последнем смысле весьма важно фактическое опровержение категорического утверждения Ю. М. Стеклова (четырёхтомная монография которого до сего времени является самым фундаментальным в советской историографии трудом о Бакунине) о будто бы главной, определяющей роли Бакунина в «нечаевской истории»¹⁰⁵.

Если новые документы делают яснее степень моральной ответственности старого революционера, если они наглядно демонстрируют далекую от принципиальности тактику Бакунина, то они же определяют и инициативную роль Нечаева, и его самостоятельность при решении ряда важнейших практических и теоретических вопросов.

Проясняют документы и степень участия Огарева как в совместной пропаганде, так и в повседневных делах Нечаева. Особая близость Огарева с последним оказывается характерной для 1870 г., периода совместной работы по изданию «Жолокола» в отсутствие в Женеве Бакунина. «Соборное послание» от 9 июня, в котором содержится и личное обращение Бакунина к Огареву, подтверждает, что и тогда еще Николай Платонович продолжал находиться под известным гил-

нозом нечаевских представлений о революционном «деле»¹⁰⁶. В этом смысле прав, очевидно, Стеклов, предполагавший, что «к середине июня месяца Огарев был скорее на стороне Нечаева»¹⁰⁷.

По-новому раскрывают документы облик Н. А. Герцен. Период ее жизни, который ей хотелось скрыть, оказывается полным деятельности, необычных приключений, конспирации, острой идейной полемики. Ее окружают люди незнакомого ей прежде рода, происходят небывалые в ее жизни события, требующие быстрых и самостоятельных решений. В столь сложной, непривычной обстановке она руководствуется точным знанием меры дозволенного, твердыми нравственными принципами, воспитанными в ней отцом. В том, что опыт ее участия в революционных конспирациях оказался негативным, виновны были те уродливые формы, какие они принимали под воздействием Нечаева и которые она сочла за общие черты тогдашних русских революционеров.

Документы еще раз продемонстрировали остроту и точность оценок Герцена, сразу увидевшего вредность деятельности «триумvirов», и подтвердили всю справедливость самобичевания Бакунина, писавшего Огареву в августе 1870 г.: «Нечего сказать, были мы дураками, и как бы Герцен над нами смеялся, если б был жив, и как бы он был прав, ругаясь над нами!»¹⁰⁸.

Противоречивее и оттого более достоверным и живым предстает со страниц этих документов и образ Нечаева — не только как одержимого, сурового «абрека», но и как очень еще молодого человека, в котором могло, вопреки предписаниям его же собственного «Катехизиса революционера», возникнуть искреннее чувство к Н. А. Герцен. Становится ясно, как глубоко угадывал Достоевский эту неоднозначность душевного мира Нечаева, когда писал в набросках к «Бесам», что бывали случаи, когда Нечаев «действовал отчасти сердцем»¹⁰⁹, а впоследствии в «Дневнике писателя» признавался: «Позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, не нечаевцем, не ручаюсь, может и мог бы... во дни моей юности»¹¹⁰.

Еще более важную информацию несет теоретическая сторона документов. Прежде всего это относится к письму 2—9 июня, явившемуся первой русской программой Бакунина. К отразившимся в нем и рассмотренным выше теоретическим положениям бакунизма следует добавить важность положения о необходимости периода организационной подготовки революции — в связи с чем тайные общества «должны быть заложены и организованы не в видах близкого востания, а с целью продолжительной и терпеливой подземной работы» (п. 43).

Новым для освещения как мировоззрения Бакунина, так и недостаточно разработанной в литературе проблемы революционной нравственности является весь комплекс его суждений об этом в печатаемых ниже письмах.

Среди многих новых фактических обстоятельств, вводимых в широкий научный оборот настоящей публикацией, необходимо подчеркнуть важные и принципиальные сведения о так называемом «любовинском деле». Угрожающее письмо Нечаева, написанное им от имени «Комитета» Н. Н. Любавину, как теперь стало ясно, не было известно Бакунину до конца мая. Об этом свидетельствует и он сам в письме 2—9 июня, и Лопатин в письме от 26 мая. Когда Бакунин узнал от Лопатина об этих угрозах, он дважды, по свидетельству Гильома, заявил Нечаеву свой письменный протест: «Два письма Бакунина видел в 1872 г., после ареста Нечаева в Цюрихе, Р(осс) С(ажив), который поехал из Цюриха в Париж, чтобы сжечь бумаги, оставленные там Нечаевым в чемодане»¹¹¹. О том, что письмо Любавину написал будто бы Бакунин, Генеральному совету Интернационала сообщил Н. Утин. Тогда К. Маркс попросил Даниельсона достать текст письма. Он был доставлен и на Гаагском конгрессе «сделал свое дело»¹¹². Лопатин же в это время уже около года находился в Сибири и не мог разъяснить истинное положение дел. Единственный человек, могший внести ясность, — Н. А. Герцен, у которой хранились копии писем и Бакунина, и Лопатина, — не только далека была уже от деятелей революции, но с негодованием отшатнулась бы от мысли еще раз вернуться к тяжелой для нее странице своего прошлого.

Исследователи общественной мысли и революционного движения в пореформенной России получают теперь в свои руки всю, по-видимому, недостававшую документацию второго заграничного этапа «нечаевской истории». Особая ценность ее состоит в том, что на большом материале она еще раз подтвердила и укрепила взгляд советской историографии на «нечаевщину» как на явление исключительное, никак не связанное с нравственными принципами и революционными традициями русского освободительного движения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С приложением его памфлетов, биограф. введением и объяснит. примечаниями М. П. Драгоманова». Женева, 1896 (далее: Письма М. А. Бакунина), с. 299.

² Там же, с. 300.

³ «Последние новости», 1931, № 3614, 13 февраля; воспроизведены под заглавием «Мои встречи с Нечаевым»: «Лит. наследство», т. 63, с. 488—497.

⁴ «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон». Ред. и предисл. В. П. Половского. Прим. Н. М. Мендельсона и Я. З. Черняка. М.—Л., 1930 (далее: Архив Огаревых).

⁵ Указ. соч., с. 268—279.

⁶ Письмо от 6 июня 1870 г. Фотокопия с автографа ВП: ГБЛ, ф. 69, 24.14, л. 7.

⁷ ГБЛ, ф. 196, 7.18, л. 47. Последняя фраза — по-французски.

⁸ Спорные моменты (помимо главного, изложенного далее) касаются поездки Н. А. Герцен в Локль к Нечаеву и ее присутствия на собрании эмигрантов, где обсуждался вопрос о его выдаче русским властям. Многие из этдго было сходным образом освещено Н. А. Герцен в воспоминаниях 1931 г., поэтому важно понять, в чем эта версия расходилась с фактами прошлого. Как ясно стало из дневника Н. А. Герцен, она действительно ездила в Локль не по поручению Нечаева: ее отправил туда Огарев. Однако утверждение, что она не приняла бы поручений от Бакунина и Нечаева, далеко от истины: о выполнявшихся ею поручениях свидетельствует и ее дневник, и ее письма к Нечаеву. Права оказалась Тучкова-Огарева и в вопросе об участии Н. А. Герцен в собрании эмигрантов по делу Нечаева. 7 мая 1870 г. в Женеве состоялось такое собрание, где обсуждался вопрос, предъявить ли швейцарским властям общий протест эмигрантов против подчинения диктату русского правительства (о нем см. телеграмму Огарева — п. 29, а также письма к нему Бакунина — Письма М. А. Бакунина, с. 274—275, 277). На собрании присутствовал сам Нечаев и «обе Натали». Н. А. Тучкова-Огарева хорошо запомнила это собрание, потому что именно там произошло ее столкновение с Мэри Сетерленд, рассказ о котором не раз повторялся в ее письмах, и в том числе, что особенно важно, в письмах к Огареву. Так, в письме к нему от 12 апреля 1875 г. Наталья Алексеевна напоминала: «Когда раз во время митинга, при Нечаеве, эта женщина, тоже без малейшего повода, бросилась на меня с поднятыми кулаками, ты просил меня ее просить — и я простила» («Лит. наследство», т. 63, с. 514). В письме же к Е. С. Некрасовой от 8 апреля 1893 г. Н. А. Тучкова-Огарева рассказывала: «Раз в Женеве был сход эмигрантов, и мы с Н(аташей) были. Огарев тоже пришел. Народу было много, собрание длилось до полночи. Вдруг Мэри явилась за О(гаревым), она была пьяна, подошла к нам с Н(аташей) с поднятыми кулаками. К счастью, знакомые русские увели ее силой, а один из них проводил нас» (ГБЛ, ф. 196, 18.18, л. 31).

Возражения Н. А. Герцен против этих утверждений Н. А. Тучковой-Огаревой в воспоминаниях — плод недоразумения. Она полагала, несомненно, что речь идет о втором, более позднем собрании, где обсуждался уже текст протеста, написанный Бакуниным и Жуковским, и на которое она после разоблачения Нечаева Лопатиным (см. об этом ниже) действительно не пошла. Как показывает памятная запись Н. А. Герцен (см. п. 31), до этого она участвовала в более узком по составу обсуждении текста протеста и ставила там условием своей подписи включение в него ясно выраженного заявления, что революционная эмиграция не солидарна с деятельностью и взглядами Нечаева, а протестует лишь против нарушения швейцарскими властями права политического убежища.

⁹ Ф. М. Достоевский. Одна из современных фальшей (Полн. собр. соч. в 30 т., т. 24. Л., 1980, с. 131).

¹⁰ «Лит. наследство», т. 63, с. 489.

¹¹ Письмо от 6 июня 1870 г. Фотокопия с автографа ВП: ГБЛ, ф. 69, 24.14, л. 8.

¹² Отвечая на письмо президента Академии наук СССР А. П. Карпинского от 24 сентября 1931 г. с просьбой предоставить для переиздания «Колокола» те материалы, которые, как он писал, «находятся в Вашем, Наталия Александровна, распоряжении», Н. А. Герцен утверждала, в частности: «Относительно „Колокола“ издания Нечаевского среди этого архива имеется только мой рассказ о моих отношениях к Нечаеву. Рассказ этот написан по-французски и в переводе напечатан в „Последних новостях“ (Н. С. Рогова. К истории архива А. И. Герцена. — «Ист. архив», 1962, № 1, с. 95). В том же духе она отвечала двумя месяцами позже на обращение В. Д. Бонч-Бруевича (там же).

¹³ З. К. Р а л и. Сергей Геннадиевич Нечаев. — «Былое», 1906, № 7, с. 146.

¹⁴ М. П. С а ж и н (Арман Росс). Воспоминания. М., 1925, с. 70—74. Именно эти воспоминания убедительно подтверждают факт кражи Нечаевым бумаг из архива Огарева, в чем Бакунин обвинял его в письмах к Таландые и Мрочковскому (Письма М. А. Бакунина, с. 286—290, 303).

¹⁵ «Archives Bakounine publiées par l'Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis Amsterdam par A. Lehning», t. IV. Leiden, 1971, p. 475 (далее: АВ). По свидетельству С. Кочрэнэ, ознакомившегося в Цюрихе с этими бумагами, в книжке был «список представителей высшего русского дворянства, очевидно составленный в связи с планами, изложенными в „Народной расправе“» (S. C o c h r a n. The Collaboration of Nečaev, Ogarev and Bakunin in 1869. Nečaev's Early Years. Giessen, 1977, p. XIX).

¹⁶ CMRS, v. VII. Paris, 1966, № 2 (письма Нечаева к Н. А. Герцен во французском переводе), № 4 (письмо Бакунина к Нечаеву от 2—9 июня и «соборное» от 9 июня 1870 г.); v. VIII,

1967, № 1 (письма Бакунина к Огареву, Озерову и др. от 10 и 20 июня 1870 г., переписка Бакунина с Н. А. Герцен, репродукция последней записки Нечаева Бакунину и Огареву), № 3 (письма Лопатина к Н. А. Герцен от 1 июня и 5 июля 1870 г., к Бакунину от 26 мая 1870 г., письмо Бакунина к Лопатину от 9 июня 1870 г.), № 4 (письмо Лопатина к Н. А. Герцен от 1 августа 1870 г.); v. X, 1969, № 1 (дневник Н. А. Герцен).

¹⁷ АВ, т. IV. Leiden, 1971 (в частности, франц. перевод письма Трусова к Марковичу). В этом издании помещен и ряд документов, хранящихся в Международном институте социальной истории в Амстердаме, часть которых мы также воспроизводим в настоящей публикации.

¹⁸ Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896.

¹⁹ ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 845. Расшифровать это письмо пока не удалось, не установлены, следовательно, и его авторы (их, по-видимому, два).

²⁰ Н. П. Огарев. Избр. соч.-полит. и философ. произведения, т. 2. М., 1956, с. 534.

²¹ Сб. «Наша страна». СПб., 1907, с. 228—231.

²² В этой оценке мы согласны с Б. П. Козьминым (см.: Б. П. К о з ь м и н. Из истории революционной мысли в России. М., 1961, с. 556).

²³ Н. П. Огарев. Указ. соч., т. 2, с. 535—536.

²⁴ Е. Л. Рудницкая. Огарев в русском революционном движении. М., 1969, с. 387.

²⁵ Н. П. Огарев. Указ. соч., т. 2, с. 542.

²⁶ Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1929, с. 411.

²⁷ В. Я. Гросул. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе. Кишинев, 1973, с. 347—397.

²⁸ Письма М. А. Бакунина, с. 254.

²⁹ «Лит. наследство», т. 39-40, с. 573.

³⁰ «Известия АН СССР», серия лит. и яз., 1967, т. 26, вып. 2, с. 162.

³¹ «Лит. наследство», т. 41-42, с. 139—145. «Можно утверждать, что самый план одновременного обращения к различным классам и группам русского общества принадлежал именно ему», — пишет Б. П. Козьмин об Огареве (указ. соч., с. 563), напоминая о его воззваниях 1861—1862 гг. Соглашаясь с этим мнением, Е. Л. Рудницкая добавляет, что возрождение старого пропагандистского плана Огарева «было искусственным, поскольку иным стало положение в России» (Е. Л. Рудницкая. Указ. соч., с. 389).

³² Французский перевод Гильом напечатал 5 февраля в «Progress», затем он был перепечатан в «Internationale» (Брюссель) 13 февраля и в «Volksstaat» (Лейпциг) 16 февраля.

³³ Огарев и Нечаев предполагали первоначально начать издание «Колокола» гораздо раньше: в письме к Н. А. Герцен от 15 февраля 1870 г. Огарев писал, что напечатает там статью «Памяти Герцена» 1 или 15 марта (фотокопия с автографа ВВ: ГБЛ, ф. 69, 25.51, л. 7).

³⁴ «Лит. наследство», т. 41-42, с. 155—156. Об условиях, на которых нуждавшийся в деньгах Бакунин взялся за этот перевод, см. в его письме к Огареву от 16 декабря 1869 г. (Письма М. А. Бакунина, с. 247).

³⁵ См., например, его письмо к Тате от 30 апреля 1869 г. (XXX, 100).

³⁶ В том же письме от 15 февраля 1870 г. Огарев писал ей в Париж: «Ты мне много поможешь в Женеве и возьмешь на себя кой-какие работы на русском языке, которые меня ужасно отвлекают от настоящего занятия писаньем статей и пр.»

³⁷ Драгоманов в примечании приводит рассказ ему об этом А. А. Герцена, ошибочно упомянувшего о присутствии при этих спорах Бакунина (Письма М. А. Бакунина, с. 536).

³⁸ Ее рукой написана большая часть счетов по расходованию фонда на издание, также оставшихся в «нечаевском» комплексе ее бумаг (фотокопия с автографа ВВ: ГБЛ, ф. 69, 24.5). О своих занятиях она много записывала в дневнике (см. ниже).

³⁹ Письма М. А. Бакунина, с. 257—260.

⁴⁰ АВ, т. IV, р. 43—45.

⁴¹ См. п. 3, 8, 9, 12, а также: Письма М. А. Бакунина, с. 257—260.

⁴² М. Бакунин. Избр. соч., т. III. Пб.—М., 1920, с. 22.

⁴³ «Лит. наследство», т. 41-42, с. 163.

⁴⁴ Архив Огаревых, с. 78—81. Все эти произведения вошли в выпущенный в конце 1870 г. в Женеве «Сборник посмертных статей» Герцена. Еще до этого А. А. Герцен напечатал французский перевод писем «К старому товарищу» в приложении к третьему изданию книги «С того берега» (вышло в свет в Женеве в июле 1870 г.).

⁴⁵ Цит. по кн.: АВ, т. IV, р. XIV.

⁴⁶ Письма М. А. Бакунина, с. 271—272.

⁴⁷ «Лит. наследство», т. 63, с. 711—712.

⁴⁸ См. об этом прим. 7 к п. 41.

⁴⁹ См. об этом в воспоминаниях Н. А. Герцен («Лит. наследство», т. 63, с. 494—496) и в письмах 35—39.

⁵⁰ См. его письма к Огареву от 9—10 мая (Письма М. А. Бакунина, с. 274—275) и к Нечаеву от 11 мая (там же, с. 277).

⁵¹ Письма М. А. Бакунина, с. 278—279, 281.

⁵² Объяснения эти происходили, очевидно, 22 и 23 мая: 20 мая, как мы видели, Бакунин писал еще из Локарно и приехал в Женеву, скорее всего, 22-го. В «самый вечер приезда», как он писал потом Нечаеву (см. п. 43, с. 537), произошел первый разговор втроем, а на следующий день — встреча Лопатина с одним Нечаевым. 26 мая Лопатин уже из Парижа, по возвращении из Женевы, отправил Бакунину свое длинное письмо (п. 34). 27 мая Н. А. Герцен сообщила Нечаеву, что Бакунин уже в Берне и хлопочет там по делам его и Серебренникова (см. п. 35). Нель-

зя не отметить, что и после разоблачений Лопатина Бакунин не ослабил своей активности в защите Нечаева, а, наоборот, еще раз поехал в Берн, добиваясь организации протеста швейцарской общественности.

⁵³ См. п. 43. Письмо ранее приводилось в отрывках в ряде работ советских историков: Е. Л. Рудницкая. Огарев в русском революционном движении. М., 1969; Она же. «Нечаевский» «Колокол» («История СССР», 1983, № 1); Н. Пирумова. Бакунин. М., 1970; Она же. М. А. Бакунин или С. Г. Нечаев? («Прометей», 1968, № 5); Она же. Новое о Бакуине на страницах французского журнала («История СССР», 1968, № 4); А. И. Володин, Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак. Чернышевский или Нечаев? М., 1976.

⁵⁴ Так, например, Ю. М. Стеклов писал в 1927 г.: «При имеющихся сейчас в нашем распоряжении данных ответить вполне точно на вопрос о действительных причинах разрыва трудно. Обе стороны ловко законспирировали их не только от современников, но и от потомства. Таким образом, мы и сейчас принуждены о многом только догадываться, ограничиваясь темными намеками, отдельными выражениями, неясными фактами» (Ю. Стеклов. Михаил Александрович Бакунин. Биография, т. 3. М., 1927, с. 523). Близкую мысль встречаем мы у английского исследователя Карра. Он писал: «Странно, что ни один из обильных наших источников о деле Нечаева не сообщает сколько-нибудь ясно о разрыве, и поэтому остается широкое поле для умозрительных предположений» (Е. Кагг. The Romantic Exiles. L., 1933, p. 356). Это заявление тем более любопытно, что в предисловии к своей книге Карр с благодарностью вспоминал о тех личных впечатлениях, которыми делилась с ним Н. А. Герцен во время неоднократных бесед в ее доме в Лозанне.

⁵⁵ Е. Л. Рудницкая, В. А. Дьяков. Рукопись М. А. Бакунина «Международное тайное общество освобождения человечества» (1864).— Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1851 гг.». М., 1974, с. 313—355.

⁵⁶ «Тайный Интернационал Бакунина» (Сб. «Михаил Бакунин. Неизданные материалы и статьи». М., 1926, с. 67—92).

⁵⁷ «Народное дело», 1868, № 1, с. 6—7.

⁵⁸ З. К. Ралин. Бакунин. Из моих воспоминаний («Минувшие годы», 1908, № 10, с. 157).

⁵⁹ Прибавление к книге: М. А. Бакунин. Государственность и анархия. 1872. («Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник документов», т. 1. М., 1964, с. 38—54.)

⁶⁰ «Нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать его жизни новое направление, или, как утверждал тридцать шесть лет тому назад покойный Чаадаев, говоря именно о русском народе, писать на нем, как на белом листе, что угодно» («Прибавление А». — Указ. соч., с. 44).

⁶¹ М. А. Бакунин. Собр. соч. и писем, т. 3. М., 1935, с. 408.

⁶² Е. Л. Рудницкая, В. А. Дьяков. Указ. соч., с. 317.

⁶³ Там же, с. 316.

⁶⁴ Протест этот принял форму писем «К старому товарищу».

⁶⁵ «Прибавление А» (Указ. соч., с. 49).

⁶⁶ «Демократы-баричи, развивающиеся во времена Пушкина и ему подобных», — с пренебрежением писал об этом поколении Нечаев, конкретно имея в виду Герцена и Тургенева («Община», 1870, № 1, с. 3).

⁶⁷ М. П. Сажин. Указ. соч., с. 72.

⁶⁸ «Теория», — писал Бакунин, — по природе своей нетерпима, и вся ее чистота, ее нравственность, искренность, сила обуславливаются и доказываются именно этою нетерпимостью. Поэтому всякая коалиция в теории безнравственна» (Письмо «Редакторам Колокола». — АВ, т. IV, p. 86).

⁶⁹ CMRS, v. VII, 1966, № 4, p. 583.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid., p. 599.

⁷² См. его статью «Главные основы будущего общественного строя» в № 2 «Издания общества Народной расправы».

⁷³ Нужно согласиться с Б. П. Козьминым, считавшим, что возобновленный «Колокол» следует рассматривать не изолированно, а как часть всей нечаевской пропагандистской кампании (указ. соч., с. 568).

⁷⁴ Конфидо неправ, полагая, что «политическая линия „Колокола“ была либерально-консервативной, и он стоял за конституционную монархию с законными мирными реформами» (CMRS, v. VII, 1966, № 4, p. 594).

⁷⁵ Мимикрия была все же недостаточно умелой, что позволяло не только нам, и но современникам легко обнаруживать авторство Нечаева. Так, К. Маркс сразу же узнал руку Нечаева в ответе Боржгеиму («Автору статьи „Письмо Нечаева“»), опубликованном в «Volkstaat» (1870, № 6) и в «Колоколе» (подробнее см.: «Колокол». Изд. общества политкаторжан. М., 1933, прим. Е. Мороховца к 4-му номеру, с. 74).

⁷⁶ Ю. Стеклов. Указ. соч., т. 3, с. 443—444.

⁷⁷ П. Е. Щеголев. С. Г. Нечаев в Алексеевском равелине (Сб. «Алексеевский равелин». М., 1929, с. 242).

⁷⁸ CMRS, v. VII, 1966, № 4, p. 585.

- ⁷⁹ Ф. М. Достоевский. Одна из современных фальшей (Полн. собр. соч. в 30 т., т. 21. Л., 1980, с. 128—129).
- ⁸⁰ Письма М. А. Бакунина, с. 282.
- ⁸¹ Там же, с. 283.
- ⁸² Там же, с. 286—290.
- ⁸³ Там же, с. 303.
- ⁸⁴ Там же, с. 290. Нечаев, по всей вероятности, имел в виду тот журнал, который он начал издавать в Лондоне в сентябре 1870 г. и для которого использовал название «Община», наметавшееся ранее Огаревым для своего журнала (см. его наброски: «Лит. наследство», т. 61, с. 575—576).
- ⁸⁵ «Лит. наследство», т. 61, с. 576—578.
- ⁸⁶ М. П. Сажин. Указ. соч., с. 34.
- ⁸⁷ Р. М. Кантиор. В погоне за Нечаевым. Л., 1925, с. 85—86.
- ⁸⁸ «„Вперед!“, 1873—1877. Материалы из архива Валериана Николаевича Смирнова. Отобран, снабдил примечаниями и очерком Борис Сапир», т. 1. Dordrecht, Holland — Boston, USA, 1970, с. 31.
- ⁸⁹ Там же.
- ⁹⁰ Там же, с. 34.
- ⁹¹ Письма М. А. Бакунина, с. 300.
- ⁹² Там же, с. 289.
- ⁹³ Там же, с. 303.
- ⁹⁴ Там же, с. 290.
- ⁹⁵ «Лит. наследство», т. 63, с. 485.
- ⁹⁶ «Община», 1870, № 1, 1 сент., с. 8.
- ⁹⁷ D. Guillaume. L'Internationale. Documents et souvenirs, t. 1. Genève, 1980, p. 63—64.
- ⁹⁸ «Община», № 1, с. 8.
- ⁹⁹ Фотокопия с автографа ВН: ГБЛ, ф. 69, 24.14, л. 25.
- ¹⁰⁰ Ю. Стеклов. Указ. соч., т. 4, с. 39.
- ¹⁰¹ Письма М. А. Бакунина, с. 305, 443—444.
- ¹⁰² Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т., т. 11, с. 97.
- ¹⁰³ «Доклад Н. Утина Гаагскому конгрессу Международного товарищества рабочих» (Сб. «Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2—7 сент. 1872. Протоколы и документы». М., 1970, с. 322—425).
- ¹⁰⁴ Следует отметить также, что сверка опубликованных за рубежом текстов с оригиналами принесла ряд уточнений и дополнений — пропущенных или не прочитанных издателями мест.
- ¹⁰⁵ Ю. Стеклов. Указ. соч., т. 3, с. 430.
- ¹⁰⁶ Прося Огарева подтвердить его непричастность к Бахметьевскому фонду, Бакунин писал: «Озеров мне пишет, что тебя останавливает боязнь повредить делу <...> Пора же нам понять, наконец, что Нечаев <...> сам по себе не есть дело, что дело само по себе, а он сам по себе» (Письма М. А. Бакунина, с. 272).
- ¹⁰⁷ «Каторга и ссылка», 1934, № 3, с. 10.
- ¹⁰⁸ Письма М. А. Бакунина, с. 299.
- ¹⁰⁹ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т., т. 11, с. 279.
- ¹¹⁰ Там же, т. 21, с. 129.
- ¹¹¹ D. Guillaume. Op. cit., t. 1, p. 264—262.
- ¹¹² См.: «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». М., 1951, с. 85.

I

ДНЕВНИК Н. А. ГЕРЦЕН.

28 мая 1870

В первых днях февраля я поехала в Женеву с Тхоржевским¹. Меня мучила мысль о том, что мы поселимся кто в Париже, кто во Флоренции, а Ага останется совсем один, как будто брошенный нами.

Несколько дней после приезда прихожу утром — Огарев еще спал. Вхожу в салон, Тхоржевский мне шепотом говорит:

— В той комнате сидит Мг Волков². Позвать его сюда?

— Пожалуй, — отвечала я.

Очень мне было интересно видеть этого человека, о котором я имела очень неясное понятие, но все-таки кое-что слышала. Тхоржевский отворил дверь в столовую, впустил или, скорее, пригласил молодого человека, сказав:

— Не хотите ли перейти сюда? Здесь и Н<аталья> А<лександровна>.

Престранное впечатление сделало на меня явление Волкова — вся его фигура была оригинальна, чисто русская, но особенно обращали внимание темные

<...> * глаза, которые высматривали по временам из-за больших темных очков. Входя в комнату, он пробормотал: «Здравствуйте», засунул левую руку в карман, а правую — на грудь застегнутого пиджака и стал шагать из угла в угол, не поднимая взгляда.

— Принесли «Journal de Genève»? — спросил он Пана.

— Нет, — отвечал последний, обиженный тем, что Волков осмелился спросить его, как будто это его должность — носить ежедневно журнал.

— Ну, так потом принесите, надо взглянуть, — продолжал Волков, не обращая внимания на Пана, который через несколько минут ушел.

Мы остались одни. Волков продолжал шагать с опущенной головой, я стояла, облокотившись, у камина, ждала, чтобы он начал говорить. Промолчали мы несколько минут, наконец Волков спросил, не подымая головы и не смотря на меня:

— Вы поедете провожать гроб отца в Ниццу?

— Нет, один брат поедет с Тхорж(евским); я вернусь к сестрам в Париж.

И опять настало молчание. Наконец я спросила:

— Читали вы русские газеты? Что нового?

— А вы разве интересуетесь русскими делами? — спросил он и взглянул в первый раз на меня, и то быстрым взглядом из-за очков, и опять опустил глаза на пол.

— Как же не интересоваться, особенно последнее время, — начались опять аресты, допросы.

— Почему я знаю, интересуется вас это или нет — чай, давно за границей?

— Давно. Мне был год, когда мы выехали. Ничего не помню, но, тем не менее, интересуюсь всем тем, что там делается.

Этим кончилась наша первая встреча. Огарев взошел, я начала говорить с ним. Судя по лаконическим вопросам и ответам Волкова, по резкому тону, которым он их бормотал свысока, точно начальник какой-нибудь, я подумала, что, по его мнению, пустая трата времени разговаривать с «барышней», вследствие чего не начинала больше говорить с ним и вообще не обращала на него внимания, хотя и делала свои наблюдения на его оригинальные манеры и выходки.

Дня через два-три я говорила О(гареву) о своем намерении ехать в Берн и оттуда в Париж. Волков шагал из угла в угол по своему обыкновению, как медведь в клетке.

— Говорили о рисунках? — пробормотал он, проходя около О(гаре)ва.

— Нет, еще не говорил, — медленно ответил Ага, и еще медленнее повернувшись ко мне, как будто готовясь сказать что-то.

— Что за рисунки? — спросила я, удивленная, и, бог знает почему, промелькнула мысль о том, что мне предложат сделать или скопировать виньетку для фальшивых бумажек.

— Это длинная история, — продолжал Огарев, — потом тебе объясню. Но ты послезавтра уже едешь? Как же с этим быть, успеешь ли?

С трудом узнала я, в чем дело. Нужно было нарисовать мужика русского сначала, потом оказалось — лучше было бы нарисовать группу мужиков. Тут и Волков начал объяснять, не обращая внимания на мое замечание, что выйдет у меня все неуклюже, не верно, не живо, потому что я мужиков русских никогда не видела, а потом — потому что я фигур рисовать не умею, ограничивалась головами, что совсем другое дело.

— Это ничего не значит, — продолжал Волков, — нам артистические произведения не нужны. Сюжет и костюмы вам будут объяснены, вы только чертите, потом увидим — годится или нет. Удастся — много обяжете.

Поняла я наконец, что им хотелось: во-первых, не один рисунок, а целый ряд картин, которые бы имели влияние на народ, на мужиков. Волков объяснял сюжеты так:

— На одном рисунке вы, например, представьте толпу мужиков, вооруженных чем попало, косами, палками и т. д. Парень один впереди потерял шапку,

* Знаком <...> здесь и далее отмечены пропуски в тексте дневника. — *Ред.*

рвется как будто бы на ту сторону, указывая на солдат, которые там стоят, — тут останавливает его поп и бьет крестом по голове. Понимаете?

— Понимаю. Но задача трудная, мне не по силам. Очень жаль!

— Нечего руки-то опускать, не пробовавши; начните с одной фигуры — там увидим. Ну, напр<имер>, барин-помещик, как был, — толстый, богатый, развалившись на диване пьяный, и помещик, как он теперь, — худой, оборванный...

— Это скорее можно.

— Потом, коли удастся, нужно изобразить мужиков — например, на одной страничке — что делают мужики, а на другой — что им следует делать.

— А что им следует делать, по-вашему? — спросила я.

После минутного молчания он ответил:

— А вот, например, несколько мужиков подкрадываются тайком к господ<скому> дому и поджигают.

— Помилуйте, что вы! — воскликнула я. — Ни за что бы не нарисовала, если б и могла. Нечего учить мужиков резать или поджигать; когда народ восстает, он слишком жесток, его надобно останавливать, а не подстрекать...

Ироническая улыбка показалась на лице Волкова, и он, продолжая шагать, крикнул Огареву, сидевшему в столовой:

— Эй вы, слышите, что «они» здесь говорят? Отказываются рисовать, вот видите, потому что против их воззрения учить мужиков поджигать.

О<гарев> посмеялся, ничего не сказал. Поспорили мы еще немножко; группы я отказалась рисовать, сказала, что отдельных мужиков и фигур попробую составить. Огарев настаивал на том, чтобы я поскорее вернулась из Берна, что он мне еще много объяснит и расскажет. Саша, спешивший в Париж, меня, напротив, просил или советовал мне как можно дольше оставаться у Маши³.

— Надеюсь, что ты тогда найдешь Огарева одного, а то что же это теперь — никак нельзя порядком говорить, все кто-нибудь у него да сидит. А знаешь, как Ц<амперини> попался вчера вечером? Это меня очень удивило для такого опытного конспиратора. Едва мы поздоровались, он мне говорит с таинственным видом, указывая пальцем через плечо на Волкова: «Я пришел, — говорит, — по этому делу... понимаешь, но не достал еще, это совсем не так легко; три уже передал, хлопочу о четвертом». Ты понимаешь, что я ничего об этом не знал, но мне жаль было старика, подумал о том, как стыдно и досадно ему будет, если заметит, что проговорился, — и ответил тоже с таинственным видом: «Да, да, понимаю, это не шутка». Эх, как смешны и бесполезны все эти штуки!

— Молодой, должно быть, очень энергический человек, но односторонний взгляд на все, — заметила я.

— Да, — ответил Саша, — но что же делать? С его точки зрения, он прав: без этой односторонности ничего не сделаешь. А если он шпиона отправил на тот свет, за это можно его только похвалить.

— Конечно, — подтвердила я. — Как интересно было бы знать, что такое у них делается в самом деле в России! Существовал заговор или нет?

Меня в самом деле это очень интересовало; я уже несколько раз расспрашивала Огарева, просила его объяснить мне, в чем состоит их дело и отчего папаша от них отстранился, отчего он не верил, не сочувствовал им.

О<гарев>. Г<ерцен> уж давно как-то отстранялся, держался в стороне, вследствие чего многого просто не знал и не мог судить о теперешнем положении русской молодежи и о том, что они делают.

Я. Ты веришь, что у них организовано общество, которое имеет большое влияние?

О<гарев>. То, что они сильны, доказывает уже сам по себе факт побега Волкова, то, что его освободили товарищи. Но, впрочем, если б их было и мало, человек 50, 20 или десять, я все-таки был бы с ними, потому что считаю их делом делом справедливым и святым.

Мне хотелось яснее понять, в чем именно состоит это «дело» и это «общество», поэтому не сиделось в Берне; я осталась там дня два, а на третий день вернулась и опять начала расспрашивать Огарева. Ответы его меня не могли удовлетво-

рить: казалось, что он многое знает, но сказать не может, не должен; поэтому я начала расспрашивать Волкова и имела с ним даже очень длинные разговоры — вообще о работниках, о «буржуа», об эксплуататорах и «тунеядцах», но о русском деле мне ничего не становилось яснее. Понять можно было только одно, это — что он проповедует страшнейшую ипокризию *, повторяя, что «цель оправдывает средства».

— Помилуйте, — воскликнула я невольно, — да это просто иезуитизм!

— Да, конечно, — отвечал В<олков>, — да иезуиты были самые умные и ловкие люди, подобного общества никогда не существовало. Надобно просто взять все их правила с начала до конца, да по ним и действовать — переменяв цель, конечно.

И удивило, и испугало меня это объявление. Как можно работать с такими людьми, — подумала я. И чем больше В<олков> развивал необходимость такой системы и пускался в подробности, как, н<а>пр<имер>, необходимость иногда подслушивать у дверей, распечатывать чужие письма, лгать и т. д., тем больше я удивлялась, как Огарев мог соглашаться с таким образом действия. Когда я его об этом расспрашивала, он мне только отвечал:

— Бывают случаи, когда лгать необходимо.

— Ну, а подслушивать, чужие письма распечатывать и т. д.?

— Да на практике это никогда не приходится делать, — был его невинный ответ.

Из всех разговоров вывод можно было сделать тот, что цель у них хороша, стремятся они к тому, чтобы переменить существующий порядок, начать хотят с того, чтоб опрокинуть или уничтожить силу русского правительства, — а средства!..

Два дня до моего отъезда в Париж⁴ Волков стал делать мне всевозможные вопросы, касающиеся до меня лично, до моих занятий, и наконец спросил, для чего я еду в Париж и что буду там делать.

— Сама еще не знаю, — ответила я.

— Плохо, — пробормотал он.

— Пока я остаюсь с Н<атальей> А<лексеевной> и с Лизой — буду ею заниматься, буду помогать Н<аталье> А<лексеевне> папашины рукописи переписывать и переводить. А дальше что будет, еще не знаю.

— Плохо — а говорите, что ищете дело, готовы бы и нам помочь.

— Конечно, если только могу, — но как, какое дело?

— Дела бездна, и под рукой; стоит серьезно захотеть и найдете, узнаете. Да вот здесь даже — сколько вы могли бы Огареву помочь!

— В чем же?

— Приходите сегодня вечером, я вам объясню. Но только следовало бы вам переселиться сюда, в Женеву.

— Теперь уже поздно — в Париже уж, верно, нанята квартира. Впрочем, увижу. Если б я думала, что в самом деле найду дело здесь, я, конечно, бы переселилась.

Вечером я опять пришла, несмотря на то что голова ужасно болела. Огарев был выпивши, играл на фортепиано. Волков сел около меня и начал таинственным шепотом рассказывать, что в России существует большое, сильное тайное общество, что он рискует говорить мне об этом, несмотря на то что так мало знает, потому что я внушила ему доверие, и рассчитывает на то, что никому об этом не буду говорить.

— Цель общества вы знаете; значит, теперь вы только скажите: считаете вы себя одной из наших?

— Т. е. как так? Принадлежу ли я к вашему обществу? Конечно, нет!

— Не то хотел сказать, — словом, хотите вы оставаться жить покойно, как светские, салонные барышни, или сделаться одной из наших, как сильные женщины, которые встречаются в России теперь и которых мы считаем своими сестрами?

* От французского hypocrisie — лицемерие.



С. Г. НЕЧАЕВ

Фотография, 1869

Литературный музей, Москва

искренно желает работать, и без этого будет работать. К чему же ненужные формальности?

— Да какое же дело вы мне предлагаете?

— Сейчас объясню. Вы видите, что там пошли аресты и всевозможные гадости в последнее время; начали тоже бежать из тюрем, из крепостей; бегут за границу, а тут ничего не находят; останавливаются в Германии — их выдают опять русскому правителю. Надобно непременно устроить какой-нибудь центр здесь, за границей, который был бы в сношении со всеми разбросанными русскими вне России — так, чтоб человек бежавший знал бы, куда обратиться, и не пропадал бы. Комитет нашего общества считает, что всего удобнее устроить это в Швейцарии, а именно в Женеве — вот хоть у Огарева, например, так как его знают и уважают. Но Огарев стар, часто нездоров или в таком состоянии, как сегодня вечером. Надобно непременно, чтоб около него был человек молодой, свежий, который ему бы помогал, напоминал. Вам бы всего лучше и легче было бы взять это на себя. Без этого просто беда — мне на днях необходимо ехать, оставить его просто страшно. Бывают такие случаи, например, приносит на днях важнейшую телеграмму — известие о том, что один из «наших» бежал; телеграмму надобно было немедленно прочесть и как можно скорее опять телеграфировать и дать знать, в чем дело, в другое место. А Огарев распечатал, начал, было, читать, но заснул на стуле с телеграммой в руках. К счастью, я еще вовремя пришел, успел отправить депешу куда следует, а то бог знает, сколько человек бы погибло. Понимаете, что тут непременно должна быть верная, свежая личность, которая бы малопомалу взяла бы все в руки, т. е. которая получала бы всю корреспонденцию и аккуратно бы все передавала, отвечала и т. д. Если бы вы за это взялись, вы оказали бы нам громадную услугу — ведь дело идет о жизни людей, которые тут даром погибают по неосторожности Огарева).

Положение так, как он мне его представлял, было в самом деле чрезвычайно нехорошо. Я поверила, что в самом деле в России что-то делается, что все кипит,

Я. Т. е. вы меня спрашиваете, хочу ли я принадлежать к вашему обществу? На это я не могу ответить, я все-таки еще слишком мало об нем знаю.

Волков. Да вы только то решите: ближе вы к буржуа, тунеядцам, которые ничего изменить не хотят, или к нам, желающим все переделать?

Я. Конечно, к вам, т. е. я вашей цели сочувствую, но ваших средств одобрять не могу...

Волков. Вот все, что я знать хотел. Вы согласны с целью — значит, вы из наших; только это надобно доказать на деле, надобно работать и нам помогать.

Я. Однако позвольте, вы говорите, что я из ваших, я говорю, что с целью согласна, что готова помогать, но хочу знать условия вашего общества прежде, чем буду считаться его членом, и что мне делать придется?

— Условий нам никаких не нужно, кроме молчания. В России другое дело — там я не решился бы так скоро открыто говорить с вами. Никаких подписей, ни условий нам не нужно, к чему все это? Кто не хочет ничего делать, и подписавши не станет делать, а тот, кто

шумит и что готовится что-то к 19-му февраля 70 г. Я задумалась, перебирая обстоятельства и стараясь придумать, как устроить переезд после того, как я в Париже так решительно была против поселения в Женеве. К тому же вспоминалась мне болезнь моя, и страшно мне было, что приходится мне участвовать в тайном обществе, вспоминала я, как меня мучили всевозможные заговоры во время болезни, видения и т. д.

Волков прекратил все это вопросом:

— Видите необходимость переехать сюда хоть на время, на несколько недель или месяцев, на два, на три, словом, пока дело так горячо там? В Париже вам делать нечего, <ничего> важного, а здесь вы будете ужасно полезны. Решайтесь, помещение вам найдут здесь у О<гарева> или... но, может, вы избалованы очень насчет того — комфорта?

— О, нет, я ко всему привыкла и мало обращаю внимания на комфорт!

— Тем лучше, — продолжал он, — тогда вам можно просто комнату нанять.

— Как так — [будьте уверены, что] я одна не приеду, кто-нибудь из моих со мной приедет тоже. Ведь я недавно выздоровела, они меня не пустят одну*.

— Это для чего? Это совсем не нужно. Нет, устройте так, чтоб вы одни приехали, других лиц сюда вмешивать не нужно — значит, они могут только мешать. То, что я вам говорю, должно остаться между нами. Итак, когда вы будете опять в Женеве? Помните, что каждый день тут дорог — ну, дня через три, четыре?

Я. Как можно? Невозможно так скоро все обделать — недели через две-три, никак не раньше.

В<олков>. Нет, недели через две — это уж максимум. Но надеюсь, что раньше, а то уж больно плохо здесь. Решились?

Я. Наверное не могу обещать; посмотрю, как и что устроено в Париже. Что могу — то сделаю.

— Нет, вы наверное устройте! Вы сами понимаете и видите, до какой степени важно, какие ужасные последствия могут случиться вследствие маленькой неаккуратности. Я на вас рассчитываю, а пока я вам дам кой-какие поручения в Париже. Приходите завтра поутру пораньше, я вам объясню, в чем дело.

На следующий день он мне дал** несколько писем для передачи знакомым в Париже, прибавил рекомендательное письмо, которое я должна была отдать г.<...>, ему же он писал, чтобы он исполнял все мои поручения⁵.

— Желательно, чтобы вы встретились с ним *не* в вашем доме.

Просил он меня писать поскорей, рассказывая подробно, как отнесутся все дома к моему желанию переехать.

— Как вы им объясните? Никто не должен знать, что вы в сношении с нами, — даже О<гареву> прошу не говорить.

— Да я могу объяснить так, что хочу пожить около Огарева, — впрочем, я об этом уже писала до наших разговоров, потому что мне, право, жаль его оставлять одного. Н<аталя> А<лексеевна> мне на это отвечала, что ей все равно, что если мы можем в чем бы то ни было быть полезны (это касалось до его привычки слишком много пить), то она готова переехать сюда.

— Желательно, чтобы вы приехали одни, не нужно же вам нянек. Если меня не будет здесь, можно будет устроить встречу, свидание где-нибудь на дороге. Впрочем, это мы письменно обделаем.

— Это трудно будет устроить; надеюсь, что не будет нужно.

— Во всяком случае, я вам дам адрес и объясню, где это можно устроить.

Тут он мне назвал город N<euchâtel>, сказал, что такой-то господин его знает под именем S.⁶, что я, входя, должна сказать, что прихожу от имени «Народной расправы».

Вернулась я в Париж, исполнила аккуратно поручения и чуть-чуть не попала в «souricière»***, устроенную в бюро «Marseillaise», так как у меня было

* Последняя фраза вписана на полях. — *Ред.*

** На полях против этой строки вписано: *Сани Тхоржевского*. Смысл этой пометы неясен.

*** мышеловка, ловушка (*франц.*).

поручение к редакции. Совсем случайно не попала: узнали, что все редакторы арестованы. Я немедленно написала Огареву ⁷.

Дня через два я уже получила письмо от Волкова с длинной диссертацией о «тунеядстве», о том, что я 25 лет жила бесцельно, бесполезной для других и т. д., словом — резюме наших разговоров и споров. В конце он просил бросить все эти «эфемерные связи и сентиментальности», отделаться от постоянного опекунства и ехать одной в Женеву ⁸.

Я отвечала, что устроить все это труднее, чем он предполагает, потому что то, что он называет эфемерным и сентиментальным, для <меня> очень важно и серьезно. Что он отношений моих к другим понять не может, потому что, верно, давно уже живет и работает один, не заботясь о других *.

Во втором письме я уже отказывалась ехать, находя, что это слишком беспокоит и огорчает всех моих дома, которые начинают кое-что подозревать, прибавила, что это немудрено, потому что я лгать не могу, а объяснения мои или мое молчание не могут их удовлетворить ¹⁰. И в самом деле, бесконечные разговоры и рассуждения с N<atalie>, M<альвидой> и Сашей меня ужасно огорчали: я видела, как они боялись за мое здоровье, понимала, что это основанно, потому что я в самом деле находилась в ужасно взволнованном состоянии. Заметили, что я получаю письма, писанные неизвестной рукой, — вообразили себе, что они от Б<акунина>.

Саша окончил дела с адвокатом, я подписала все нужные бумаги, Ольга тоже. Ему дела больше не было в Париже, к тому же он спешил к Терезине. Он и Тхоржевский взялись провезти гроб до Ниццы и все устроить там. Накануне отъезда у нас был еще длинный разговор — Саша старался доказать мне нелепость моего желания ехать в Женеву, говорил, что он в этом видит остаток моей болезни.

— Ну, сама рассуди, — говорил он, — в чем ты можешь Огареву помочь — так как ты говоришь, что для этого едешь? Если ты думаешь, что можешь иметь влияние на его привычку пить, это нелепо, ты ничего не сделаешь.

Я. Ага пишет в последнем письме, что я ему могу в некоторых вещах помочь и быть полезной.

С<аша>. И это тоже вздор! Ты знаешь, что он теперь сам рассудить не может, что он совсем под влиянием окружающих. Верю, что ему очень хочется, чтоб ты около него пожила, но, если он тебя зовет, это тоже под влиянием других лиц, которые просто рассчитывают на твой карман. Брось это, никакого дела ты там не найдешь.

Я. Не могу, там увижу, в чем дело и кто прав.

С<аша>. Во всяком случае, не нужно так торопиться, — продолжал бедный Саша, выведенный из терпения, но стараясь не слишком горячо противоречить мне, думая все о возможности возвращения моей болезни, — к чему это тебе ехать вперед? Подожди до конца месяца, обдумай хорошенько и, если не переменишь решения, поезжай с N<atalie>. Но теперь дай мне уехать покойно, обещай мне, что ты не уедешь одна. Подумай, как мне тяжело теперь ехать и оставлять тебя в таком странном, ненормально взволнованном состоянии.

Больно мне было видеть, что я его и других всех так огорчаю — не выдержала я и обещала, что не поеду без N<atalie> [и что останусь до конца февраля].

— Ну, слава богу, — сказал Саша, вздохнув свободно, — что стоило добиться до этого! Очень поздно, пойдемте спать.

Тут вмешался Пан:

— На слово N<аталья> A<лексан>дровны можно рассчитывать, мы это знаем — поэтому мы знаем, что до конца месяца мы можем быть покойны. N<аталья> Алексеевна никак не соберется до 1-ого марта.

Как только Тх<оржевский> начал говорить, я стала прощаться, Сашу целовать и так и ушла, не отвечая на замечание Тхор<жевского>. День или два после их отъезда я получаю следующее письмо от Волкова ¹¹. Может быть, и очень вероятно, что все то, что он мне говорил и писал, на меня так сильно действовало потому, что я еще была под влиянием болезненных видений; я невольно отыскивала сход-

* На полях против этого текста: *Огарев тоже писал, прося приехать и помочь ему* ⁹.

ство теперешних обстоятельств и моих видений и видела в них опять что-то вроде предсказания. Саша и Пан уехали.

Письмо В<олкова> меня ужасно взволновало; мне самой приходило в голову, что, если это положение продолжится, я, пожалуй, опять запутаюсь и заболую. Необходимо было решиться на что-нибудь — и я начала укладывать свои вещи. N<atalie> все замечала и все больше и больше за меня беспокоилась. С тем вместе все боялись противоречить и избегали этого. Однако, увидя, что я укладываю, N<atalie> спросила, что я делаю — решилась ли я ехать и когда? Вид мой ей очень не понравился. Узнав, что я решилась ехать дня через два, она преспокойно сказала, что тоже будет готова, что она предпочитает бросить деньги, вперед заплаченные за пансион, чем пустить меня одну. И в самом деле, мы на второй день уехали. N<atalie> телеграфировала Саше и Тхор<жевскому>, чтобы последний ехал уж прямо в Женеву и не заезжал по-пустому в Париж.

В Женеву мы приехали усталые ¹², с головными болями, в жалком состоянии; тем не менее я отправилась к Ага узнать, нет ли чего нового и в чем именно я могу ему помочь. Он очень обрадовался нашему приезду, сказал, что я в самом деле могу оказать большую помощь, что он на днях мне скажет, в чем дело.

На следующий день он мне передал письмо от Б<акунина> «к двум Натали» ¹³, сущность которого состояла в том, что он сочувствует нам, но что духом падать не надо, особенно когда можно быть еще полезным для других и когда под рукой такое важное и святое дело, как то, что делается в России и для России. Когда я кончила читать, О<гарев> меня спросил:

— Что ты думаешь, как отнесется к этому Natalie?

— Ты взгляд ее знаешь, — отвечала я ему, — и знаешь, что она совсем не сочувствует всей вашей деятельности и не верит, чтоб из этого вышла какая бы то ни было польза. Это письмо никакого влияния на нее не будет иметь.

— Так ты лучше отдай мне его. А у нас с Б<акуниным> такая пошла переписка о тебе — вот посмотри его последнее письмо — просто статья целая, и только о тебе ¹⁴.

Я. Что же это он обо мне может писать? Он меня едва знает — что, о чем он заботится?

А<га>. Он слышал, что ты была больна. Мы говорили о тебе, я с ним согласен в том, что тебе необходима какая-нибудь деятельность. Ну вот, тут и найдется дело для тебя. Вот они там, Natalie и Саша, думают, что я тебя гублю, что тебе вредно работать, — я же убежден в противоположном: в этой пустой среде, буржуазной, бесцельной, поневоле опять с ума сойдешь. Не губить — спасти хочу тебя...

Меня поразил его раздраженный (интолерантный) тон — я стала защищать N<atalie> и Сашу и доказывать ему, что они никогда не желали бесцельной жизни для меня, что естественно, что они боятся волновать меня теперь, зная, как все доктора советовали мне покой.

На второй или третий день Огарев показал мне письмо В<олкова>, в котором тот пишет, что ему непременно нужно переслать какие-то преважные бумаги, прибавляя: «Надеюсь, что Тата у Вас, она Вам во многом поможет. Пошлите ее ко мне с бумагами — я только ей и доверяю теперь» ¹⁵.

— Что же, возьмешься ты за это? — сказал Огарев после паузы. — А то я, право, не знаю, как сделать: по почте, говорят, никак нельзя посылать.

Озадачило меня это предложение. Представила я себе испуг и неудовольствие Natalie, потому что слышала, как раз с Сашей <они> рассуждали и говорили: «Лишь бы Б<акунин> не употребил ее курьером, это было бы всего опаснее — будет пропадать бог знает куда; с ее экзальтацией она готова поехать в Россию». Поняла я, что это первый шаг для того, чтобы сделаться курьером. «Ехать, сама не зная к каким людям, для свидания с убийцей, — приходило и это мне в голову, — но ведь он убил шпиона, дело хорошее; какая у него энергия, он фанатик, в самом деле, кроме цели своей ничего не видит». К тому же я думала, что ему скоро придется ехать в Россию. Прочла я некоторые из их брошюр — не понимала, как можно было такие ужасы печатать, и очень желала с ним об этом еще переговорить, да вообще многое себе объяснить.

Колебалась, колебалась я — да решилась поехать. Бедный Ага и обрадовался, и испугался.

— Не повредит ли это тебе? Ты себя чувствовала нехорошо после приезда. Уверена ли ты, что это тебе ничего не сделает?

Я его успокоила и стала придумывать, как бы это устроить, чтоб N<atalie> как можно меньше беспокоилась и Сашу бы не испугала и чтоб Тхоржевский не вздумал провожать. Как мне ни было противно сказать неправду Natalie, я на это решилась: сказала ей, что еду в Берн, чтобы она не беспокоилась, потому что я остановлюсь у Маши. Я видела, как ей была неприятна эта новость, но она только сказала:

— Ты — не ребенок, я не имею права тебе мешать, но знай, что ты Сашу очень огорчишь: он разъездов всего больше боялся для тебя. Хоть бы Тхор<жевского> с собой взяла.

— Не могу.

— Ну, так делай как знаешь. Знай, что и я буду ужасно беспокоиться. Когда ты вернешься?

— Послезавтра, — да я тебе напишу.

Ужас Тхоржев<ского> был еще больше, он непременно хотел меня провожать хоть до станции. Я ему не сказала, с каким поездом еду, да так и поехала одна, с маленьким мешком и пучком бумаг *... Natalie стояла у окна и с беспокойством смотрела, как я сажусь в карету.

— Смотри же, не пропадай, — крикнула она мне вслед, — и береги себя!

А мне было так странно и забавно — конспиратором маленьким сделалась! Доехала я преспокойно до N<euchâtel> — тут я должна была отыскать г. Г<ильома>. Никогда я прежде не была в N<euchâtel>; станция железной дороги за городом, дороги я не знала и никого спрашивать не хотела. Вижу, спускается большая часть пассажиров по довольно широкой дороге — я пошла за ними; некоторые с удивлением смотрели на меня — видно, заметно было, что я иностранка. В лавке у старушки спросила, где улица S<eyon> и без затруднения нашла г. Г<ильома> ¹⁷. Он сам мне открыл дверь, посмотрел на меня подозрительно — не шпионка ли я. Спросила я его, не может ли он мне указать, где Волков.

— Я его знаю, — отвечал он, — но, где он теперь, мне неизвестно. А вы его знаете лично?

Тут-то я вспомнила условную фразу и поспешила сказать:

— Как же, знаю, и прихожу я от имени «Народной расправы».

Он улыбнулся и воскликнул:

— Да, да, так это вы? Знаю, вас давно ожидают. Мне недели две-три тому назад предсказали, что вы приедете. Вам придется еще некоторое время путешествовать по железной дороге.

— Но доеду ли я сегодня вечером?

— Как же, конечно. Темно будет, но не беспокойтесь — все будет устроено, вас будут ждать на станции; только, пожалуйста, держите белый платок в правой руке, вот так. Чтобы знали, что вы именно та личность, которую надобно проводить. А теперь позвольте мне вас проводить до станции и понести ваш мешочек. Неужели вы совсем одни приехали и одни отыскиали меня?

Мы вышли вместе, направились к станции, но по другой, очень уединенной дороге. Он заметил, что он это делает из осторожности, так как его общество может компрометировать, и у него много врагов в N<euchâtel>.

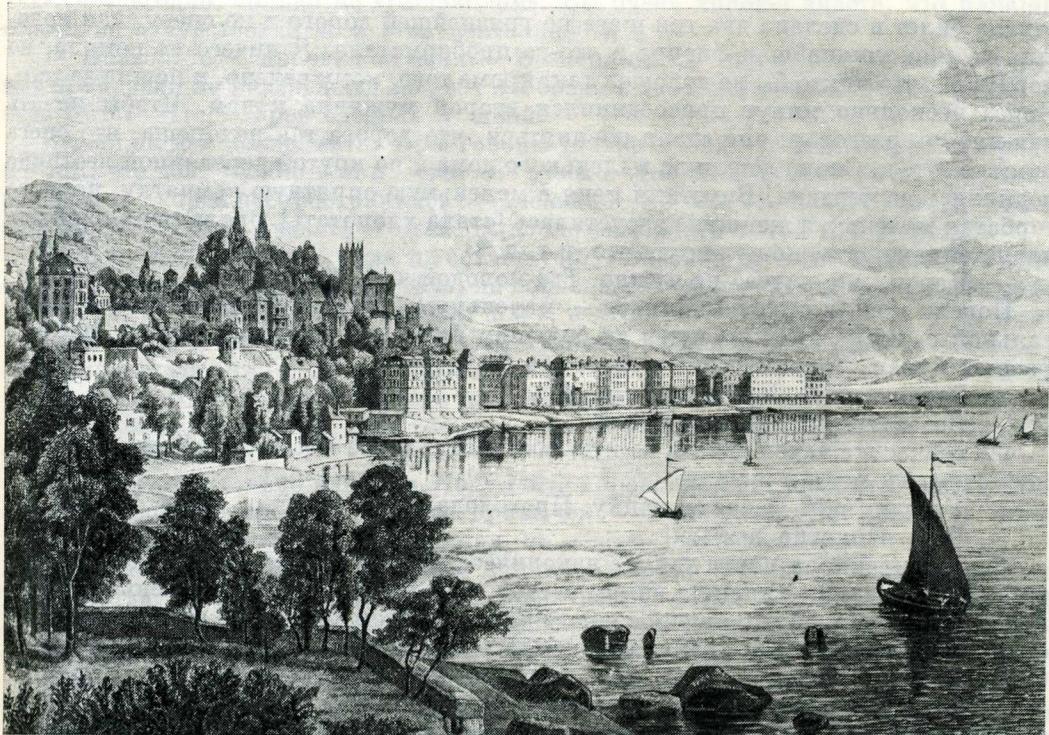
— Конечно, я приехала одна — что ж тут удивительного? И одна отыскала вас, несмотря на то что никогда здесь не была. Чему вы удивляетесь?

— Правда, что никогда бы я не догадался, что вы — конспиратор!

Я засмеялась.

— Если б мне было велено отыскать вас в толпе, мне в голову не пришло бы, что вас ожидают. Вы русская?

* На полях вписано: N<atalie> себе вообразила, что в 5-ом часу утра ко мне приходил Ц<амперини> ¹⁶. Оказалось потом, что в пансионе живет итальянец, что он в 5-м часу кому-то скавал: «è pronto» («я готов» — итал.).



НЕВШАТЕЛЬ

Гравюра В. Трамбауэра по рисунку Ю. Циммермана, 1870-е гг.

Из книги: «Switzerland, its Scenery and People». London, 1881

— Русская. Что же, вы находите, что я слишком молода?

— Во-первых, молоды. Потом у нас уже образовалось понятие известное о «нигилистках», которое совсем не соответствует вашему явлению, à toute votre apparence, votre extérieur, du moins *. Непременно ожидаешь известную небрежность в одежде, стриженные волосы, очки и т. д. Да прибавьте к тому, что я знаю наружность нашего знакомого и некоторых его товарищей.

— Очень странно, право, — прибавил он после минутного молчания.

— Так вам приходилось встречаться с нигилистками? Я хотя и сочувствую им во многом и сама себя считаю нигилисткой — так, как я понимаю это слово, — но считаю эти внешние формы и оригинальности совсем излишними и смешными.

Дошли мы до станции, приходилось ждать около получаса. Он удивился, что я не обедала, и настаивал на том, чтобы я поела что-нибудь в буфете. Делал некоторые вопросы, робкие, боясь быть нескромным, и несколько раз повторял:

— Как глупо, как досадно, что ни вам, ни мне ничего не сказали. Вижу, что у нас много общих знакомых. Знаете вы этот почерк, напр<имер>? — Я сейчас же узнала ¹⁸. — Странно! Ведь я их всех знаю, весь кружок. И в деле кн. Ок<обленской> ¹⁹ брал самое деятельное участие.

— Что делать? Но если вам не было сказано говорить со мной — вы не говорите. И предупреждаю вас, что о *ваших* именно делах я очень мало знаю, или, лучше сказать, — ничего.

Спросил он меня еще, не нужно ли мне денег, — я, конечно, отказалась. Поезд подъехал, он усадил меня, а сам побежал телеграфировать.

Было уже совсем темно, когда я доехала до маленькой станции Л<окль>. Взяла я белый платок в правую руку, как было сказано, и самой было смешно. Едва я

* всему вашему облику, вашему внешнему виду по крайней мере (*франц.*).

отдала билет и сделала два-три шага по грязнейшей дороге и по снегу, как подошла ко мне длиннейшая фигура и что-то пробормотала. Я ничего не поняла, но подумала, что никто бы не подошел так, кроме того, кому велено, и пошла за ним. Через несколько минут присоединился второй мужчина к нам. Чтобы начать как-нибудь разговор, они стали извиняться, что дорога так нехороша, что снега столько и т. д. Скоро дошли до маленького дома и по крутой деревянной лестнице поднялись до чердака. Впустили меня в маленькую опрятную комнатку; немного горбатая маленькая женщина засуетилась [стала хлопотать] около меня, снимать плащ, спрашивать, не нужно ли что, и т. д.²⁰

— Мерси, мне ничего не нужно. Где молодой человек?

Повели меня в другую комнату — маленькую, низенькую, освещенную одной сальной свечкой. Волков сидел за большим бюро, окруженный кучами писем и разных бумаг. Лаконический привет его был:

— Здравствуйте. Принесли? Давайте!

— Вот вам — и я отдала бумаги.

Он сейчас же начал читать — и только минут через шесть-семь поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

— Устали, чай? Давайте шапку. Проголодались, верно?

— Чаю я охотно выпью.

Я сама начинала почти так же лаконически отвечать, как он, хотя без резкости. Горбатенькая женщина накрыла стол, принесла кофе, меду, варенья, громадный хлеб и т. д. и изучала меня с ног до головы, потом засуетилась около кровати, стала менять белье; я все-таки беспокоилась при мысли, что придется с ней спать. Сидела я, ела и думала: «Как это я решилась на такую штуку?»

Начали мы толковать, рассуждать и спорить. О всех печатных листках он отнесся так, что это сказано только для того, чтобы напугать. В первом часу он увидел, что я очень устала, и сказал:

— Что же не говорите, что спать хочется? Я бы ушел. Что, вы нездоровы, что ли? Вон пишет О<гарев>, чтоб за вами смотреть, ничем не раздражать, ничем не волновать. Уж больно вас любит-то!²¹

— Да, мне что-то нездоровилось последние дни в Женеве. Теперь ничего, только устала. Где же моя комната? Мне сказали, что в отеле неудобно, бросится в глаза.

— Здесь все приготовлено — оставайтесь в этой комнате, я пойду туда. В каком часу будете готовы завтра? Так, приблизительно?

— Около девяти. Прощайте!

— Покойная ночь.

Заперлась я громадным ключом и легла, думая о N<atalie>, Саше, всех своих: как бы удивились, если б знали, где я в самом деле.

Проснулась я очень рано. Два окошечка выглядывали на какие-то садики, на церковь, на два-три домика и на тропинку, теряющуюся в снегу, за сим холмы за холмами, покрытые снегом. Видно, совсем деревня. Ровно в девять явился Волков, начал с того, что уговорил меня не только не ехать с первым поездом, но немедленно написать О<гареву>, что не могу вернуться до вечера следующего дня.

— Сами знаете, что обо всем не переговоришь так скоро. А переговорить надо о многом. В письме он ничего мне не объясняет. Потом вы сами желали кой о чем еще расспросить меня. Ну, пишите скорее, чтоб не беспокоился.

Я написала ему и Natalie²². Потом опять начали спорить и толковать до самого вечера. Объясил он мне, что хочет «Комитет», чтоб издавался журнал, чтоб журнал этот назывался «Колоколом». Я сказала, что мне это чрезвычайно неприятно, и не только мне, но и всем моим; прибавила:

— Верно, вы сами это выдумали, а не Комитет ваш — значит, можете переделать. Ваш журнал не будет иметь ничего общего с прошлым «Колокол(ом)», я это предвижу — к чему брать то же имя? Только потому, что вы надеетесь, что будут больше читать и распространять, по воспоминанию старого. Это своего рода эксплуатация имени папаши и его журнала. Повторяю, что это нам чрезвычайно неприятно. Мало ли есть имен более <. . .>, пусть он назовется «Топор», «Меч», «Красный Пе-

тух», что угодно, только не «Колоколом». Вы очень хорошо знаете, что папаша совсем не сочувствовал всей этой деятельности и...

— Позвольте, — прервал он меня. — Во-первых, не горячитесь, не волнуйтесь, мне приказано не раздражать вас, вот я и боюсь с вами спорить. Ну, захвораете — беда будет. Что Огарев сделает со мной?

И стал он мне доказывать, что я говорю только с точки зрения дочери, а о деле и о том, что делу нужно или полезно, не думаю. Для дела полезно, чтобы журнал как можно скорей распространился — очевидно, что имя «Колокола» этому поможет, значит, и надо назвать его так. Надобно *всё* решать с этой точки зрения.

— В этом я никогда с вами не соглашусь, — сказала я. — Вы видите, что уже в этом случае мой взгляд, как *дочь*, не совпадает с вашим; ясно, что такого рода случаи будут встречаться на каждом шагу, а я знаю, что я никогда не буду в состоянии выработать в себе такой односторонний взгляд и все судить и решать с одной точки зрения — пользы вашего дела.

Волков. Не говорите — *вашего* дела, а *нашего*.

Я. Не могу. Я не могу и не хочу считать себя *вашей*. Вы ведь видите, что мы совсем не согласны.

Волков. Это только кажется. Подумайте хорошенько, освободитесь от разных предрассудков и сентиментальных привычек — и увидите, что правда с моей стороны и что вы, как умная женщина, не можете иначе думать.

Всего не передашь — записывать длинно. Спорили о деспотических условиях их общества, об их невозможной интолерантности; потом я заметила, что у них, по его словам, все основано на взаимном доверии, что у меня доверие к людям образуется чрезвычайно медленно, что я очень подозрительна, осторожна.

Волков. Я вам уже писал, что копеечного доверия нам не надо.

Я. Да об этом я хотела еще расспросить вас, я не поняла эту фразу в вашем письме: «Копеечное доверие только деморализует и доводит до бед»²³. Как так? Как же сразу иметь полное, безграничное доверие? Это невозможно.

Волков. Конечно, полудоверие — безнравственная штука. Надобно быть или настоящим другом и товарищем, чтобы решительно ничего друг от друга не скрывать, что(бы) все было прозрачно, каждая мысль, каждое движение души — или быть открытым врагом, которого всеми силами стараешься обманывать и уничтожать. А эти половинчатые отношения что такое? То относишься откровенно к личности, как к товарищу, то с недоверием и обманываешь его, как врага. Поэтому помните, что первое условие — это чтобы решительно ничего не скрывать. Комитет должен непременно знать все ваши мысли, вкусы, желания, чтобы не давать вам работу или поручения, которые вы бы неохотно исполняли.

Я. Помилуйте, стану я все это рассказывать незнакомым людям, ведь я никого из них не знаю. Такое доверие можно иметь только к известной личности, и то после долгого знакомства. Повторяю вам, что для меня, напр(имер), нужно было бы месяцы и годы, чтобы выработать в себе такое безграничное доверие, а то это выйдет просто слепая вера, ни на чем не основанная. Вы, в сущности, этого-то и хотите. Это своего рода религия.

1) Показывал бумагу — как будто бы приказ Комитета — что «Колокол» должен (или просто — их будущий орган должен) превозносить*. Он видел по бесконечным спорам, как я всему этому не сочувствую. В чем будет состоять мое дело, все-таки не говорил: «Помогать Ог(ареву), смотреть за аккуратностью корреспонденции и т. д.»

2) Вторую бумагу прятал, говоря: «Чтоб вторую видеть, надобно сперва согласиться с первой». Я отвечала: «Значит, никогда мне не покажете, — я с первой никогда не соглашусь». Однако он мне ее показал несколько недель позже, подписанную Б(акуниным). Для чего он мне эту [заповедь] отвратительную штуку показывал, бог знает (тайная редакция, фальшивая монета, фальшивые паспорта и т. д.)²⁴.

3) Поручил — разобрать стол Ог(арева), привести все его бумаги в порядок.

* На полях против этого текста вписано: <Мара>т, Бабеф.

Вернулась я в Женеву поздно вечером ²⁵, отправилась прямо к Ог(ареву), чтобы отдать письма и поручения. Встретила неожиданно там Чернецкого ²⁶, который, думая, что я вернулась из Берна, стал расспрашивать о Рейхелях. Мне было чрезвычайно неловко и неприятно. Я прошла в другую комнату, Ог(арев) взошел за мной. Я передала ему кой-какие поручения, он вдруг позвал Чер(нецкого) и тут дал или объяснил, что касалось его работы, и так неловко, что Чер(нецкому) нетрудно было догадаться, что я была не у Рейхелей. Вскоре после этого он и написал Саше, что я сделалась «карбонаркой» ²⁷.

Немало я удивилась, когда несколько дней спустя опять увидела Волкова: прихожу к Ог(ареву), он там сидит ²⁸. Сказал, что вышла какая-то путаница, что ему было необходимо ехать сюда. Я объявила, что все-таки не понимаю, какое может тут найтись дело для меня.

— А вот увидите — потолкуем, поговорим.

Под предлогом, что днем некогда и неловко говорить, он стал меня провожать по вечерам. Мало-помалу выяснилось, что мне сначала нужно будет заняться корреспонденцией с книгопродавцами, вести счетные книги, делать посылки и т. д., словом, устроить *бюро* и держать все в порядке.

— Но все это — не настоящее дело, — прибавлял он, — все это неважно, это может и другой делать. Главное — то, что вы должны соединить всю эмиграцию, сплотить их всех и повести в известном направлении.

Я. Помилуйте, где мне! Я себе и представить не могу, как тут взяться за это дело...

В(олков). А вот я вам объясню. Когда рассуждениями и разговорами нельзя больше действовать на людей, надобно прибегнуть к другим средствам. Ну, напр(имер), всех перессорить в каком-нибудь кружке — здесь, напр(имер), всех эмигрантов, потом поодиночке на них действовать, толковать с ними.

Тут он пустился в подробности, развил весь план действий, «чтоб забрать все в руки», и так возмутил меня, что я воскликнула:

— Да вам просто нужна хитрая *интриганка*! Мне все это противно! Покорно благодарю вас, если вы мне *такое* дело предлагаете!

Он иронически улыбнулся и сказал:

— Пожалуйста, не волнуйтесь, вам не велено волноваться. И за что, подумаешь! Что такое *интриганка*? Пустое слово!

Я. А по-моему, не пустое слово; и если вы это называете делом, так будьте уверены, что я вам помогать не буду, вот что!

Мало-помалу я стала тоже замечать, что мои лаконические ответы на все его вопросы о разных особ(ах) его не удовлетворяют. Я ему прямо сказала, что совсем не намерена ему передавать все, что знаю и слышу.

— Как так? — заметил он с неудовольствием. — Что ж это будет за доверие? Говорил я вам, что копеечного доверия нам не нужно.

Я. А я вам говорила, что доверие так скоро не приобретается и нельзя себя принудить вот вдруг: имей доверие к такой-то личности!

В(олков). Нет, вы должны иметь полное, безграничное доверие — без этого ничего делать нельзя. Вы должны так устроить, чтобы все имели такое же доверие к вам, все бы вам рассказывали, чтоб вы все знали.

Я. Для того, чтобы вам передавать?

В(олков). А потом мне будете рассказывать, что узнали, слышали.

Я. Понимаю. Вы, другими словами, мне предлагаете быть шпионом, — сказала я, и кровь бросилась в голову.

Он опять иронически улыбнулся и сказал:

— К чему употреблять такие громкие слова? Вы этим ничего не докажете.

Конец каждого разговора было то, что я убеждалась все больше и больше, что пути их мне так противны, что я ничего с ними общего иметь не могу. Он мне все старался доказывать необходимость этих (путей). Вскоре приехал Б(акунин) ²⁹ и так хорошо ему в этом помогал, что чуть-чуть мне в самом деле ум совсем не свихнули.

— Как? — говорил он мне. — Наши враги в 10 тысяч раз нас сильнее и ника-

кими средствами не пренебрегают, а мы вздумаем бороться с ними, не употребляя те же средства?! Ведь это безумие — и пробовать нечего тогда, это даром людей губить! Какая цель? Переменить этот гнусный существующий порядок. Ну, первый шаг для этого — низвержение русского правительства, а для этого надобно всеми средствами пользоваться или плюнуть на все и сидеть сложа руки.

Разнесся слух, что мы хлопочем о Костромском имении, что хотим вернуться в Россию, — и пустились все трое бранить нас на чем свет стоит. Ог<арев> под их влиянием начал бранить Сашу и Фогта, говорить, что они меня уговаривают ехать в Россию и делать подлости. Я, конечно, удивилась, стала их защищать и говорить, что мы, конечно, справлялись, можем ли мы вернуться просто, само собой разумеется — без подлостей, что мы и не думали писать или подписывать прошение³⁰.

— Знаем, — начал Б<акунин>, — одно то, что кто-нибудь из вас туда поедет, будет доказательством, что вы, т. е. семейство Герцена, помирились с правительством. Вас примут с распростертыми объятьями — еще бы! Попадете вы в аристократические кружки. *Vous verrez comme on vous fêtera* *. Брату вашему сейчас предложат кафедру — *il se fera une magnifique carrière* — *mais il souillera par cela le nom de son père* **.

Я начала, было, сердиться, а потом сделалось смешно, видя, как человек может увлечься пустыми фантазиями или играть какую-то роль, чтоб на мое воображение подействовать, и сказала наконец:

— К чему вы все это говорите? Саша и не думает ехать в Россию и искать там кафедры. Повторяю, что никто из нас никаких подлостей не сделает, чтоб получить это имение в России. Но если Фогт или Шаллер³¹ об этом будут хлопотать и требуют его, опираясь на швейцарские законы, — конечно, мы не откажемся. И, признаться, не вижу никакой причины, чтобы делать подарки русскому правительству. Все, что вы сказали, до нас ничуть не касается.

Тем не менее Волков мне сказал шепотом:

— Сегодня вечером надобно непременно еще толковать. Но здесь неудобно. Пойдем к тому старику. Поняли?

Я. Конечно, понимаю. Но отчего же здесь неловко? Стоит зайти в другую комнату, если не хотите при Огар<еве> говорить.

В<олков>. Сказал, что не годится, — значит, нельзя. Бойтесь, что ли? Ведь не надолго — полчаса.

Я. Чего мне бояться? Но, по-моему, не нужно — но, впрочем, пойдем. Только смотрите, не задерживайте дольше десяти — не хочу я каждый раз тревожить всех дома.

В<олков>. Бойтесь, что ли? — сказал он иронически. — Н<аталья> А<лексеевна> побранит?

Я. Никого я не боюсь — сама не хочу поздно возвращаться без необходимости.

В<олков>. Вечно останетесь кисейной барышней! И от предрассудков своих никогда не отделаетесь.

Уж по дороге к Б<акунину> он, в самом деле взволнованный или представляя, что возмущен, мне говорил как бы с бешенством:

— Разве вы не видите, что с вами делают? Ребенок вы, что ли, что не понимаете, или деревянная, что можете так равнодушно и спокойно смотреть, как кругом делают подлости?

Я. Я вас не понимаю! Отчего вы сердитесь, бранитесь? Кто делает подлости?

В<олков>. Поймите же, что вас продают, — сказал он бешеным шепотом, — те, которые называются вашими друзьями, близкими, вас продают русскому правительству.

Одну минуту я подумала, что он с ума сошел, и не отвечала, тем более что мы были у дверей Б<акунина>. Вошли мы в крошечную комнату громадного агитатора. Волков сел немножко поодаль с каким<-то> диким взглядом; тирольская шляпа

* Увидите, как будут вас чествовать (франц.)

** он сделает великолепную карьеру — но замарает этим имя своего отца (франц.).

набок, громадный шарф небрежно обвертывал шею — во всей его фигуре было что-то <от> бандита, выражение поражало энергией, и злобой, и жестокостью.

Б<акунин> начал мне объяснять, что не следует мне удивляться, что всего при Ог<ареве> говорить нельзя, — сама вижу, верно, что это просто опасно, что он может проговориться, когда в нетрезвом виде, — повторять то, что уж говорил поутру, желая доказать мне, что N<atalie>, С<аша> и компани — буржуа, тунеядцы, которые только о деньгах и думают и мечтают о том, как бы увеличить состояние, что N<atalie> остается со мной только потому, что ей это выгодно; поэтому она и представляет, что ко мне привязана. Тут я сильно протестовала; заметила, что он не имеет права так говорить о ней, а потом слушала с удивлением все его выходки. Некоторые из них меня возмущали так, что я даже не давала себе труда отвечать. Повторил он, что, если мы вернемся в Россию и получим опять Костромское имение, это будет позор для поколения нашего, такое унижение, подлость и т. д.

Тут вмешался и Волк, взглянув на меня почти зверским взглядом, и сказал:

— Понятное дело, что, если вы все-таки поедете, нашим придется так или иначе с вами покончить.

Я с любопытством смотрела на это странное существо, не показала ни малейшего испуга или волнения и ждала, чем это кончится. Б<акунин> с упреком посмотрел на него и сказал:

— Ну, что это — сейчас грозиться... Ни на что не похоже. А ведь он серьезно бесится — посмотрите.

Потом стал говорить о том, что мне надобно непременно решиться, с какой стороны я быть хочу, — потому <что> быть и тут и там не следует и нехорошо.

— Я понимаю, что вас теперь останавливает; вы теперь думаете: «Хитрят они со мной, я знаю, что они — иезуиты; с какой же стати я буду им теперь верить? Говорят они мне теперь одно, а в сущности думают и хотят другого. Может быть, они в самом деле хлопочут только о моих деньгах и хотят меня эксплуатировать». Ну, признайтесь, эта мысль у вас теперь в голове была или нет?

Я. Да, была не раз. Но главным образом мешает мне не это, а то, что я не вижу никакого дела для себя, и то, что вообще еще сомневаюсь, идете ли вы верным путем. *Chi va piano, va sano* *...

Длинная диссертация — и Б<акунин> кончает:

— Поймите, что кругом вас в частной жизни ничего просто не делается, просто не говорится — вон там-то настоящие иезуиты, а не мы. Вы спрашиваете, что вы можете делать? Да это со временем покажется, увидим, а пока... да с вами прямо и просто говорить ведь нельзя, а то бы без лишних фраз просто бы сказал: оставьте себе *strict nécessaire* ** на житье, остальное же давайте на общее дело. Но вам это теперь сказать нельзя, — продолжал он после паузы и видя, что я не отвечала. — Хотя тут ничего не поможет: бейтесь, сколько хотите, но рано или поздно до ваших денег доберемся... Социальная революция неизбежна... И скоро...

— Будьте уверены, — сказала я, — что, когда этот день придет, я горевать не буду и не буду ждать, чтоб у меня все отняли, а сама отдам.

Он иронически улыбнулся, взглянул В<олкова> и сказал:

— А вот увидим скоро, искренно ли вы это говорите или нет. К несчастью, вы выросли в среде, в которой уважали золото и деньги больше всего. У отца вашего была эта слабость, он и вам, детям, оставил ее в наследство. Бедные вы — дети Герцена, жалею я вас — какая же эта ваша жизнь бесцветная, бесстрастная, ничем до сих <пор> не увлекались. Вечно были разумны, боялись сделать глупость, поэтому ничего не делали. Тот, который ничего не делает, тому легко не ошибаться, но зато он и путного ничего не делает. Что это вы — хотите в самом деле быть гувернанткой дочери Н<атальи> А<лексеевны> или нянькой детей брата вашего? Это недостойно вас, вам надобно шире поле — и тут под руками дело готово. Что вы это серьезно думаете, что мы вас ограбить хотим? Да сами рассудите — знаете

* Тиге едешь — дальше будешь (итал.).

** строго необходимое (франц.).

ли, что у них в руках в России громадные капиталы, миллионы — очень нужны им ваши копейки! Что это для них — капля в море! * Но вы можете быть полезной вашим влиянием на Огарева, который в самом деле становится развалиной. Будете вы около него — он, наверное, будет меньше пить. Хоть вы его не оставляйте — я, право, это говорю из какого-то чувства пиетета к бедному старику, ужасно жаль его.

(А пока он это говорил, у меня невольно приходила мысль в голову, что, в сущности, он думает о том, как бы я не уехала слишком далеко, потому что, пока я вблизи Ог(арева), верно, из меня удастся высосать сколько угодно.)

Прощаясь, он сказал:

— Помните, Тага, что в ваши счеты с Ог(аревым) мы вмешиваться не хотим, делайте там, как знаете, помогайте, сколько хотите, — мы об этом ничего знать не хотим и от вас никогда ничего не примем.

Я не отвечала, но мне внутренне было так смешно слышать эти гордые слова — ведь он очень хорошо знал, что если я Ог(ареву) помогаю, то это потому, что они его вводят в траты, деньги все-таки из одного и того же источника — для чего же эта комедия? И вспомнила я его грубый намек, сделанный мне несколько дней до этого. Он мне сказал в присутствии Ог(арева) и просто de but en blanc **: —

— Надеюсь, что дети Герцена постыдятся оставить Огарева без средств.

Я почувствовала, как кровь бросилась в голову. Непостижимая неделикатность!

Я все не могла взять решение, да и неясно понимала, что же именно от меня хотят.

— Вы должны непременно сделать какой-нибудь решительный шаг, — говорил мне Волков, — чтоб доказать, что вы не бесхарактерны.

Когда я спрашивала, что он подразумевает под решительным шагом, он отвечал:

— Ну, уж это сами знать должны; докажите вы, что вы в самом деле недовольны существующим порядком, — а то все, что говорили, будут пустые фразы. Отделайтесь от всех предрассудков, протестуйте против теперешнего порядка, а то вы критикуете, а сами продолжаете идти тем же путем. Не нужна нам критика ваша — а если серьезного дела хотите, освободитесь от всех вас окружающих лиц, от всех этих Н(атальи) А(лексеевны), пан(а) Тхор(жевского) и т. д.

Я. А, так, по-вашему, сделать решительный шаг — это просто жить особо или по крайней мере не с Н(атальей) А(лексеевной)?

В(олков). Нет, не только это — хотя это, конечно, было бы начало. Вы этим бы доказали, что вы самостоятельны.

Я постаралась ему доказать, что это было бы хорошо, если б Н(atalie) меня притесняла, но так как она мне предоставляет полнейшую свободу и не вмешивается в их дела, то это не нужно.

— Вы увидите, — продолжал он, — что скоро между вами ничего общего не будет, для чего же тогда вместе жить? Гораздо лучше и свободнее врозь.

Я. А вот увидим. Я их люблю и хочу с ними жить. Если окажется, что ничего общего больше нет, пусть же они уедут, а я их бросать не хочу. Впрочем, вам дела до этого нет, где я живу, — я знаю, что я теперь совсем свободна.

Б(акунин) меня в этом поддерживал, говорил — нечего слушаться В(олкова), что он никакого рода привязанностей не признает, не верит в то, что, живя вместе, так привыкаешь друг <к> другу, что тяжело расставаться; все, что не «дело», по его мнению, пустое, сентиментализм и т. д.

В некоторых вещах они были не согласны, напр(имер), Волков мне говорил, что для того, чтобы им помогать и в самом деле сделаться «сильной женщиной», надо решительно все другое бросить и исключительно заняться их делом.

— И вот узнаете тогда, что значит настоящая жизнь, — говорил он с восторгом, — настоящая дружба и полное доверие. Мы всеми порами живем, а к товарищам у меня такое доверие, как к самому себе, и т. д.

* На полях вписано: *На каждом шагу противоречия.*

** ни с того, ни с сего (франц.).

		<u>Апрель</u>	<u>1870 года</u>
4 ^{ое}	Анг Марки		0-35 коп.
	Бумага		40.
3 ^{ие}	Марки		10-0
	Посылка Коппен, в Берлин		25
	Марки		4-0
	Посылка / Рева / Берлин /		1-70
	Karawelof - Бухарест		3-10
	Доставка		40
7 ^{ое}	Посылка Шпроберу		50.
8 ^{ое}	Бумага		15
	Марки		10-0
9 ^{ое}	Марки		26-0
	Бумага		1-8
10 ^{ое}	Чернигову		126-0
	прибавлено		1-50
	Посылка Бос		2-0
11 ^{ое}	Посылка Классу Керулле		1-40
	Merk'sche - Берлин		1-50
	Thibaut - Лондон		3-50
	Salp - Копен		-30
12 ^{ое}	Посылка Wolf - Бремен		1-20
	Бухарест		
1. Мая	Копькала в Сан-Франциско	}	5-75
	в Консепсьоне		
	в Триго		
	Вена		<u>201-00</u>

ЗАПИСЬ РАСХОДОВ НА ИЗДАНИЕ И РАССЫЛКУ «КОЛОКОЛА»

Автограф Н. А. Герцен. Женева, апрель 1870 г.

Национальная библиотека, Париж

Среди пунктов назначения — Берлин, Берн, Бухарест, Дрезден, Константинополь, Лондон, Сан-Франциско.

Расходы на рассылку оплачивались из средств Бахметьевского фонда

Несколько дней у нас были страшнейшие споры об этом, доводившие меня по минутам до отчаяния. Он так приставал, а когда я уходила, он говорил:

— Значит, это дело поконченное, мы об этом говорить больше не будем. Вы — редактор.

А я повторяла:

— Да, давно бы пора больше не говорить об этом. Вы видите, что я непоколебима и редактором вашего журнала я не буду, — и даже адреса своего не дам, чтоб письма посылали.

Бесился, бесился да поневоле отстал; потом выдумал такую штуку, что «Колокол» издается какими-то агентами русского дела.

3-его апреля в воскресенье должен был выйти первый номер «Колокола»³³. Огарев написал записочку, прося прийти помочь на первый раз — пока Комитет еще никого не прислал — надписывать адреса, клеить и т. д. Прихожу я поутру — Магу³⁴ мне объявляет, что накануне поздно вечером явился вдруг другой

бой и ночевал у них ³⁵. Хороший образчик современной русской молодежи! Судя по совершенному отсутствию ус^{ов} и бороды, ему был двадцатый год. Маленького роста, худой, немного сторбленный, несмотря на молодое лицо. Редкие, сухие, темные волосы уже так давно не приходили в прикосновение с гребнем, что они торчали во все стороны отдельными клочками и узлами. По странному, неверному взгляду маленьких претемных глаз легко было заметить, что он очень близорук. Длинный изношенный черный сюртук покрывал красную ситцевую рубаху; узенький черный галстучек, криво завязанный, украшал шею; белья нигде не было видно. Когда я отворила дверь, он расхаживался большими шагами по комнате и делал как будто бы доклад В^{олкову}; увидав, что они толкуют об очень важных вещах, я сейчас же удалилась.

Он вскоре ушел, но вернулся часа через два-три, когда я сидела в комнате Генри ³⁶ и складывала журнал. В^{олков} его молча впустил, он молча стал помогать. Так как на мой вопрос, кто этот мальчик, Волков мне отвечал лаконически: «Один из наших; человек очень хороший, да не мальчик — он старше меня», — я увидела, что он не хотел мне объяснить, кто его товарищ, и больше вопросов не делала, да и с мальчиком не говорила. После долгого молчания В^{олков}, обращаясь к нему, назвал его г. Серебренниковым. Начался разговор, из которого я увидела, что этот Серебренников уже несколько месяцев живет у кого-то из «Народного дела», что он пользуется там их полным доверием, показывает им, что совсем с ними солидарен, а вместе с тем тут над ними смеется, называет их дрянью, которая ничего делать не хочет. Рассказывал, как кого-то из них поил, чтобы заставить болтать да показывать ящики, шкапы и т. д. Я вспомнила, что когда-то Волков хвастался тем, что «один из наших», как он говорил, уже несколько месяцев живет в кружке «Народного дела», а они его принимают за своего человека. Я тогда же высказала ему, что это, по-моему, препротивная игра. Теперь я узнала или догадалась, что он говорил об этом молодом Серебренникове, который произвел на меня вследствие этого самое антипатичное впечатление. В то время когда я его видела, т. е. в первых днях апреля, в «Народном» деле думали, что он давно уехал, так что он от них скрывался ³⁷. В^{олков} мне сказал, что он только что приехал, три или четыре сутки ехал, не отдыхая и не давая себе время умываться или причесываться, — и в тот же вечер продолжает путь в другую сторону. Сам он мне рассказал, что говорил речь по-французски на гробу Серно-Соловьевича ³⁸.

Сделал мне Волков раз сюрприз, в самом деле неожиданный, в конце марта. Вздумал объявить или дать мне понять, что он ко мне равнодушен. Долго он возился и так неясно говорил об доверии и вообще об дружеских отношениях, что я решительно ничего не понимала, — но под конец нельзя было понять, и его вопрос был так неожидан, что я совсем смутилась, даже испугалась, сама не зная чего. Вспомнила я вдруг всю историю с П^{Кенизи}.

Я долго ему не отвечала, надеясь, что я не так поняла или что он не то сказал, что хотел. Да, я серьезно желала этого, потому что предвидела, что последуют самые скучные, неприятные, неловкие и глупые отношения. Однако он повторил вопрос после длинного молчания да прибавил:

— Понимаю, вам, верно, кольцо мешает отвечать?

Сомневаться и колебаться нечего было, и я отвечала:

— Вы меня ставите в очень неловкое и неприятное положение. Вы сами должны были заметить, что с моей стороны решительно ничего нет.

— Моя вина — ошибся, значит, не будем больше об этом говорить.

— Конечно, это всего лучше.

Никогда бы я не подумала, что этот шероховатый, полудикий мальчуган может произнести или написать слово о любви. Да благодаря моему скептицизму я ему и не поверила, а стала сейчас искать, насколько ему выгодно было сделать такую пробу и что он мог ожидать в случае удачи. Сомнение, т. е. предположение о возможности, что, может быть, хоть частичка искренности есть в его словах, пришло мне в голову гораздо позже, после того как он несколько раз повторял одно и то же, даже письменно, — и жаловался, что все его слова на меня не действуют, а точно в стену горох.

Как это я не сумела или не догадалась все бросить и отдалиться, несмотря на его просьбы, упреки в том, что я ничего делать не хочу, теперь для меня непонятно. Но тогда, когда я все еще верила, что у них в самом деле есть «Дело», что я в самом деле могу Ага в чем-нибудь помочь, да еще другим, которые, как говорили, в опасности, — все выходы В<олку>ва, как они ни были мне противны, не могли уничтожить во мне желание доказать, что я готова и хочу работать, насколько могу. К тому же у меня все в голове было невыносимо неясно, это меня ужасно мучило — я хотела во что бы то ни стало добиться до правды, до ясного понимания. Со всех сторон слышались самые противоположные слухи — самой рассмотреть, разобрать, при этой таинственной обстановке, было невозможно. Оставалось одно — решиться не обращать внимания на дикость и грубо-дерзкое обращение Волкова, продолжать наблюдать и надеяться, что время объяснит. Так и случилось...

По минутам я была в отчаянии, писала ему даже, что ни во что не верю, что теории, системы и средства их мне противны, — а тем не менее ему удавалось возбуждать во мне минутное доверие к тому, что он называл «Делом», я опять путалась, и в этом туманном состоянии не могла найти силы отказать ему и Огареву в маленьких услугах, когда я получала записочки такого рода: «Мы завалены работой, помогите хоть эти дни; ведь вы знаете, что я совсем один, что со всех сторон скверные новости, — и вы именно в эту минуту нас оставляете». Огарев писал и говорил в том же роде, мои просьбы и объяснения он не принимал, то повторял, что «Да ты *, Тата, немножко еще потерпи — ты знаешь, что на днях придет кто-то из «них», а бросать нас так, право, нехорошо».

Наконец я поняла, что меня надувают, что, пока я буду уступать, меня никогда не отпустят. Волкову было необходимо переехать ³⁹.

3-го июля 1870.

Сегодня было у меня первое свидание с Бакуниным после всех этих историй и переписок. Он очень желал меня видеть. Главное, что их интересует и беспокоит, это то, что я знаю маленького Влад<имира> Серебренникова. В сущности, Б<акунин> только это и хотел знать от меня, т. е. то, что я сказала «Народ<ному> делу». Я повторила, что Утину ничего не говорила, а Ольгу Степ<ановну> ⁴⁰ предупредила, чтоб она была очень осторожна. Я испугалась за нее, зная, что она собирается в Россию; мне представилось, что этот Влад<имир> Серебренников, пользуясь полным ее доверием, может оставить у себя или передать «Народной расправе» какие-нибудь ее бумаги или тайны и пользоваться ими, когда она будет в России. Они ни перед чем не останавливаются и готовы посадить ее в крепость или иначе мучить, чтобы высосать из нее все деньги.

От него же я узнала, что Нечаев ему сказал, что они меня ни за что не выпустят, прибавляя: «Помилуйте, 300.000 франков!» Потом, что мне *удобно* очень трудно, но что можно *подослать* кого-нибудь, чтобы я полюбила одного из них.

Кончила я тем, что пока говорить ничего не буду и ни во что вмешиваться не хочу. Но что я совсем не считаю себя обязанной держать какие бы то ни было обещания, потому что меня с самого начала надували самым бесстыдным образом. Показывают мне машину, удивительно построенную, дают мне ручку, просят помочь вертеть, говоря, что выходит хлеб или мука дешевая для народа, а через некоторое время я нахожу, что меня обманули, что я помогаю приготавливать ядовитое тесто, от которого друзья, равнодушные и враги страдают. Обязана ли я тут продолжать начатое дело, помогать им, держать все это в тайне? Ничуть. Я была обманута и ничем не обязана.

Б<акунин> согласился, заметил только, что я, может быть, преждевременно говорила с Ольгой Степановной, просил пока больше ничего не говорить о Серебр<енникове> (Владимире). Сказал, что я имею полное право говорить N<atalie>, как было дело моей поездки в Локль, что во всем этом участвовал гораздо больше Нечаев, чем он, Бакунин. Что письма, которые я получала в Париже, были не от

* Ошибочно прочтя «мы» вместо «ты», Конфино (Op. cit., p. 144) предположил, что фраза не окончена и часть текста отсутствует. В действительности текст не прерывается. — *Ред.*

Бакунина, а от Нечаева. Теперь я должна рассказать все Natalie, чтобы она знала факты до объяснения ее с Бакуниным.

7-го июля 70.

Кажется, в самом деле все кончено между Бакуниным, Огаревым и Нечаевым. Последний тоже опять здесь, в Женеве. По-видимому, они все ужасно спорили эти дни. Во вторник 5-го числа Семен Серебренников принес мне поутру записочку от Огарева, в которой он просил меня немедленно прийти к нему ⁴¹. К счастью, у меня болела голова — я отказала, да к тому же я как-то отгадала, что Нечаев там сидит. После обеда пришел Быстров ⁴² предупредить, что Нечаев собирается ко мне; узнав, что я не буду, он, говорят, рассердился и требовал, чтобы все немедленно провожали его ко мне. Другие отказались. Спорили они без отдыха до самого вечера.

Около 7-ми часов вечера явился к нам Владимир Серебренников с запиской от самого Нечаева: пишет, что *объяснение необходимо* ⁴³. Влад(имир) Серебр(енников) не хотел верить, что меня нет дома, а я только что вышла с Сашей Рейхель ⁴⁴. В десятом часу вечера прибежал Быстров с запиской от Бакунина, в которой он, боясь за меня, советует мне уехать на несколько дней, а остаток фонда оставить у Огарева ⁴⁵. Быстров остался немного, думая помочь в случае нужды, т. е. если Н(ечаев), Влад(имир) Серебр(енников) и Charles ⁴⁶ захотят насильно войти. Но никто не приходил, зато вчера приходил опять В(ладимир) С(еребренников) — требовал непременно меня видеть. Ерминия ему сказала, что я уехала на несколько дней. Должно быть, он не поверил, потому что оставил записку с просьбой или приказом, чтоб я оставалась дома от 6 до 1/2 седьмого ⁴⁷. Я не намерена была принимать его, сидела дома целый день, но никто не приходил из них. Был Огарев, пришел в первом часу, несмотря на страшный жар — *33 градуса* сентиград *. Бедняжка боялся за меня, что Нечаев станет грубо обращаться. Бедный Ага! Сколько ему приходится разочаро(вы)ваться в своих *«детях»*! Взял он у меня фонд, т. е. остаток — *740 fr. 50*. Дал расписку — неравно Нечаев или Влад(имир) Серебр(енников) будет требовать — и отправился отдать банкиру Reverdin с Семеном Серебренниковым.

К чему мне видеться еще с Нечаевым? Что он от меня хочет? Бог его знает, пожалуй, опять станет уверять, что всегда искренно и откровенно со мной говорил! Или просто станет требовать остаток фонда, да, пожалуй, кой-какие письма — Бакунина или собственные. Или попробует напугать, чтоб я Ольге Степановне и вообще «Народному делу» не говорила о Владимире Серебренникове. И все-таки же после всего у меня остается нерешенный вопрос: фанатик он или подлый мошенник? Искренно он убежден в необходимости своей польско-иезуитской системы обмана и опутывания, или все это — гнусные орудия русского правительства?

Печатается по фотокопии: ГБЛ, ф. 69, 24.1, с автографа В.Н.

Дневник Н. А. Герцен содержит два цикла записей, сделанных в разное время: первый из них относится к 1869 г. и отражает историю ее отношений (во Флоренции, где она жила тогда у брата) со слепым итальянским музыкантом графом Пенизи — отношений, окончившихся ее душевным заболеванием; второй цикл записей возник в Женеве весной и летом 1870 г. и связан с Нечаевым. Здесь печатается только эта последняя часть дневника, прямо относящаяся к теме публикации; флорентийская часть помещается в следующем томе «Литературного наследства» среди материалов семейного архива.

Дневник Н. А. Герцен принадлежит к тому типу подобных документов, в котором записи ведутся нерегулярно и поэтому могут ретроспективно отражать события, происшедшие в течение сравнительно долгого времени. Уже первая запись от 28 мая содержит рассказ обо всей, в сущности, истории участия автора в нечаевских делах в феврале—мае 1870 г.; последующие записи фиксируют только развязку этих отношений. Такой характер записей, делающий дневник Н. А. Герцен единым общим очерком событий, не позволил поместить его на какое-то определенное место в хронологической последовательности печатаемых здесь документов. Поэтому он выделен в особую, первую часть публикации.

¹ Семья Герцена после его смерти еще более месяца оставалась в Париже.

² Волков — один из псевдонимов Нечаева.

³ У М. К. Рейхель, жившей в Берне.

* От французского *thermomètre centigrade* — термометр Цельсия.

⁴ Н. А. Герцен уехала из Женевы в Париж около 10 февраля (см. письмо к ней Огарева от 13 февраля 1870 г. Фотокопия: ГБЛ, ф. 69, 25.51, л. 5, с автографа ВН).

⁵ Адресат рекомендательного письма Нечаева — тот же, очевидно, что упоминается в письме Н. А. Герцен к Нечаеву от 13 февраля (см. прим. 1 к п. 6).

⁶ Псевдоним Нечаева, начинающийся с букв S, — возможно, его имя по фальшивому сербскому паспорту, полученному в 1869 г. (Стефан Грозданов). Упомянутый «господин» — Джеймс Гильом (1844—1916), основатель секции I Интернационала в Локле (Швейцария),¹ один из руководителей бакунинского Альянса, в 1870 г. — редактор газеты «Progrès» в Невшателе.

⁷ Поручение в редакцию парижской радикально-демократической газеты «Marseillaise» состояло в том, чтобы передать для публикации «Письмо в редакцию» Нечаева (об этом и причинах ареста редактора газеты см. прим. 3 к п. 6). О своей неудаче Н. А. Герцен писала не только Огареву (это письмо неизвестно), но и Нечаеву (см. п. 4). Возможно, что она везла в редакцию газеты и написанный Бакуниным некролог Герцену (напечатан в «Marseillaise» 2 и 3 марта 1870 г.)

⁸ Цитируемое письмо Нечаева неизвестно.

⁹ Имеется в виду письмо Огарева от 15 февраля 1870. Фотокопия: ГБЛ, ф. 69, 25.51, л. 7, с автографа ВН.

¹⁰ См. п. 7.

¹¹ Это письмо Нечаева неизвестно, ответ на него Н. А. Герцен — п. 10.

¹² Судя по письму Н. А. Герцен к Нечаеву от 20 февраля (п. 10), она выехала из Парижа во вторник 22 февраля и оказалась в Женеве в тот же день или на следующий.

¹³ «Лит. наследство», т. 63, с. 486—487.

¹⁴ Письмо Бакунина от 22 февраля 1870. — Письма М. А. Бакунина, с. 368—372.

¹⁵ Это письмо Нечаева к Огареву неизвестно. Предложение Огарева о поездке Н. А. Герцен в Локль было сделано, очевидно, 24 февраля: 28-го Огарев уже сообщал Нечаеву о ее возвращении, и она, следовательно, должна была выехать в Локль, где провела два дня, не позднее 25-го.

¹⁶ Фердинанд Цамперини — рабочий-жестяник, мащинист, один из членов-основателей Альянса, член женевской Итальянской секции I Интернационала.

¹⁷ Адрес типографии Гильома в Невшателе: 14, rue de Seyon (см.: АВ, т. IV, р. 475).

¹⁸ Судя по воспоминаниям Н. А. Герцен, Гильом показал ей письмо Бакунина («Лит. наследство», т. 63, с. 491).

¹⁹ Дело кн. Оболенской — вызвавшее протест всей русской революционной эмиграции насильственное похищение кн. А. В. Оболенским, генерал-майором и бывшим московским губернатором, его детей, живших в Швейцарии с оставившей его женой Зоей Сергеевной Оболенской (см. об этом письма Герцена членам своей семьи от 22 и 24 августа 1869 г. — XXX, 174—176).

²⁰ По рассказу Франсуа Флоке, у которого Нечаев жил первое время в Локле, он перебрался потом к старому рабочему Юлиусу Борелю (см.: АВ, т. IV, р. XXXIV). Здесь, очевидно, и была Н. А. Герцен, рассказывающая в воспоминаниях о хозяйне дома как о горбатом старике («Лит. наследство», т. 63, с. 492).

²¹ Это письмо Огарева к Нечаеву неизвестно.

²² Дневник опровергает утверждение Н. А. Герцен в воспоминаниях, будто бы Нечаев обманул ее, чтобы заставить остаться у него еще на сутки («Он повел меня окольной дорогой, и вышло так, что мы к поезду опоздали». — «Лит. наследство», т. 63, с. 492). Упомянутые письма Н. А. Герцен из Локля неизвестны.

²³ Цитируемое письмо Нечаева неизвестно.

²⁴ Можно полагать, что первая из этих бумаг, являвшаяся, по всей вероятности, еще одной мистификацией Нечаева, представляла собой «приказ Комитета» о направлении возобновлявшегося «Колокола». Характер и назначение второго документа неясны.

²⁵ Видимо, 27 февраля (см. выше прим. 14).

²⁶ Людвиг Чернецкий (1828—1872) — польский эмигрант, заведовавший Вольной русской типографией в Лондоне, затем в Женеве.

²⁷ Такое письмо Чернецкого к А. А. Герцену неизвестно.

²⁸ Судя по сохранившимся письмам (п. 14 и 15), Нечаев вернулся в Женеву в первых числах марта.

²⁹ Точных данных о дне приезда Бакунина в Женеву в марте 1870 г. нет. Ясно, однако, что в этот приезд он пробыл там примерно месяц, с середины марта до середины апреля: дневник Н. А. Герцен и все публикуемые ниже документы, так или иначе касающиеся возобновления «Колокола», показывают, что он был уже в Женеве, когда в середине марта обсуждалась программа будущего издания; в марте же в Женеве он написал такие работы, как «Наука и насущное революционное дело», «Всесветный Революционный Союз социальной демократии» (см.: АВ, т. V, р. 38, 75); его письма в «Volksstaat» и «Marseillaise» датированы им так: «Женева, 8 апреля 1870» (Ibid., р. 107—116). Это совпадает с указанием Гильома, что, возвращаясь из Женевы в Локarno, Бакунин 18 апреля заезжал к нему в Невшатель (см. предисловие Гильома к тому: М. Бакунин и н. Избр. соч., т. III. Пб.— М., 1920, с. 5).

³⁰ Речь идет о костромском имени Герцена, секвестрованном царским правительством. Намерение добиться его возвращения было и у Герцена, и у его детей (см. письма Герцена к сыну от 12 апреля и 28 октября 1869 г. — XXX, 83, 230). А. А. Герцен еще при жизни отца пытался получить официальное разрешение вернуться в Россию и даже встречался по этому поводу с советником русского посольства в Берлине Горчаковым (см. XXIX, 483). Огарев был в курсе этих действий и мог информировать о них Бакунина. Упомянутый в этом контексте Фогт — вероятно, Карл Фогт (1817—1895), бывший тогда членом Федерального совета Швейцарии.

³¹ Урбан Шаллер — управляющий банком Фрибургского кантона.

³² Николай Иванович Жуковский (1833—1895) — революционный эмигрант с 1862 г., в 1870 г. — секретарь Женевской секции Альянса; Лев Ильич Мечников (1838—1888) — публицист и историк, революционный эмигрант; Елизавета Васильевна Касаткина — вдова революционного эмигранта Виктора Ивановича Касаткина (1831—1867).

³³ Первый номер возобновленного «Колокола» вышел 2 апреля 1870 г.

³⁴ Мери Сатерленд — гражданская жена Огарева.

³⁵ Владимир Иванович Серебренников (псевд. Sallier, р. ок. 1850) — студент Медико-хирургической академии, участник студенческого движения 1868—1869 гг., до самого ареста Нечаева неизменный его соратник.

³⁶ Генри Сатерленд (р. 1851) — приемный сын Огарева, секретарь Женевской секции бакуинского Альянса. В 1872 г. был исключен из I Интернационала вместе с Бакуиным.

³⁷ Роль нечаевского шпиона в группе «Народное дело», которую играл В. И. Серебренников, отразилась, кроме дневника Н. А. Герцен, в письме Л. Чернецкого Огареву от 2 мая 1870 г. («Лит. наследство», т. 63, с. 711—712).

³⁸ Александр Александрович Серно-Соловьевич (1838—1869) — участник революционного движения 1860-х годов, глава «молодой эмиграции», член Женевской секции I Интернационала. В августе 1869 г. покончил с собой. 26 декабря 1869 г. состоялось открытие памятника на его могиле на кладбище Plainpalais в Женеве. Среди других ораторов там выступил «прибывший за день или два до этого из России товарищ Нечаева Владимир Серебренников» (D. Guillaumet. Op. cit., t. I, p. 253).

³⁹ Обширная первая запись Н. А. Герцен от 28 мая сделана ею вскоре после отъезда Нечаева из ее дома, где он укрывался некоторое время (первое письмо Нечаева к ней, написанное уже из Монтея, было получено ею 27 мая). Запись явно прервана и не доведена до конца: текст обрывается в начале страницы, остальная же часть ее пуста. Следующая запись от 3 июля начата на другом листе, и текст расположен поперек страницы. На отдельном листе начата и последняя запись от 7 июля.

⁴⁰ Николай Исаакович Утин (1841—1883) — член редакции и глава группы «Народное дело», ставшей в 1870 г. Русской секцией I Интернационала; один из редакторов ее органа «Egalité»; Ольга Степановна Левашева — сестра Аделаиды Степановны Жуковской, участница революционного движения 60-х годов, член Русской секции I Интернационала.

⁴¹ Эта записка неизвестна.

⁴² Такое лицо не фигурирует среди известных нам эмигрантов того времени в Женеве. Возможно, тоже псевдоним.

⁴³ См. п. 58.

⁴⁴ Карл Александр Рейхель (р. 1853) — сын М. К. Рейхель, впоследствии адвокат, профессор права.

⁴⁵ Эта записка неизвестна.

⁴⁶ Шарль — Перрон (Perrot) (1837—1909) — художник, анархист, член правления бакуинского Альянса, редактор газеты «Egalité», органа романской федерации I Интернационала.

⁴⁷ См. п. 60.

II ПИСЬМА

1

Н. Н. Любавин ¹ — М. А. Бакунину

Гейдельб(ерг.) 29 дек(абря) 1869

Вероятно, Вы уже знаете, что в Питере происходит теперь сильная суматоха. «Открыт важный заговор», имеющий целью народное восстание на 19 февраля 1870. В течение одной недели заарестовано в одном Петербурге до 70 человек, кроме того, сделаны аресты в Москве и в провинции ². Арестуют крайних, арестуют и «умеренников». В числе арестованных находятся 2 наших общих знакомых: Негреск(ул) ³ и Билиб(ин?) ⁴, тот самый Бой, который взялся хлопотать о Ваших делах. Как говорят, аресты эти явились совершенно врасплох, их никто не ожидал, и начались где-то в провинции.

Перевод Ваш получил, мне он понравился, много только описок, — ну, да это не беда ⁵. Сравнить с подлинником — согласно Вашему желанию — я не мог, п(отому) ч(то) у меня нет его под руками; но, кажется, передано верно.

Ваш Н. Любавин

Печатается по подлиннику ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 829.

¹ Николай Николаевич *Любавин* (1845—1918) — революционер-народник, друг Г. А. Лопатина, член I Интернационала. В предпринятом Бакуниным переводе «Капитала» К. Маркса являлся посредником между ним и издателем Н. П. Поляковым (см. об этом: Б. Козьмин, С. Переселенков. К истории нечаевщины. — «Лит. наследство», т. 41-42, с. 151—162).

² В эти же дни Н. И. Жуковский сообщал Огареву несколько иные цифры: «В Петербурге арестовано до шестидесяти человек, в Москве — до сорока. В Петербурге, между прочим, арестован Негрескул» (письмо от 31 декабря 1869. — «Лит. наследство», т. 63, с. 139).

³ Михаил Федорович *Негрескул* (1843—1871) — участник революционного движения 60-х годов, зять П. Л. Лаврова, был арестован по «нечаевскому делу». До этого, будучи за границей в 1869 г., он разоблачил нечаевскую легенду о побеге его из Петропавловской крепости (подробнее см.: Б. П. Козьмин, С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг. — Сб. «Революционное движение 1860-х годов». М., 1932, с. 204—216). Негрескул намеревался показать истинный облик Нечаева на суде, но этому помешала его преждевременная смерть (см. письмо Н. Ф. Даниельсона К. Марксу от 28 мая 1872 г. — Сб. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». М., 1947, с. 63).

⁴ Сокращенное это слово читается как Билиб., и возникает предположение, что речь идет об И. И. Билибине, хорошо знакомом Любавину (вместе с ним, Даниельсоном и Негрескулом он был членом организованного Лопатиным «Рублевого общества»). Билибин значится первым в списке арестованных по «нечаевскому делу», напечатанном в № 2 «Народной расправы». Но фраза у Любавина построена так, будто к слову «Билиб.» он относит поясняющее слово «Бой» — одно из имен, под которым фигурировал Нечаев. Возможно, он не знал точно, к кому относится это прозвище.

⁵ Речь идет об единственной отосланной Бакуниным Любавину части перевода I главы «Капитала». Любавин сообщал впоследствии Марксу: «Всего я получил от него один, самое большее — два печатных листа» (письмо от 8/20 августа 1872 г. — «Лит. наследство», т. 41-42, с. 158).

2

М. А. Бакунин — И. Ф. Беккеру ¹

Перевод с французского:

〈Локарно.〉 21 января 1870

Старина, вот старый знакомый ². Сделай для него все, что сможешь, ибо все, что ты сделаешь, послужит социалистической революции. Ни слова о нем *кому бы то ни было*, за исключением Перрона ³.

Я писал тебе и не получил еще ответа от тебя.

Твой М. Бакунин

Печатается по АВ, т. IV, р. XXIV.

¹ Иоганн Филипп *Беккер* (1809—1886) — немецкий революционер, один из создателей секций I Интернационала в Швейцарии, редактор журнала «Vorboten», друг Маркса. Связи его с Бакуниным восходят к их общему участию в революционных событиях 1848—1849 гг. В 1870 г. он порвал с Бакуниным и впоследствии способствовал его исключению из Интернационала.

² Старый знакомый — Нечаев, записка эта была вручена ему Бакуниным при свидании с ним в Локарно.

³ О Перроне см. прим. 46 к дневнику Н. А. Герцен.

3

М. А. Бакунин — А. Рейхелю ¹

Перевод с французского:

3 февраля 1870

Мой старый друг,

Ты прочтешь мое письмо к Адольфу ², и мне нет нужды повторять тебе его содержание; только одна просьба: помоги ему и, если будет необходимо, побуждай его сделать то, о чем я его прошу, и поторопись сообщить мне все возможные сведения.

Вот и Герцен умер, так неожиданно, так молниеносно. Я уверен, что это ужасно поразило бедную Мари. *Er ist tot **, конец всего и всех. Я тоже, без сомнения, скоро буду *tot ***, но не хочу умереть, не сделав еще кое-что, и мне хотелось бы

* Он мертв (нем.).

** мертв (нем.).

наполнить остаток своих дней энергичными и резкими действиями. Пока же я вступил в систематическую переписку с двумя самыми передовыми газетами в Париже: «Marseillaise» и «Rappel», чтобы опровергнуть клевету «Presse» и «Liberté» против Герцена. Мои первые письма вскоре появятся³. Не сможешь ли ты сделать так, чтобы читать эти газеты и помещать время от времени переводы или резюме моих писем в немецких газетах — это очень помогло бы нам.

Сообщай мне новости о себе, прошу тебя. Рассказывай о своих делах, о здоровье твоём, Мари и всех детей. Есть ли у тебя новости о Матильде⁴? Все это меня интересует, ибо я все это люблю; а как твоя музыка? И веришь ли ты в бога и бессмертие души? Антония⁵ жмет тебе руку и целует Мари. Я позволяю себе то же, и, любя вас по-прежнему,

ваш неизменный друг М. Б.

Печатается по АВ, т. IV, р. 45.

¹ Адольф Рейхель (1817—1896) — пианист и композитор, друг Бакунина и Герцена, муж Марии Каспаровны Рейхель.

² Адольф — Фогт (1823—1907) — врач, профессор Бернского университета; брат его, зоолог, Карл Фогт (1817—1895), был в это время членом Федерального совета Швейцарии. Упомянутое письмо к А. Фогту — просьба выяснить реакцию швейцарских властей на требование русского правительства выдать Нечаева (см. п. 9).

³ Некролог Бакунина Герцену был напечатан в «Marseillaise» 2—3 марта 1870 г. Текст его см.: «Лит. наследство», т. 63, с. 524—528.

⁴ Сестра Адольфа Рейхеля.

⁵ Жена Бакунина Антония Ксавьерьевна (урожд. Квятковская).

4

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

Женева, 12 февраля 1870

После вашего отъезда¹ он закутил и вот третий день в бессознательном положении². Мне необходимо ненадолго отъехать и вместе не на кого оставить дела. Голова идет кругом. Нынче непременно выезжаю во всяком случае. Торопитесь же ради всего святого!.. Вы нам теперь необходимы и неоценимо дороги.

Жму вам руку крепко, крепко!.. До свидания!

Laendley³

Р. S. Надеюсь, что уже вы писали и я получу письма по приезде в Neuchâtel⁴. Я узнал, что редакторы все взяты. Правда ли?.. Пока не получу определенных вестей от вас, посылать не могу⁵. Пишите же.

Это и все последующие письма Нечаева к Н. А. Герцен печатаются по фотокопиям: ГБЛ, ф. 69, 25.12, с автографов ВВ.

¹ О дне отъезда Н. А. Герцен из Женевы в Париж см. прим. 4 к ее дневнику.

² Он — Н. П. Огарев.

³ Laendley — один из конспиративных псевдонимов Нечаева.

⁴ Нечаев ездил в Невшатель для свидания с Гильомом (D. Guillaume. Op. cit., I, р. 280). О Гильоме см. прим. 6 к дневнику Н. А. Герцен.

⁵ Нечаев предполагал послать в газету «Marseillaise» копию своего «Письма в редакцию», содержавшего легенду об его аресте, истязаниях в Петропавловской крепости и побеге оттуда (19 февраля оно было напечатано Гильомом в «Progress», а 20 февраля, в извлечениях, в «Marseillaise»; текст его см.: «Колокол». М., 1933, № 1, от 2 апреля 1870).

Арест редактора «Marseillaise», радикального публициста Виктора Анри Рошфора (1830—1913), и сотрудников редакции П. Груссе и Дефора произошел в связи с убийством в декабре 1869 г. принцем Пьером Наполеоном Бонапартом сотрудника этой же газеты Виктора Нуара. 30 декабря Рошфор напечатал в своей газете протест, кончавшийся словами: «Французский народ, не находишь ли ты, что уже довольно?» За это редакторы были 22 января приговорены судом к тюремному заключению. Фактический арест последовал только 7 февраля.

12-го февраля 1870



Письма писать мне в Париже
мы не можем, но когда можно
и когда можно будет писать
лучше. Многие говорят мне для
изданий и переводов лучше оста-
ваться здесь, но знакомые кричат против отъезда,
приходится много спорить.
Отчего я хочу ехать вперед, никто не понимает, и вряд ли
меня отпустят. Мне трудно исполнить поручения, потому что не
удается выходить одному. Рассчитывают на меня, чтоб я
занимался сестрицей, ходил бы гулять с ней, устроил бы
ее занятия; и это особенно после переезда.

Письма писать и отправлять
незаметно тоже не легко, все кто-нибудь да входит
и спрашивает: «куда, кому?»

Брат уезжает с отцом в пятницу. Может быть, согласится отпустить
меня с горничной, — обещать еще не могу, узнаете из следующего письма.

Одно поручение исполнил сегодня; письмо, которое взял с собой, постараюсь
передать завтра.

Reginald Wilson

Погода ужасная, сильные головные боли мучают меня, мешают делать, что
хочется.

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН НЕЧАЕВУ

Автограф, Париж, 12 февраля 1870 г. Подпись — «Реджинальд Вильсон»

Национальная библиотека, Париж

5

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Париж.〉 12 февраля 1870

Почти решено, что в Париже мы не остаемся, но хлопот много, и когда можно
будет ехать, не знаю. Многие говорят, что для изданий и переводов лучше оста-
ваться здесь ¹, все знакомые кричат против отъезда, приходится много спорить.

Отчего я хочу ехать вперед, никто не понимает, и вряд ли меня отпустят. Мне
даже трудно исполнить поручения, потому что не удается выходить одному. Рас-
считывают на меня, чтоб я занимался сестрицей ², ходил бы гулять с ней, устроил
бы ее занятия; и это особенно после переезда.

Письма писать и отправлять незаметно тоже не легко, все кто-нибудь да входит
и спрашивает: «куда, кому?»

Брат уезжает с отцом в пятницу ³. Может быть, согласится отпустить меня с
горничной, — обещать еще не могу, узнаете из следующего письма.

Одно поручение исполнил сегодня; письмо, которое взял с собой, постараюсь
передать завтра ⁴.

Reginald Wilson ⁵

Погода ужасная, сильные головные боли мучают меня, мешают делать, что
хочется.

13-ого

Только что получил ваше письмо ⁶. Что могу, то сделаю, но Вы должны же
понять, что, если слишком буду торопиться, непременно догадаются все. Брат уж,
верно, подозревает. Он же принес мне ваше письмо сегодня и пристал. Мне лгать
ужасно трудно, сейчас краснею. Впрочем, он будет молчать.

Редакторы почти все арестованы, но журнал выходит⁷; посылайте поскорее все, что нужно.

Поляков, кажется, очень беспокоили в последнее время.

До свиданья.

Это и все последующие письма Н. А. Герцен к Нечаеву печатаются по фотокопии: ГБЛ, ф. 69, 24.9, с автографов ВН.

¹ Речь идет о задуманном и впоследствии осуществленном семьей Герцена посмертном издании его трудов.

² Лиза Герцен (1858—1875).

³ Имеется в виду перевозка праха Герцена для захоронения в Ницце. Гроб сопровождали А. А. Герцен и С. Тхоржевский.

⁴ Об этом письме см. прим. 1 к п. 6.

⁵ В конспиративных целях Н. А. Герцен подписывала свои письма из Парижа к Нечаеву вымышленным мужским именем и соответственно писала их в мужском роде.

⁶ См. п. 4.

⁷ См. прим. 4 к п. 4.

6

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

⟨Париж.⟩ 13 февраля 1870

Хотел я отдать сегодня рекомендательное письмо — отправился в rue Casine и узнал, что господин, с которым должен был говорить, уже давно уехал, месяцев шесть тому назад отправился в Одессу¹.

Правда ли или нет — не знаю.

Неужели мой старый друг до такой степени кутит? Вот и не знаю, верить Вам во всем или нет. Во всяком случае, уеду, как только будет возможно.

Дамы у нас все хворают, дом точно больница, бегаю от одной постели к другой.

Пишите скорей, что делать с письмом и что Вам нужно знать.

Адреса и имена я получу на днях. Получили ли первое письмо?

Будьте здоровы и сильны

[Режинальд Вильсон

¹ Лицо, которому Н. А. Герцен должна была передать в Париже письмо от Нечаева, с достоверностью установить не удается. Можно предположить, что это был один из живших тогда в Париже болгарских революционных эмигрантов, адрес которого мог быть получен Нечаевым во время встреч с болгарскими революционерами в Румынии или с Каравеловым в Одессе. В ряду предполагаемых имен следует назвать прежде всего Марко Балабанова: к нему приезжали в Париж в 1869 г. болгарские делегаты Т. Райнов и Р. Грблев, с тем чтоб он сопровождал потом Райнова в Лондон для свидания с Маццини (см.: В. Я. Гросул. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе, с. 364); однако о связи Балабанова с Одессой сведений нет. Другая возможная кандидатура — учившийся в 1869 г. в Париже деятель «Молодой Болгарии» Д. Велюксин. По жандармским донесениям, он был в Одессе летом 1869 г., в то самое время, когда там находился Каравелов, а затем уехал в Париж (там же, с. 447).

7

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

⟨Париж.⟩ 17 февраля 1870

Брату я ничего не говорил, он принес письмо, спросил от кого, хотел прочесть — я отказал, он догадался, от кого письмо, сделал несколько вопросов, я то не отвечал, то выдумывал; все это ему кажется подозрительно, особенно то, что хочу ехать один. Говорят, что это безумие, каприз, что я без того много тратил, а теперь хочу оставить заплаченную комнату, что здесь я должен помогать, а там¹ делать нечего. Может быть, после отъезда брата легче устроится, постараюсь выехать в понедельник вечером, но наверное не обещаю — раньше и думать нечего.

Должно быть, я Вас больше не увижу — очень жаль. Часть того, что Вы мне дали, я прочел после отъезда² — лучше было бы, если б можно было еще поговорить.

К Вам лично трудно не иметь доверия. Но, зная, что Вы работаете, как *иезуит*, конечно, я никогда не буду знать, когда Вы мне говорите правду. Вам все равно, а мне довольно неприятно. Однако будьте уверены, что все поручения буду исполнять как можно точнее.

Жму Вам руку и надеюсь, что мы все-таки где-нибудь встретимся, поэтому до свиданья.

Режинальд Вильсон

P. S. Если Вы не слишком заняты и можете писать иногда, *где и как* Вы (даже когда нет поручений), я Вам буду очень благодарен.

¹ «Здесь» — т. е. в Париже, «там» — в Женеве.

² Вероятно, Нечаев дал Н. А. Герцен для ознакомления часть своих пропагандистских изданий 1869 г.

8

М. А. Бакунин — Ш. Перрону

Перевод с французского:

<Локарно.> 19 февраля 1870

Дорогой друг, я послал тебе вчера копию телеграммы изерна, полученную в «La Presse» (парижской) 16 февраля. Вот примерно ее содержание: «Телеграмма изерна извещает нас, что русское правит(ельство) потребовало у Федерального совета выдачи Нечаева, обвиняемого в заговоре и убийстве и находящегося теперь в Швейцарии».

Спроси, прошу тебя, от меня Огарева, знает ли он действительно, где находится этот г. Нечаев, который мне кажется мифом, и если он существует на самом деле и Огарев знает, где он, пусть скажет ему спрятаться получше, потому что, по-моему, он избежит очень серьезного риска.

В то же время, дорогой друг, я думаю, что нужно очень серьезно возбудить общественное мнение в Швейцарии и заставить гордых республиканцев взбунтоваться против федерального правительства, которое, кажется, склонно пойти в лакеи к русскому правительству. Грустное доказательство этому мы имели уже в деле Оболенской¹.

Для этого нужно написать много резких, но чисто радикальных статей во все швейцарские газеты — не одну или две, но массу статей. Не в одну газету, а во все патриотические газеты. Один или два протеста, изолированных и оставшихся без отклика, без результата, принесут больше вреда, чем пользы, — они ободрят наши власти, доказав им равнодушие общества. Поэтому, чтобы возбудить публику, надо поднять адский шум, особенно упорный и продолжительный; если возможно, проводить митинги, где на этот раз не надо поднимать голос социализма, а говорить о независимости и гордости республиканцев, о Вильгельме Телле и клятве в Грютли² и возбуждать народ против низости, против предательства правительства, которое служит царям, пьющим польскую кровь. Я писал в этом смысле Гильому, и вот записка нашему другу Филиппу Беккеру³, который своим влиянием — если не прямым, то косвенным — может заставить заговорить немецкую прессу Швейцарии.

Передай ее ему сам, прошу тебя; прочти ему это письмо и договорись с ним, что делать. Итак, дорогой друг, действуйте энергично, развернув все знамена, — прошу тебя. Потому что с правительствами, как с молодыми девушками, важен лишь первый шаг — и аппетит приходит к ним во время еды.

Я снова пишу сегодня в Берн.

Преданный тебе М. Б.

Печатается по АВ, т. IV, р. 45—46.

¹ О деле Оболенской см. прим. 19 к дневнику Н. А. Герцен.

² По легенде, национальный герой Швейцарии Вильгельм Телль подстерег в горах и убил жестокого германского наместника Геслера, ранее заставившего Телля стрелять в собственного сына; *клятва в Грютли*: в 1307 г. на лугу Грютли представители трех швейцарских кантонов заключили союз, поклявшись бороться против деспотии Габсбургов.

³ В короткой записке к Иоганну Филиппу Беккеру, прилагавшейся к этому письму, Бакунин кратко повторял те же мысли о необходимости широкого протеста в печати и заканчивал: «Старый боец, посевший в битвах, ты знаешь и понимаешь все это лучше меня. Поэтому я рассчитываю на тебя» (АВ, т. IV, р. 46).

9

М. А. Бакунин — А. Рейхелю

Перевод с французского:

⟨Локарно.⟩ 19 февраля 1870

Мой дорогой друг,

я писал тебе 3-го числа этого месяца и одновременно нашему другу Адольфу Фогту, на чье имя я адресовал оба письма ¹, и просил тебя помочь ему оказать мне большую услугу: навести справки о шагах, которые может предпринять русское правительство перед швейцарским Федеральным советом в отношении русской эмиграции. Я думал и сейчас уверен, что Фогты занимают достаточно высокое положение, чтобы знать все, что происходит в Берне, и рассчитывал на остаток благожелательства других, на дружбу с тобой и Адольфом, чтобы получить совершенно необходимые мне сведения.

Я не получил даже ответа ни от тебя, ни от Адольфа Фогта. Так как я не могу сомневаться в вашей дружбе, я заключаю из этого, что либо мое письмо пропало, либо что вы оба больны. Теперь вот что я прочел вчера в парижской «La Presse» от 16 февраля: «Телеграмма из Берна извещает нас, что русское правительство потребовало у Федерального совета выдачи Нечаева, обвиняемого в заговоре и убийстве и находящегося теперь в Швейцарии».

Я не знал этого г. Нечаева. Я думал даже, что это какое-то вымышленное существо, изобретенное русскими официальными газетами. Но, кажется, я ошибался, поскольку его требуют.

Я прошу вас сообщить мне о двух вещах: 1. *Правда ли, что это требование имело место?* 2. *И если правда, что ответило федеральное правительство?* Я прошу вас как друзей *немедленно* сообщить мне это — и я надеюсь, что вы мне в этом не откажете. Мой адрес: Suisse, Canton de Tessin, Locarno, alla Signora Teresa Pedrazzini, per la Signora Antonietta.

Возможно ли, что федеральное правительство уступит требованию русского правительства? Если да — а дело Оболенской, увы! показало меру независимости и гордости этих странных республиканцев, — то, друг мой, вот третья просьба к тебе и особенно к Адольфу Фогту — употребить все его влияние, так же как влияние его братьев и друзей, чтобы возбудить радикальных журналистов в Берне и всей немецкой Швейцарии выступить против низости этого правительства в *массе статей*, а где возможно — и на митингах воззвать к швейцарскому республиканскому духу и гордости.

Во имя Вильгельма Телля, который тоже был обвинен в убийстве, во имя клятвы в Грютли — против республиканских властей, которые, превращаясь в лакеев, соглашаются играть роль г. Бисмарка, роль подручных палача по отношению к деспотизму царей, только что упившемуся польской кровью.

Молчать и воздерживаться в подобной ситуации было бы подлостью, и я не верю, чтобы братья Фогт дошли до такой степени личной удовлетворенности, что почет и преимущества их положения усыпили их, заставив забыть все гордые убеждения их прошлого.

Прочти, прошу тебя, это письмо Адольфу Фогту, переведи его матушке ², и если ты меня еще любишь, ответь мне.

Твой всегда верный и неизменный М. Б.

Целую Мари ³ и детей.

Печатается по фотоконии: ГБЛ, ф. 69, 26.17, л. 1—4, с автографа ВВ.

¹ См. п. 3.

² Мать братьев Фогтов — Луиза Фогт.

³ Мария Каспаровна Рейхель.

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

<Париж.> Воскресенье, 20 февраля 1870.

Как вы могли найти малейший след «индифферентизма» в моей последней записке, право, не понимаю! Я предвидел и предсказывал вам, что будут большие препятствия. Если б я мог действовать открыто, другое дело, хотя и в этом случае пришлось бы очень бороться, потому что *все* они задерживали и отговаривали. *Все* здесь относится к вашим занятиям как к какому-то безумию. Получивши ваше первое письмо, я хотел немедленно ехать, брат остановил, говоря, что мне необходимо подписать *разные бумаги*. Все эти несносные комедии кончились только в четверг, я подписался раз 20—30; когда кончилось, я объявил, что хочу ехать в понедельник. Вышла такая история, что просто ужас, — и если б я не обещал *не уезжать* без других, я думаю, мы бы все перессорились. Вы в самом деле думали, что это так легко вдруг все бросить! Слышать упреки со всех сторон. К тому же, кто-то из близких сказал мне, что в этом бессмысленном желании ехать видно доказательство, что я еще не выздоровел. И в самом деле, если беспокойное, почти лихорадочное состояние, в котором я нахожусь, с тех пор как вернулся, долго продолжится, я, пожалуй, опять начну бредить.

Все, что я вам говорил, было сказано совсем искренно. Как вы могли, и можете еще теперь, думать, что это *фразы*? «Эфемерные препятствия»¹, как вы их называете, совсем не эфемерны для меня; они меня *ужасно мучают*.

Вас удивило мое колебание. Когда доверье слишком скоро образуется, оно никогда не бывает *прочно* или редко. У меня к тому же очень недоверчивая натура. Я должен гораздо ближе познакомиться с делом и гораздо яснее видеть, каким путем хотят достигнуть цели, чтоб иметь полное доверие.

Во мне в самом деле есть что-то несамостоятельное, нерешительное и робкое, я сам это вижу и буду всеми силами стараться все это переменить.

Письма привезу² и много расскажу.

Окружающие думают, что зовет меня старый друг³ и что он не дает мне покоя; сильно бранят его, говорят, что он знает, что месяца нет, как я выздоровел⁴, что он меня погубит!

«Ты еще не можешь ясно рассуждать и обдуманно поступать по-прежнему, поэтому мы тебя одного отпустить не можем, не должны!» Вот что мне говорят. Признаться, вы в самом деле мне не дали много времени, чтобы хорошенько обдумать.

Брат уехал: в эту минуту он опускает гроб. Впрочем, вам дела до этого нет; скажете, пожалуй, что сентиментализм думать еще о Папаше.

Одному мне ехать *невозможно*, не ссорившись со всеми, — этого я не хочу, не могу. Все, что было в моих силах, то сделал — *поеду во вторник* с другими, т. е. с младшей сестрой и с ее матерью. Пожалуйста, не ждите, если вам *неловко*, поручите старику⁵ сказать, что нужно.

Вы никогда не поймете, как мне было *трудно* достигнуть то, что я достигнул⁶. Вы свободный волк, по-вашему, все это предрассудки, поэтому я вам так мало писал, без подробностей. До свиданья, если оно возможно. Жму вам руку

Режинальд Вильсон

¹ Письмо Нечаева, которое цитирует Н. А. Герцен, неизвестно.

² По-видимому, письма от тех лиц в Париже, поручения к которым выполняла там Н. А. Герцен.

³ Огарев.

⁴ Речь идет о душевном заболевании Н. А. Герцен осенью 1869 г.

⁵ Огареву.

⁶ О реакции семьи на намерение Н. А. Герцен переехать в Женеву для помощи Огареву см. записки в ее дневнике.

11

С. Г. Нечаев — в редакцию «Journal de Genève»¹

Перевод с французского:

Лондон², 22 февраля 1870

Господин редактор,

Узнав, что палач России, Александр II, обвинив меня в убийстве, обратился к Швейцарскому федеральному правительству о моей выдаче и что в Швейцарии уже имели место обыски и аресты среди наших эмигрантов, я прошу вас, господин редактор, поместить это письмо в вашей уважаемой газете и таким образом спасти моих соотечественников от всех неприятностей, вызванных интригой самой подлой на свете администрации — администрации России. Я не в Швейцарии; поэтому содействие федерального правительства (если бы оно на это согласилось) охоте за мной ничему не послужит. Вступив в ряды врагов русского правительства, я знал, с кем имею дело, и, следовательно, принял все предосторожности, чтобы уцелеть и не попасть в его когти как раз в начале битвы за русскую свободу.

Примите и проч.

Нечаев

Печатается по АВ, т. IV, р. XXXIV.

¹ Напечатано в «Journal de Genève» 2 марта 1870 г.² В действительности Нечаев скрывался в Локле, в Швейцарии. Указание на Лондон — конспирация.

12

М. А. Бакунин — А. Фогту

Перевод с французского:

〈Локарно.〉 25 февраля 1870

Мой превосходный друг. Спасибо за твое доброе письмо. Но если в прошлую субботу, 19-го, известие о русском требовании было просто уткой, то сегодня это не так.

В «*Journal de Genève*» от 23 февраля помещена телеграмма из Берна, носящая настолько официальный отпечаток, что нельзя в ней усомниться. Суди сам: «Телеграмма, Берн, 22 февраля. Многие иностранные газеты напечатали телеграмму из Берна от 14 февраля, извещающую, что Россия при поддержке Пруссии потребовала выдачи Нечаева. В этот день Федеральный совет не получал еще требования о выдаче, и установлено, что эта телеграмма не была отправлена ни из Берна, ни из какого бы то ни было швейцарского почтового отделения. Это требование о выдаче поступило в действительности вчера, 21 февраля, и, возможно, будет обсуждаться Федеральным советом завтра».

Итак, нет сомнения, требование было сделано. Но каков был или будет ответ Федерального совета? Вот что мне необходимо знать как можно скорее, и я рассчитываю в этом на твою старую дружбу.

Но это не все: если федеральное правительство намерено оказать позорную услугу русскому правительству, нужно поднять против него общественное мнение. Я посылаю тебе № 8 локльского «*Progrès*», где ты найдешь мою статью «*La police suisse*» и письмо Нечаева. Нужно передать их возможно большей гласности, не говоря никому, что первая статья моя, что я знал Нечаева и что это я послал тебе этот номер «*Progrès*». Предполагается, что я ничего не знаю.

Признаюсь, дорогой друг, что несколько не верю в революционные добродетели нашего федерального правительства. Меру их мы видели в деле Оболенской¹, в котором Серезоль, адвокат из Веве и член федерального правительства, сыграл гнусную роль продажного человека. Поэтому, чтобы помешать новому позору и спасти человека драгоценного и достойного всякой симпатии и восхищения, нужно пустить в ход, если это окажется необходимым, самые сильные средства и, как я уже сказал, надо возбудить и взволновать общественное мнение Швейцарии

против этого республиканского правительства, которое становится лакеем у его казацкого величества.

Адольф, так как вы не принадлежите к филистерам и не стремитесь ими стать, я рассчитываю на вас.

Если у тебя нет времени мне ответить, твоя дорогая жена согласится передать мне все, что ты захочешь мне сказать; только агитируй, а она мне напишет. Но, во имя всех богов Густава², отвечай как можно скорее.

Преданный вам М. Бакунин

Печатается по АВ, т. IV, р. 50—51.

¹ О деле Оболенской см. прим. 19 к дневнику Н. А. Герцен.

² Густав Фогт, брат адресата, юрист.

13

Н. П. Огарев — С. Г. Нечаеву

P<our> Neville *¹

<Женева.> 28 фев<ря> 1870 г.). Вторник.

Я решительно не согласен на ваш приезд (переписка лучше), тем более что K<амперю> меня просил, чтоб вас здесь не было месяца с два, пока все интриги заглохнут, в чем нет сомнения². Посылаю вам счет, которого у меня копия. Как же с ним распорядиться? У меня теперь ни малейших нет средств для уплаты³.

На ваши замечания ответ пошлю завтра. Делегатов никаких не было. Все это, кажется, вздор⁴. Мы все здоровы. «Голос» тоже пошлю завтра, но не весь: в одном есть статья о B<акунине>, которую надо прямо послать к нему⁵. — Во всяком случае, торопиться совещаниями нечего до прихода денег, и бланки прежде выпускать не к чему. Это положительно.

Отрывок не набран и возвратится мне. Впрочем, все она привезла в порядке⁶.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 25.55, с автографа ВН.

¹ *Невилл* — псевдоним Нечаева (другие конспиративные псевдонимы, которыми он пользовался в Швейцарии: «Бой», «Барон», «Волков», «Барсов», «Лендли»).

² Филипп *Камперю* (1810—1882) — лидер швейцарской Независимой партии, в 1865—1870 гг. возглавлял в Женеве кантональный департамент юстиции и полиции. Был хорошо знаком с Огаревым (29 февраля Бакунин писал Огареву: «Камперю, твой приятель, написал федеральному правительству, что этот г-н Нечаев — друг известного социалиста Бакунина и, без сомнения, скрывается у него в Локарно». — Письма М. А. Бакунина, с. 270).

³ Очевидно, один из тех четырех счетов, которые до марта 1870 г. предъявил Чернецкий за печатание прокламаций и брошюр (см. фотокопии ГБЛ, ф. 69, 24.5, с подлинника ВН).

⁴ Возможно речь идет о делегатах цюрихских студентов, привезших в Женеву их обращение к революционной эмиграции с предложением коллективного выступления в защиту Нечаева (см. об этом ниже, в письме А. Трусова к С. Марковичу — п. 40).

⁵ Огарев имеет в виду статью парижского корреспондента «Голоса» Н. В. Щербаня («Голос» № 41 от 10/22 февраля 1870 г.) — злобную реакцию на статью Бакунина «Смертная казнь в России. Редакции газеты „Rappel“» («Rappel», 15 февраля). Включившись в развернувшуюся на страницах этой газеты полемику о смертной казни в России, Бакунин доказывал, что, отмененная юридически, на деле смертная казнь в России существует (текст его статьи см. АВ, т. V, р. 27—29).

⁶ Письмо Огарева является ответом на не дошедшее до нас письмо Нечаева, привезенное Н. А. Герцен из Локля. Оно показывает, что целью ее поездки было получение замечаний Нечаева на одну из печатавшихся в это время прокламаций.

14

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

<Женева. Первые числа марта>¹

Зайдите непременно нынче хотя вечерком.

Здесь вышли гадости, надо разъяснить.

Р. S. Утром были нужны очень.

¹ Относится ко времени после возвращения Нечаева из Локля и до начала осложнения отношений с Н. А. Герцен (см. ее дневник, с. 496—497).

* Для Невила (*франц.*).

15

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 13 марта 1870

До тех пор, пока Вы мне не дадите *честное слово*, что Вы не будете меня целовать, я к О〈гареву〉 не буду ходить.

Да к тому же лучше, чтобы мы не встречались больше. Телом и душой отдаться делу я не могу, несмотря на то, что искренно ненавижу весь существующий порядок. Последнее слово мое я сказала; встреча поведет только к раздраженному разговору — поэтому прощайте.

Желаю Вам успеха.

Н. Герцен

16

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

〈Женева. 13 марта 1870 г.〉¹

Я вам *слово* дал вчера, следовательно, причины непосещений не существует.
Ваш L a e n d l e y

А вы дали слово нынче быть, так и сдержите его, то есть придите после обеда. Это вы должны сделать, чтоб иметь право рассчитывать на честное слово других. Ждем вас.

¹ Датируется по связи с предыдущим письмом.

17

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 17 марта 1870.

Я предчувствовала, что не буду в состоянии прийти сегодня, и в самом деле, у меня голова так болит, что я, верно, целый день останусь дома.

Как на смех, именно сегодня, когда могла бы всего больше вам помочь, — досадно! Но, так как это механическое занятие меня не утомляет, еще раз прошу вас прислать мне, что хотите, *сюда (с объяснениями)* — я исполню и отправлю.

Хоть бы «каша» кончилась и дала бы мне немножко покою!! То, что не к спеху, — оставьте до завтра, — потому что завтра верно буду у О〈гарева〉.

До свиданья, «Тигр Медведевич», обращайтесь немножко побольше внимания на внешние формы, самому вам и другим будет приятнее.

Н. Г.

С нашей горничной вы сами не говорите, не нужно, чтобы она знала ваши черты¹. Вздумается Камперо ее допрашивать когда-нибудь, и будет беда.

« — Что вы вздор говорите!»

¹ Горничная — итальянка Эрминия *Жардель*. Впоследствии, когда Нечаев прятался в квартире Н. А. Герцен и Н. А. Тучковой-Огаревой, она не только знала его, но и способствовала его побегу (см. воспоминания Н. А. Герцен. — «Лит. наследство», т. 63, с. 494—496.)

18

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 Воскресение 20 марта 1870.

Мне все нехорошо, я еще в постели, утром не выйду, увижу, что будет после обеда, поправлюсь, так приду вам помогать; если вас дома не будет, оставьте объяснения, что мне делать.

Как припоминаю наши разговоры, вижу противоречье в некоторых ваших фразах. Помните, напр〈имер〉, как сказали раз: «Да, не путайте то, что касается

до меня *лично*, — с *делом*». А потом несколько раз говорили совсем другое, как: «Я цельный человек. Что касается до *дела*, то касается и *меня*, делить я это не могу. Вопрос только один. Я только о деле и говорю».

Признаться, тут для меня что-то неясно, по-моему, надобно непременно эти вопросы разделить. Итак, чтобы не вышли недоразумения, не забывайте, что, как только я поняла, что, кроме *дела*, Вы спрашиваете *тоже* о *личных* отношениях, — я вам сейчас же дала *отрицательный ответ* и несколько раз его повторяла. Вы мне говорите, что сама себя не знаю. Станный вы человек, должна же я знать, люблю я вас или нет; ну и опять говорю Вам, что *нет*, — не люблю.

Очень жаль мне, что у вас явилось это чувство, и в этом я совсем не виновата и повторяю, что решительно ничего не заметила до тех <пор>, пока вы не заговорили прямо.

Только что принесли длиннейшее письмо из Италии ¹.

До свиданья

Н. Г.

¹ Судя по записям расходов из Бахметьевского фонда, которые вела Н. А. Герцен (фотокопии ГБЛ, ф. 69, 24.5, с подлинников ВП), Нечаев и Огарев интенсивно переписывались с итальянскими революционерами и посылали им свои издания. Так, 20 марта 1870 г. был отправлен пакет во Флоренцию, 22-го — в Венецию. Как выясняется из данного письма, для переписки пользовались и домашним адресом Н. А. Герцен.

19

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

<Женева.> 27 марта 1870.

Если завтра можете прийти, особенно пораньше, то придите (часов 8—9). Надо. Тихонько прямо в угольную комнатку.

Ваш по уши.

Эх! Как бы вы больше да прямей и последовательней думали! Дайте волю уму, не сдерживайте его *приятными предрассудками*! Скоро перестанете качаться по волнам взбаламученного моря и пристанете к обетованной земле, если будете последовательны.

Знаете ли, как мне тяжело за вас. А ведь я вас...

20

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

<Женева.> 28 марта 1870.

Не зайду я, пока не получу то, о чем писала поутру ¹. Я это говорю очень серьезно.

А не хотите исполнить, так посылайте мне все сюда с объяснениями, я буду и писать, и переписывать.

Что это с глазами Ага?

Н. Г.

¹ Это письмо Н. А. Герцен не сохранилось.

21

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

<Женева. 28 или 29 марта 1870 г.> ¹

С вами я говорю просто и прямо и не хочу говорить еще как-то *серьезно*. Перестаньте капризничать за то, что с вами поступают как с человеком дорогим, а не как с кисейной барышней. Ведь я не Тхор<жевский>.

Эти капризы ниже вас. Они неразумны.

А ведь вы умница!

Вместо того, чтобы тратить силу мозга на размышления над приличиями да неприличиями, следовало бы вдуматься в реальную сущность жизни, а не в ее картинную видимость. Или хотите весь век пробыть украшением гостиных? Ну, да как знаете!

А вот *здесь* сплетни вышли!

Надо объяснить их происхождение. Придите непременно, а то я сам к вам приду.

Ваш.

Оз(еров)² не уехал, потому что вы утром не были.

Принесите денег для Чернецкого³.

¹ Датируется по связи с предыдущим письмом.

² Владимир Михайлович *Озеров* (1838 — ок. 1915) — штаб-ротмистр Волынского уланского полка, участник польского восстания 1863 г., член Ишутинского кружка, с 1866 г. — революционный эмигрант; друг Бакунина и Огарева, член Женевской секции I Интернационала. Вместе с Н. А. Герцен выполнял обязанности секретаря редакции нечаевского «Колокола».

³ Речь идет о хранившейся у Н. А. Герцен части Бахметьевского фонда, предназначенной для оплаты счетов Чернецкого по издательским расходам.

22

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

⟨Женева.⟩ 31 марта 1870.

Не ставьте же меня в такое нелепое положение. Вы понимаете, что я не могу ходить к Огареву, пока Вы там. Вы мне покоя не даете, не умеете Вы обращаться по-человечески с людьми, а тут Ага все зовет, говорит, что дело есть. Ну, будьте же разумны, пожалуйста. Напишите мне то, о чем я просила. Уверю Вас, что для меня эти или *этот* вопрос *совсем решен*, прошу Вас меня больше не мучить и никогда об этом не говорить. А если я Вам ни в чем помогать не могу, — скажите поскорей.

Н. Г.

Я в самом деле простудилась тогда вечером, возвращаясь (голодная) с Чернецим. Если исполните мою просьбу, приду завтра.

23

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

⟨Женева.⟩ 31 марта 1870.

Как Вы переходите из одной крайности в другую! Один день я «самое дорогое существо», на другой — «урод», и к чему эти грубые, жесткие упреки?!

Сама я знаю, что ничего не убудет, если я умру; два-три человека погрустят, другие будут довольны — вот и все. Я Вам просто и прямо сама говорила, что *ничего* до сих пор не делала.

Я *«оскверняю слово любовь!»* Какое право Вы имеете это говорить?

«Чтоб любить, надо знать, за *что*»¹. Это совсем справедливо. Разве я Вам не говорила, что ваша привязанность ко мне ни на чем не основана? Почему Вы меня полюбили прежде, чем я что б то ни было сделала? Но лучше обо всем об этом не говорить, пока буря и биза совсем не прошли.

Очень рада, что наша встреча даром не пройдет. От всего сердца желаю успеха вашей брошюрке².

Завтра приду, приготовьте, что делать.

Н. Г.

¹ Письмо Нечаева, слова из которого приводит Н. А. Герцен, не сохранилось.

² Хотя Н. А. Герцен употребляет слова «вашей брошюрке», в действительности она имеет в виду не какую-то брошюру Нечаева, а написанную Бакуниным в защиту Нечаева брошюру

«Ours de Berne et l'Ours de Saint-Petersbourg. Complainte patriotique d'un Suisse humilié et désespéré». Она печаталась в этот момент или только что была напечатана в типографии Гильома в Невшателе.

24

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 Вторник 〈19 апреля 1870 г.〉¹

Вы сами можете понять, что все то, что случилось третьего дня и вчера вечером, мне чрезвычайно неприятно; всего досаднее то, что вы можете предполагать, что решение N〈atalie〉 взято *после* нехороших известий, *после* того, что случилось у Ага и т. д. А дело в том, что ей давно было *неловко, неприятно*, а я по глупости или рассеянности этого не замечала, а то бы прямо вам сказала, и вчерашняя сцена не случилась бы; уверяю вас, что очень жалею².

Решение мое вы знаете, значит, пор〈учать〉* мне больше ничего не можете 〈и〉 не должны. Получила я от Б〈акунина〉 〈пис〉ьмо для вас; могу переслать через Ц〈амперини〉³ или нет? Назовите кого-нибудь.

Отвечайте также через Ц〈амперини〉.

Ходить я к вам не буду: во-первых, по разным причинам, о которых мы говорили, потом потому что для вас нехорошо, обращают внимание на дом.

Будьте осторожны.

Могу ли я деньги отдать Ц〈амперини〉?

¹ Датировано по дате первого вторника после отъезда Бакунина из Женевы (18 апреля). Об этой дате см. прим. 29 к дневнику Н. А. Герцен.

² Инцидент, о котором сожалеет Н. А. Герцен (по-видимому, какое-то столкновение Нечаева с Н. А. Тучковой-Огаревой), не освещен ни в воспоминаниях, ни в других дошедших до нас документах участников этих событий.

³ Это письмо Бакунина к Нечаеву неизвестно. О Цамперини см. прим. 16 к дневнику Н. А. Герцен.

25

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 Середа (утро) 〈20 апреля 1870 г.〉¹

Если б я была уверена, что в самом деле *никто*, кроме меня, ваших поручений исполнять не может, что исполнить их *необходимо*, я бы пошла к вам. Но от ваших длинных разговоров и особенно от странного вашего поведения я устала и решительно не хочу, чтоб это продолжалось. Ни в каких интригах я участвовать не хочу, поэтому не понимаю, какие поручения могу исполнять? Употребляйте на это *ваши*.

Отчего вы спрашиваете, струсил ли я? Что же может случиться со мной?? Решительно ничего. Одна «Народ〈ная〉 Расправа» может пожелать наказать или проучить меня.

Пошлите же денег бедному Б〈акунину〉, он, верно, ждет с нетерпением².

Поймите еще то, что ходить к вам мне не следует *для вас*, т. е. чтобы опять не нашли, где раки зимуют.

Потом помните, что *Татой* звать меня не нужно, мне это неприятно.

Н. Г.

Поговоривши с Ц〈амперини〉, я еще раз убедилась, что мне решительно к вам ходить не следует. Вы знаете, что обещают 5000 фр〈анков〉 тому, кто вас отыщет! Гадость какая! *Пожалуйста, посидите* смирно хоть несколько дней и слушайтесь Ц〈амперини〉. Когда будет возможно, он устроит. Пока пишите мне через него, если уж необходимо.

А всего лучше было бы, если б вы на время уехали, право.

* Текст поврежден.— Ред.

¹ Датруется по связи с предыдущим письмом.

² Речь идет о деньгах для устройства семейных дел Бакунина, при условии получения которых он мог переехать в Женеву.

26

Н. П. Огарев — Федеральному совету Швейцарской конфедерации

<Génève.> 24 avril 1870

Un de mes compatriotes m'a chargé de vous communiquer une adresse. Cette communication arrive de Londres. J'attendrai votre réponse avec la plus grande patience. J'ai l'honneur d'être votre tout dévoué,

Н. О г а р е в

П е р е в о д:

<Женева.> 24 апреля 1870

Один из моих соотечественников поручил мне передать вам его обращение. Это обращение поступило из Лондона. Я буду ожидать вашего ответа крайне терпеливо.

Имею честь быть преданным вам

Н. О г а р е в

Печатается по АВ, т. IV, р. XXXV.

27

С. Г. Нечаев — Федеральному совету Швейцарской конфедерации

П е р е в о д с ф р а н ц у з с к о г о:

24 апреля 1870

От личности, преследуемой русским правительством

Три месяца назад русское правительство потребовало от швейцарских властей моей выдачи.

Согласился ли Федеральный совет на это требование? Согласована ли моя выдача? В настоящий момент я все еще этого не знаю. После долгого ожидания я обращаюсь к представителям народа свободной Швейцарии — чтобы получить решительный ответ.

Могу ли я вернуться на гостеприимную землю Гельветической республики без опасности быть арестованным полицией царя Александра II?

В ожидании ответа Федерального совета честь имею быть

Сергей Н е ч а е в.

Печатается по АВ, т. IV, р. XXXV.

28

Канцелярия Швейцарской конфедерации — Н. П. Огареву

П е р е в о д с ф р а н ц у з с к о г о:

Г-ну Н. Огареву, Каруж 43, Женева
Берн, 25 апреля 1870

Милостивый государь,

в ответ на письмо, направленное вами 24 текущего месяца в Федеральный совет, федеральной канцелярии поручено сообщить вам, что Нечаев обвинен русским правительством в совершении убийства 18-летнего студента и что доказательства этого обвинения, обнаруженные следствием, такого рода, что на Нечаева ложатся серьезные подозрения как на виновника этого преступления. К этому недавно добавился тот факт, что заявление, опубликованное им в последнее время в прессе, оказалось полностью лживым¹.

В таких обстоятельствах Федеральный совет ни в коем случае не согласится предоставить убежище Нечаеву. Прежде чем положение дел не будет полностью

установлено расследованием. Федеральный совет воздерживается поэтому от предварительного следствия, пока он не будет найден на швейцарской территории, и не находит возможным в этом случае делать какие-либо заявления по поводу дальнейшего.

Примите, милостивый государь, уверения в нашем полнейшем почтении
От имени Федеральной канцелярии

Канцлер Конфедерации <подпись>.

Печатается по подлиннику: ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 519.

¹ Речь идет о «Письме в редакцию» Нечаева (см. прим. 5 к п. 4), перепечатанном в ряде газет, а потом опубликованном и в № 1 возобновленного «Колокола» 2 апреля 1870 г. (текст его см.: «Колокол». М., 1933). Опираясь на замечание Гильома, что это «Письмо» было, «возможно, составлено Бакуниным» (D. Guillaume. Op. cit., I, p. 280), авторство Бакунина считал несомненным Стеклов (Ю. Стеклов. Указ. соч., т. 3, с. 519—520). Однако и сам характер письма, и все известные теперь факты делают это утверждение совершенно неправомерным.

29

Н. П. Огарев — М. А. Бакунину

<Женева. 6 мая 1870>¹

Locarno. Terresina Pedrazzini² per Antonia.

Donne-moi le droit de voter pour toi dans une assemblée pour les affaires de mon boy et telegraphie de suite. Le plus grand besoin.

O g a r e f f

П е р е в о д:

Локарно. Терезине Педраццини², для Антонии.

Дай мне право голосовать за тебя на собрании по поводу дел моего боя и телеграфируй тотчас же. Крайняя нужда.

О г а р е в

Печатается по черновику ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 424.

¹ Датируется по связи с готовившимся на 7 мая и состоявшимся в этот день собранием русских политических эмигрантов в Женеве (см. вступ. ст.).

² Терезина Педраццини — квартирная хозяйка Бакунина в Локарно.

30

Н. П. Огарев — президенту Женевского кантонального совета
Ф. Камперю

Je suis malade, c'est pourquoi je n'ai pas pu me présenter chez Vous. Mais je ne puis laisser l'affaire sans protestation non seulement pour mon pauvre ami Netchayeff inculpé par le gouvernement russe d'un crime qu'il n'a pas commis, mais aussi pour le jeune homme Sérébrennikoff que vous avez arrêté au lieu de l'autre. J'espère toujours que Vous ne voudrez pas livrer un condamné politique au lieu d'un criminel et expédier aux travaux forcés un homme qui a cherché un refuge en Suisse — et encore moins un homme qui n'est pas encore persécuté. J'ai toujours foi en Votre honnêteté humaine.

J'ai l'honneur d'être Votre tout dévoué serviteur,

Nicolas O g a r e f f

П е р е в о д:

<Женева. После 9 мая 1870>¹

Я болен, и поэтому не мог прибыть к Вам лично. Но я не могу оставить дело без протеста — не только из-за моего бедного друга Нечаева, обвиненного русским правительством в преступлении, которого он не совершил, но также из-за молодого человека Серебренникова, которого вы арестовали вместо другого².

Я все еще надеюсь, что Вы не захотите выдать политического осужденного вместо уголовного преступника и отправить на каторгу человека, искавшего убежища в Швейцарии, — и еще менее человека, которого вообще еще не преследовали. Я всегда верил в Вашу человеческую честность.

Имею честь быть Вашим преданным слугой

Николай О г а р е в

Печатается по АВ, т. IV, р. XXXV—XXXVI.

¹ Датируется по дате ареста С. И. Серебренникова (9 мая 1870 г.).

² Семен Иванович *Серебренников* — в 1868—1869 гг. участник нечаевской организации в России; в 1869 г. уехал в Америку, откуда в декабре того же года приехал в Цюрих с намерением стать студентом Политехнической школы. Вызванный Нечаевым в Женеву, он остановился у Огарева. 9 мая был арестован на улице кантональной полицией, принявшей его за Нечаева, и находился в тюрьме до 21 мая. Этот инцидент был использован русской революционной эмиграцией для протеста против произвола швейцарских властей и подчинения их диктату русского правительства.

31

Памятная запись Н. А. Герцен об обсуждении протеста революционных эмигрантов против выдачи Нечаева

(Женева. 25—26 мая 1870 г.)¹

Насчет адреса я могу только сказать, что он в самом деле ловко написан. Прочитала я его в присутствии Б<акунина>, Сереб<ренникова> и Озерова. Когда я кончила, он ² сказал добродушно:

— Ведь такую штуку каждый подпишет. Не правда ли?

— Не знаю, — отвечала я, — я, например, не подпишу. Тут не сказано, что мы совсем не сочувствуем его образу действий и что совсем с ним не солидарны. Все ахнули. А Б<акунин> сердито заметил:

— Как не сказано? Как же вы читаете, перечитайте второй параграф.

И в самом деле там сказано: «*

Потом я остановилась на следующей фразе: «nous affirmons sur notre honneur etc. etc. ...et avec pleine conscience...»**, прибавляя, что никто из нас не может это подтвердить.

— Ce n'est qu'un sot qui puisse en douter — только дурак не подтвердит и еще может сомневаться, что рус<ское> прав<ительство> Н<ечаева> не из-за политических целей преследует. Что за несносный мы народ — невыносимое русское резонерство, шагу не сделает, не разбирая все до ниточки, чтоб к чему-нибудь придраться и отказать, чтобы имя не компрометировать свое.

— Так и следует. Разбирать каждый должен и как можно строже.

— Ну, да сами рассудите. Стало бы р<усское> пр<авительство> так хлопотать о Н<ечаеве>, если б он был простой преступник? Ясно, что в нем преследуют политика.

— Если эту фразу вычеркнут, я подпишу.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 24.1, л. 100—101, с автографа ВН.

¹ Датируется по следующим соображениям: из контекста ясно, что этот текст протеста обсуждался после отъезда Лопатина из Женевы (т. е. после 24 мая — см. вступительную статью), но до отъезда Бакунина в Берн, куда он увез для согласования эту новую его редакцию (в письме Нечаеву от 27 мая, п. 37, Н. А. Герцен сообщает, что Бакунин уже в Берне). Эта редакция протеста была получена Лопатиным в Париже до 1 июня (см. п. 43).

² Очевидно, Бакунин, полемика с которым и составляет содержание всей записи.

* Текст цитаты не вписан Н. А. Герцен. — *Ред.*

** Мы утверждаем своей честью и т. д. ... и с полным сознанием (*франц.*).

32

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

〈Монтей. 25—26 мая 1870 г.〉

Я попал в страшнейшую глушь¹ и, что всего неприятней, должен остаться здесь более недели. Предвижу ужаснейшую тоску. Понимаете ли, какое удовольствие будет доставлять мне *ваши* письма? Знаете ли, с каким нетерпением жду их?

Пишите, пишите скорее и больше; пишите прямой, откровенней. Сейчас буду писать вам большое письмо, которое придет к вам по почте позже этой записки. Надеюсь, что вы не будете дожидаться его и напишете раньше. Да! вот мой адрес (храните в тайне) Chez M. Constantin Baraldini pour M. Pierre à Monthey.

Сделайте так, чтобы письма от Огарева, Оз(ерова) и других для меня брал Сереб(реников) и приносил вам, а вы уж пересылайте.

Будьте решительней и самостоятельней. Дорогой со мной Н(аталья) А(лексеевна) много говорила об вас, уже напишу². Что она?

Как бы хотелось написать еще, да уезжает Ц(ампер)ни, торопит. До свидания! Передайте записочку Иванову³ и счет Озерову. И письмо Н(аталии) А(лексеевне).

Не получено ли Огар(евым) каких писем для меня, пришлите их.

¹ Убежище в горах Швейцарии после бегства Нечаева из Женевы было предоставлено ему итальянскими революционерами (см.: М. П. Сажи и н. Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925, с. 62).

² Рассказ Н. А. Тучковой-Огаревой об этом эпизоде в ее воспоминаниях 1894 г. не содержит никаких сведений об ее беседах с Нечаевым (см.: Архив Огаревых, с. 275—278). Содержание ее разговора с Нечаевым частично отразилось в п. 35.

³ В окружении Н. А. Герцен и Огарева лицо с такой фамилией неизвестно. Возможно, псевдоним В. И. Серебренникова.

Je vous envoie un grand salut
à cette belle nuit, j'ai écrit
assez vite pour vous dire
Préparez vous à recevoir
mon message et soyez sûr
qu'il vous apportera de bonnes
nouvelles. J'espère que vous
m'écrirez bientôt et que vous
m'apporterez de bonnes
nouvelles de votre part.
C'est tout pour moi, adieu
à tous. Je vous aime
à tous et j'espère que vous
m'écrirez bientôt et que vous
m'apporterez de bonnes
nouvelles de votre part.
Je vous aime à tous et j'espère
que vous m'écrirez bientôt
et que vous m'apporterez
de bonnes nouvelles de votre
part.

chez M. Constantin Baraldini
pour M. Pierre
à Monthey

ПИСЬМО НЕЧАЕВА К Н. А. ГЕРЦЕН

Автограф. Монтей, 26 мая 1870 г.

В левом верхнем углу помета Н. А. Герцен:

«Получено 27-го мая 1870»

Национальная библиотека, Париж

33

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

〈Монтей.〉 26 мая 1870.

Дорогая Тата.

Писать к вам становится трудной, хотя и любимой задачей. Вы хорошо знаете, почему я не могу говорить с вами обиняками, почему не могу скрыть того, что думаю, и почему не в силах сдерживать ту горячность (по-вашему — грубость), что выходит прямо из души.

Между тем в моих думах, в моих представлениях об вас есть много и много такого, что совершенно противоположно окружающему вас, что идет вразрез с тем, от чего вы не попробовали отвыкнуть или так или иначе отделаться. Словом, в открытой, прямой речи моей к вам есть часто укор, есть упрек в нерешительности, в слабости, в колебании и прочих свойствах, от которых вы когда-то обещали мне

стараться освободиться. Поэтому мои слова вам часто были неприятны, но я все-таки говорил их и буду говорить.

Знаю, что и в этом письме вы встретите не комплименты.

В первые дни встречи вы высказывали недовольство пошлой жизнью, но понимали очень смутно, в чем заключается причина этой пошлости. Жизнь пошла, когда нет в ней дела, когда человек сознает, что его существование ни для кого не нужно, кроме таких же пошляков, когда человек так мало верит в себя и в свои силы, что не решается ни на какой активный шаг сам по себе, а ожидает, пока судьба (глупейшее понятие) не сдвинет его так или иначе с места. Ну и двигаются такие люди *судьбой* в образе папенок и маменок или разных пекущихся ангелов-хранителей, в роде

Пока человек кружится только в подобной среде, он мало чувствует недовольства, он глуп, а потому может быть спокоен, зависимость и рабство его не оскорбляет, но, раз он столкнулся с *другими* людьми, увидел самостоятельность в ком-либо, он уже не может оставаться в довольстве, он должен или делать смелый прыжок из болота, или, сознательно погружаясь в нем, все более и более презирать себя, пока наконец мысль не перестанет работать и человек не обратится в полуживотное.

До сих пор вы живете совершенно пошлой жизнью: без цели, без задач. Если б кто спросил вас, зачем живете? — Вы не могли бы отвечать. Вспомните ваше письмо: «...знаю, что не много убудет, если я умру; немногие пожалеют, поплачут!..»¹.

Сердце разрывалось у меня, когда я читал это сознание собственной бесполезности. И это пишет молодая, свежая девушка, еще не пробовавшая жить. Откуда же это отчаяние как бы отживающего человека, эта боязнь сбросить с себя оковы? Вот плод вашего бессмысленно проведенного прошлого, плод глупых забот и попечений, которыми вас окружали с детства и которыми до того приучили ваши руки к пеленкам, что вы и теперь чувствуете себя как бы связанной.

Да, если знаете, что вы бесполезны, так переставайте жить так, как жили до сих пор! Двиньтесь! сбросьте трусость! Посмотрите на других глазами живого, чувствующего человека, а не мутным взором богатой наследницы, ежеминутно боящейся грабежа и обмана. Есть много хороших людей, приставайте, работайте, а главное — скорее выйдите из зависимости и рабства позолоченной мишурой мнимой привязанности.

Это отсутствие жизненной задачи мешало вам выработать твердые убеждения, на которых бы вы могли опираться в своих поступках. Без убеждений вы были, без характера, робки, неопытны и боязливы. Вы сторонились всегда от столкновений, от борьбы, потому что борьба без дела — нелепа. Вот почему всё окружающее (а оно было очень плохо) влияло на вас, а вы не давали никакого отпора. Вот почему Н<аталья> Алексеевна, уже отжившая женщина, смотрит на вас с *сожалением* и думает, что без ее советов вы погибнете. Она говорила мне, между прочим: «Когда я горячо возражала против намерения вторично переодеться², Тата покраснела, сконфузилась, поцеловала меня и согласилась со мной. Мне жаль было смотреть на нее; так робка, послушна она была, так мало нужно было, чтобы ее разубедить» и пр., что сообщу вам потом.

Для нее вы положительно бесхарактерное существо, которому постоянно нужна нянька (так же, кажется, и брат ваш смотрит). Мне было больно, тяжело слышать эти полупрезрительные отзывы, худо скрываемые заботливостью. Я едва не разругался за вас. Я почему-то верю в вас и вам. Я предлагал Вам встать от спячки и идти вместе к общей цели. Я верю в вас, верю, что вы еще свежи и можете окрепнуть и развиться в деле. В моих к вам отношениях я поступал необдуманно, не совсем разумно (Вы знаете, почему), часто я забывал вашу слабость, вашу несамостоятельность. Я действовал резко и запугал вас. Вы начали сторониться меня. Как больно становилось порой, но все же я не потерял уверенности, что истина возьмет верх. Вы боитесь постоянно обмана, хитрости, интриг и сидите сложа руки. Я спрашиваю: когда бояться опасности быть жертвою интриг — тогда ли, когда идешь определенной дорогой, имея ясную цель перед глазами, проверяя каждый свой шаг и шаги идущих вместе, или когда находишься в положении, по-

добном вашему, — без всякого жизненного плана, при полном отсутствии понимания жизни, без любви, определенности.

Желал бы я, чтоб отвечали вы мне после размышлений самостоятельных, а не под влиянием разговоров с кем-либо.

Пишите, пожалуйста, скорее и больше.

Вследствие последней переполохи с преследованием план личного моего будущего участия в деле принимает большие изменения. Отвечайте мне прямой, если небольшое доверие мне в вас еще не ослабло, то я бы вам предложил кое-что?

Прилагаемую записочку передайте Огареву³ и уничтожьте.

¹ См. письмо Н. А. Герцен от 31 марта (п. 23).

² Предполагалось сперва, что Нечаев выедет из Женевы переодетым и получит все необходимое для этого через Цамперини. Не имея терпения дожидаться прихода последнего, Н. А. Тучкова-Огарева вывезла Нечаева в обычной одежде, усадив в коляску и сделав вид, что отправляется с Лизой в сопровождении своего знакомого на загородную прогулку (см.: Архив Огаревых, с. 275—278). Судя по письму Н. А. Герцен к Нечаеву от 27 мая (п. 35), к решению этому пришли не сразу, а думали сначала переодеть и Нечаева, и Н. А. Герцен и ехать всем вместе. Передавая свой разговор с Натальей Алексеевной, Нечаев упоминает о «вторичном переодевании»: дело в том, что еще раньше Н. А. Герцен сопровождала переодетого в женское платье Нечаева на тайное свидание с Бакуниным (см.: «Лит. наследство», т. 63, с. 495).

³ Записка эта неизвестна.

34

Г. А. Лопатин — М. А. Бакунину

Бакунину. Париж, 26 мая <1870 г.>.
Немедленно по получении письма из Женевы *

Я горько сожалею, что не прожил в Женеве еще дня два-три и вследствие этого принужден теперь письменно перерывать всю эту грязь. Но делать нечего: такие письма, как Ваше, не могут быть оставлены без ответа¹. Итак, я начинаю по порядку.

Прежде всего я должен и желаю выгородить Л<юбавина>² из всей этой истории, в которой он не виноват, как говорится, ни сном, ни духом. Вы пишете: «Л<юбавин> поручил Вам объясниться со мною по этому делу...», «не понимаю, как могло Л<юбавину> показаться нужным даже хлопотать о возвращении этих писем», «пусть Л<юбавин> успокоится...», «если Л<юбавину> угодно искать третьего исхода, он волен», «когда Л<юбавину> угодно будет поднять свою клеветливо-грязную кутерьму...». Все эти фразы несправедливы, потому что Л<юбавин>, собственно говоря, здесь не при чем, как Вы это сейчас увидите из подробнейшего изложения всего дела.

Когда я приехал в Петербург³, Л<юбавин> находился за границей, а Н **⁴ в тюрьме. Наши общие друзья очень опасались за них, на том основании, что оба эти лица в последнее время разошлись с Вами, а между тем в руках Нечаева находилась известная расписка <Даниельсона>, а в Ваших руках было несколько писем Л<юбавина>. Никто из моих друзей не предполагал никогда, что Вы употребите во зло имеющиеся у Вас в руках документы, но относительно Нечаева все эти господа находились в большом сомнении. Они сообщили мне, что, *говорят*, будто бы по поручению Нечаева некто Лихутин⁵ делал уже <Даниельсону> некоторые довольно прозрачные намеки насчет возможности употребления его расписки в известном смысле, если он не делает того-то и того-то. Далее, я слышал, что, по поручению того же Нечаева, *кто-то* угрожал Л<юбавину> имеющимися у Вас в руках его письмами: угрозы эти были сделаны по какому-то делу о 3000 рублей. (Вас, конечно, не удивит подобное отношение так называемого «Комитета» к *Вашиим* письмам, так как Вы уже имеете образчик вмешательства его в Ваши лич-

* На верхнем поле листа приписка Г. А. Лопатина: *Отправление этого письма задержано мною немного, потому что я желал иметь у себя копию с него.*

** К этой букве, обозначающей Н. Ф. Даниельсона, под строкой примечание Г. А. Лопатина: *Я из осторожности переменял начальную букву фамилии хорошо известной Вам особы. Далее этот криптоним раскрывается без оговорок.*

ные дела по поводу перевода книги Маркса ^{6.}) Мои приятели не могли представить мне серьезных доказательств двух сообщенных выше фактов, а передавали их только как довольно верные слухи. Но, принимая во внимание: 1. Вашу близость с Нечаевым; 2. Оригинальное отношение Нечаева к собственности, позволяющее ему иногда класть в карман интересные письма, ключи и т. п. «полезные вещицы», найденные им в отсутствие приятеля на его письменном столе, примеры чего мне известны из очень хороших источников, называть которые, однако, я не желаю по причинам, весьма понятным; 3. Принимая во внимание теоретические взгляды на революционную деятельность, развитые Нечаевым в разговорах с моими друзьями, а впоследствии и со мною самим; 4. И, наконец, его образ действий на практике, хорошо известный мне из достоверных сведений, собранных мною по этому поводу в Петербурге и Москве, — принимая во внимание все это, я не мог не согласиться, что опасения моих друзей имели за себя некоторые основания. Когда <Даниельсон> выпел из тюрьмы, он сообщил мне, что Л<юбавин> действительно немного беспокоился за свои письма и очень желал бы получить их обратно. А потому <Даниельсон> просил меня, если я буду в Женеве и если это будет возможно, постараться достать обратно как письма Л<юбавина>, так и его расписку. Я надеюсь, что Вы не такой формалист и легалист, чтобы придаться ко мне за то, что в этом случае я не имел письменного поручения *прямо* от Л<юбавина> хлопотать по этому делу. Но если бы был поднят этот вопрос, то я могу написать Л<юбавину> хоть сейчас и немедленно представить Вам его подписку в том, что он одобряет все, что сделано мною по этому поводу до сих пор, а также и в будущем полагается на мое благоразумие. Во всяком случае, всего вышеизложенного совершенно достаточно, чтобы снять с Л<юбавина> всякую ответственность в этом деле. Теперь, когда Вам известно начало истории, перейдем к рассмотрению того, как я действовал.

Вы негодуете на меня за то, что я «объяснялся по этому поводу со всеми, кроме Вас». Констатируем факты: я говорил об этом с Озеровыми ⁷ и у <Н. А.> Герцен по поводу разных теоретических рассуждений, которые завязывались у меня с ними; факт этот я приводил как положительный пример, в то время когда речь шла об оценке характеров и образа действий разных представителей русской эмиграции. Я говорил об этом с Жуковским ⁸ по поводу выраженного им совершенно случайно желания переводить Маркса. И Эллидину ⁹, и редакции «Народного Дела» этот факт и даже самое имя Л<юбавина>, к удивлению моему, были известны гораздо раньше моего приезда. Бумаги, показанные им мною в день моего отъезда, только способствовали выяснению некоторых подробностей в их истинном виде. Перечислив лиц, с которыми я говорил об этом предмете, я хочу поставить теперь этот вопрос на почву общих принципов и утверждаю, что, по моему мнению, я имею полное право говорить об этом предмете, с кем я захочу, если только я сочту это нужным; единственное условие, обязательное для меня, состоит в том, чтобы говорить одну истину. А я могу сослаться на всех, с кем я говорил об этом деле, что я сообщал им одни только сырые факты; я не позволял себе высказывать никаких соображений касательно того, принимали ли Вы какое-нибудь участие, и какое именно, в известном оскорбительном письме, полученном Л<юбавиным> от т<ак> н<азываемого> «Комитета», или нет, представляя все подобные соображения на усмотрение моих собеседников. Таким образом, по этому пункту я считаю себя совершенно правым.

Теперь отвечаю на Ваш вопрос, почему я не объяснился по этому делу с Вами самими. Прежде всего я сошлюсь на Озерова и на М-Не Герцен в том, что я очень желал говорить с Вами по этому поводу; а затем я объясню Вам, почему я этого не сделал. Когда, в первый же вечер нашего знакомства, я провожал Вас к Нечаеву и по дороге заметил, что ни для кого из нас, конечно, не тайна, что все рассказы Нечаева есть чистая ложь, — удивление, высказанное Вами по этому поводу, показалось мне несколько натянутым и не совсем похожим на то удивление, которое высказывает человек, действительно слышащий в первый раз неожиданную и крайне неприятную для него новость. (Вы, конечно, не будете на меня в претензии за откровенное изложение моих впечатлений? Я следую Вашему же при-

меру.) Потом, когда мы были с Вами у Нечаева и когда он своим молчанием подтвердил мое мнение, высказанное ему прямо в лицо, мне опять показалось, что Вы не так поражены, как можно было бы ожидать. На другой день я с удивлением заметил, что Ваше обращение с Нечаевым нисколько не изменилось, что Вы опять выглядите добрыми приятелями, как будто бы он не насмеялся над Вами, обманув Ваше доверие таким грубым образом! Признаюсь откровенно, все это показалось мне несколько странным. Я подумал: вероятно, я не имел чести заслужить доверия Бакунина и искреннего, открытого обращения со мною. Поэтому я не решился начать с Вами разговора о таком щекотливом сюжете, не имея в руках документальных доказательств, о высылке которых я еще раньше просил Л<юбавина>: я предпочел лучше уехать, совсем не заговоривши с Вами об этом деле, чем заговорить, не имея чем подкрепить своих слов. К сожалению, ожидавшееся мною письмо пришло только в самый день моего отъезда, как это может подтвердить Вам Озеров, которому я читал его немедленно по получении. Тот же Озеров может сказать Вам, что я все-таки собирался видеть Вас в этот день, и если бы я не был задержан Нечаевым долее того, чем я рассчитывал, я непременно сделал бы это. Вы можете, конечно, спросить: почему я не остался в Женеве еще на один день? Что меня так тянуло в Париж? Но так как эти вопросы совершенно личные, то, согласитесь сами, я имею полное право уклониться от всякого ответа на них. Не мог; да и все тут! Повторяю, я не успел повидаться с Вами, и потому перед самым отъездом я отозвал Озерова в сторону и сказал ему следующее: «Вы знаете дело Л<юбавина>; Вы слышали также от меня, что есть люди (кое-кого из них Вы знаете, кое-кого — не знаете), которые желали бы огласить это дело в печати. Эти люди вылавливают Л<юбавину> на вид следующие обстоятельства: 1. Он уже несколько компрометирован в России. 2. Письма, находящиеся у Бакунина, могут во всякое время компрометировать его окончательно. 3. Он имеет средства, позволяющие ему жить за границей столько времени, сколько ему угодно. Таким образом, ему незачем возвращаться в отечество; а следовательно, он не имеет никаких причин не отдать этого дела на общественный суд. И Вы и я считаем такой исход крайне неприятным, почти несчастьем, на основании соображений, о которых мы с Вами рассуждали не один раз. Поэтому потрудитесь сказать Бакунину, что я даю свое честное слово в том, что такого исхода никогда не будет, если он отдаст мне письма Л<юбавина>, потому что, согласитесь сами, кому же приятно постоянно чувствовать себя «à la merci» * черт знает кого, с позволения сказать: Нечаева? (Заметьте: ни я, ни <Даниельсон> и вообще никто из моих друзей не выражал опасения, что Вы употребите во зло эти письма.) — Я знаю несколько Озерова, и я убежден, что он передал мое поручение добросовестно. Разговор происходил перед самым отъездом, на кухне, в больших поныхах, и потому редакция поручения вышла, может быть, несколько шероховатая, но я уверен, что «по существу» дело было понято и передано Озеровым как следует. Быть может, в редакции поручения, в том виде, как она сейчас изложена, и звучит некоторая угроза. Но внутренне ни я, ни Озеров не сомневались, что если Вы и не отдадите писем, то никто и не подумает принимать каких бы то ни было мер во вред Вам, тем более что Л<юбавин> в своем письме ко мне высказался самым категорическим образом против напечатания присланных им документов. Я надеюсь, что во всем, изложенном мною до сих пор, нет еще пока ничего такого, что могло бы поколебать до основания то приятное впечатление, которое, по Вашим словам, я произвел на Вас при первом нашем свидании?

Перехожу теперь к самому главному пункту: к рассказу Нечаева о моем разговоре с ним. Нужно ли говорить, что весь этот рассказ есть чистая ложь, с начала и до конца? Ложь самая бесцельная, потому что, ей-богу, я никак не могу понять: для какой надобности сочинил он всю эту мерзкую выдумку?! Чего он хотел этим достигнуть? Дело же происходило на самом деле следующим образом: Нечаев непременно пожелал видеть меня еще раз перед моим отъездом для какого-то, якобы очень «важного», разговора. Если оставить в стороне новый экзамен, про-

* отданным на милость (франц.).



Г. А. ЛОПАТИН

Фотография, Петербург, 1862

Литературный музей, Москва

изведенный им мне по обыкновению, и если отбросить прочь разные свойственные ему экивоки, то весь этот «важный» разговор может быть резюмирован следующим образом: «Зачем Вы мне вредите, распуская про меня повсюду неблагоприятные для меня слухи? Положим, мы с Вами расходимся во взглядах довольно значительно, но что же из этого? Все-таки и я, и вы, мы оба принадлежим к оппозиции. Не вредить, а помогать друг другу должны мы, по крайней мере хотя в тех пунктах, где мы с Вами сходимся». Я отвечал ему на это: «Когда я разговариваю с человеком, с которым я надеюсь столкнуться и сделать из него себе сотрудника и помощника, я знакомлю его со своими взглядами двумя способами: я или прямо излагаю свои воззрения в положительной форме, или критикую другие, несимпатичные для меня учения, доказывая их теоретическую и практическую несостоятельность примерами, почерпнутыми из истории попыток, сделанных для проведения этих учений в жизнь. Я считаю такой образ действий вполне законным и честным; а потому намерен держаться его и вперед. Но я обещаю Вам не рассказывать повсюду Вашей истории без подобной надобности, с единственною целью — почесать язык. Я также готов помочь Вам в каждом случае, где я буду ясно понимать, в чем дело, и если дело это будет до некоторой степени согласно с моими взглядами. Но, заметьте, всякое обязательство подписывается *двумя* сторонами, и поэтому я попрошу и Вас не вредить людям приблизительно моего образа мыслей. (При этом я напомнил ему некоторые сплетни, которые он распускал когда-то про меня.) Как первый шаг на этом поприще я попрошу вас отдать мне расписку, выданную Вам <Даниельсоном>, так как подобная вещь, по-моему, есть вред. Она парализует силы и добрую волю человека, вся над ним, как дамоклов меч, человек не в состоянии предаться со всею энергиею свободно выбранной деятельности, так как не от него, а от другого зависит все дальнейшее направление его жизни». — Он отвечал: «Я не могу Вам отдать этой вещи сию минуту, потому что она не у меня и не здесь; может быть, она даже сожжена; я напишу и дней через 10 дам Вам ответ. К тому же это зависит не от одного меня»; тут он снова упомянул своих «мы», каждый намек на которых вызывает у меня невольную улыбку. Я тогда прибавил: «Кстати, Вы задержали меня очень долго, и я не успею уже сегодня повидаться сам с Бакуниным; теперь уже время обедать, а после обеда мне необходимо зайти еще в три-четыре места, так не возьмете ли Вы на себя труд передать от меня Бакунину следующее, и тут я сказал ему точь-в-точь, *слово в слово* то, что я потом сказал Озерову. Нечаев уверяет, будто бы я хвастался ему и говорил: «Старик не выдержал и возвратил мне все письма». Послушайте, не смешно ли, не странно ли было поверить такой топорной выдумке?! Как? Я, человек, выдавший Вас два или три раза, буду рассказывать Вашему короткому приятелю разные небылицы про Вас, в глупой уверенности, что он не передаст Вам этого? Г. Бакунин, Вы слишком уж плохого мнения об моих умственных способностях, о моей сообразительности! Говоря между нами, это не делает чести Вашей собственной проницательности: я имею слабость думать, что я несколько не похож на туполобого олуха! И как же это так? Нечаеву я сказал, что письма

от Вас мною уже получены, а Озерова просил позаботиться о их получении?.. Дело что-то неладно!.. Затем Нечаев уверяет, что я даже показывал ему эти письма, не давая ему их, однако ж, в руки. Опять наглое искажение истинных фактов! Я показывал ему полученное мною в тот же день письмо от Л<юбавина> с приложением копии известной бумаги т<ак> н<азываемого> «Комитета» и копии с письма Л<юбавина> к Вам¹⁰. Когда он протянул руку, я заметил ему: «Не стоит терять на это времени: Вам, конечно, очень хорошо известно то, что Вы *сами же* писали Л<юбавину>»; затем я положил письма в карман. Письма эти видела у меня в руках М-ше Герцен в то время, когда я стоял у окна, дожидаясь Нечаева; я помню, еще она обратила внимание на странный заголовок Комитетской бумаги. Теперь я жалею, что я не предложил ей тогда прочитать этих писем: по крайней мере у меня был бы хотя один честный свидетель в объяснении с таким бесстыдным лжецом, как Нечаев. Впрочем, и Озеров, и его жена тоже видели эти письма, когда я получил их. Далее Нечаев говорит, будто я сказал: «Старик не выдержал, отдал письма, теперь он в *наших* руках: мы можем сделать с ним все; он против нас — ничего!» Я могу только пожать плечами, видя такую непроходимую бездну наглости. «Что за язык!» — воскликну я вместе с Вами. И почему это Нечаев воображает, что каждый человек, подобно ему, должен говорить про себя непременно «мы»? Смею его уверить, что, кроме его, только одни императоры выражаются так глупо! И почему Нечаев вообразил также себе, что все люди, подобно ему, только и думают что о том, как бы им держать других людей «в руках»? Еще раз смею уверить Нечаева, что это опять-таки императорская замашка; большинство порядочных людей хлопочет только о том, чтобы их самих никто «в руках» не держал. Поверьте, что это так, как ни удивительно покажется это Вам с непривычки!

Перебирая всю эту грязь, я никак не могу в конце концов понять некоторых вещей: я понимаю, что Нечаев, по несчастной привычке, мог наврать черт знает чего, это все еще довольно естественно, но как могли поверить всем этим выдумкам Вы, г. Бакунин? Положим, Вы меня не знаете; но все-таки до сих пор Вы не имели никаких данных считать меня лжецом и негодяем; Нечаев же — человек, уличенный во лжи при Ваших собственных глазах; и что же? Тем не менее Вы принимаете его показания без малейшего колебания, не потрудившись даже проверить их справедливости, и на основании подобных показаний делаете мне сцену! Согласитесь, что всякий должен считать такой образ действий по меньшей мере странным! Я не могу также пройти молчанием тот язык, которым написана вся эта часть Вашего письма, язык, который порядочные люди переваривают нелегко. Я извиняю Вам Ваш оскорбительный тон (смейтесь, если угодно) только потому, что если Вы искренно поверили выдумкам Нечаева, то Вы действительно имели полное право негодовать. Тем не менее я позволю себе думать, что Вы немного поспешили оскорблять меня. В своем ответе я стараюсь избегать обидных слов и выдерживать спокойный тон; но я должен сознаться, что мне вовсе не легко удерживать пикантные выражения и горькие выходки, непрерывно готовые сорваться с моего пера.

Изложив, таким образом, с полною основательностью главный сюжет, я постараюсь теперь ответить со всевозможною краткостью на остальные, более или менее важные пункты Вашего письма.

Вы спрашиваете: «И зачем это понадобились Л<юбавину> или мне эти письма? Неужели мы оба испорчены нравственно до такой степени, что допускаем возможность употребления этих писем во зло?» Гм!.. А скажите, пожалуйста, для чего бралась расписка с <Даниельсона>? И почему внизу на ней стоит *Ваше* имя? Неужели все это делалось так, ради шутки? Тогда все это просто глупо! А если это не шутка, то что это такое? Согласитесь, что подобные соображения могут навести иного человека на беспокойные размышления! Но я опять-таки скажу, что ни мои друзья не верят, чтобы *Вы* когда-нибудь могли злоупотребить этими письмами, хотя бы уже потому, что у *Вас* есть что терять. Но Нечаеву нечего терять: репутация, честь, доброе имя... всего этого у него нет уже давно. Неудивительно поэтому, что люди беспокоятся, узнав, что он может иметь какое-нибудь влияние на их интересы.

Вы рассказываете историю Ваших отношений к Л<юбавину> и другим моим знакомым, историю, совершенно подходящую к тому, что мне известно из их собственных писем и рассказов: я очень хорошо знаю, что не Вы подделывались к их миросозерцанию, а они некоторое время воображали, будто бы они разделяют Ваши взгляды. Я знаю это потому, что я первый хлопотал о разбитии их кумиров, которые казались мне ложными богами, истуканами на глиняных ногах. И если Нечаев уверяет Вас, будто бы я говорил об этом предмете что-нибудь другое, то он опять-таки безжалостно обманывает Вас. Что же делать, когда у человека такая несчастная привычка! Он лжет также, когда говорит, будто бы я рассказывал о каких-то денежных подачках, полученных Вами от Л<юбавина>, кроме тех 300 рублей, которые он *передал* Вам в задаток за Маркса. Я не мог говорить этого, потому что я никогда ничего подобного не слыхал. А вот про Нечаева я действительно слышал, будто бы он сам, или при посредстве какого-то приспешника, вымогал у Л<юбавина> 3000 р. на «дело». Но, во-первых, это только слух, а во-вторых, он относится не к Вам, а к Нечаеву, и мне очень прискорбно, что Нечаев так пугает адресы. Пожалуйста, не позволяйте ему подписывать адресов на «Колоколе»: он, наверное, переверт, и выйдет чепуха!

Теперь о переводе. Я бы был не прочь содействовать разрешению этого дела по предлагаемому Вами способу как в видах скорейшего окончания этой «соблазнительной» истории, так и в виду интересов Жуковского. Но вот беда: я давно уже не получал ничего от своих приятелей, а третьего дня явился ко мне «некто» и сообщил мне, что человек, на адрес которого я писал, арестован; что попало несколько моих писем, что узнал адрес, по которому писали обыкновенно мне; что, *вероятно*, некоторые письма, посланные по этому адресу, перехвачены, и именно те письма, в которых сообщались мне условия издателей. Таким образом, я сам сижу теперь, как рак на мели. Когда положение дел исправится, сообщу.

Вы ставите меня почему-то в одну компанию с Утиным¹¹, с которым я столько же близок, сколько и с Вами, и говорите, будто бы *мы* желаем во что бы то ни стало забросать Вас грязью. В защиту себя по этому поводу я опять-таки сошлюсь на Озерова, свидетельству которого Вы, надеюсь, дадите веру. Озеров может подтвердить Вам, что у меня очень просили Комитетскую бумагу и относящиеся к ней документы для некоторой цели¹². Я отказался дать эти вещи в руки кому бы то ни было без разрешения Л<юбавина>. Рассказывая Озерову об этом, я прибавил: я напишу Л<юбавину>, чтобы он ни за что не соглашался на это, так как я не желаю, чтобы такой честный человек, как Л<юбавин>, сделался орудием интриги и личной вражды. Как видите, Вы опять дали промах! Верьте: я никогда не захочу пачкать собственных рук в грязи только для того, чтобы иметь сомнительное удовольствие — кидать этою грязью в Вас.

Вы прочли Ваше письмо Огареву и Озерову, выбрав их, так сказать, секундантами в нашем объяснении. Озерова я знаю давно и с удовольствием принимаю его и как своего секунданта; вторым же секундантом с моей стороны позвольте мне предложить М-ле Герцен, которая в те немногие разы, когда я ее видел, показалась мне человеком честным и справедливым и на имя которой я посылаю это письмо. Итак, оно будет прочитано Вами в присутствии Огарева, Озерова и М-ле Герцен; если М-ле Озерова будет присутствовать при этом, то это не доставит мне ничего, кроме удовольствия. Я желаю также, чтобы это письмо было передано для прочтения Нечаеву, которому я Вас прошу сказать от меня, что я беру назад все данные мною обязательства, потому что для соблюдения обязательств требуется, чтобы *обе* стороны имели хотя некоторые самые элементарные понятия о чести и решились бы исполнять хотя какие-нибудь условия. Скажите ему, что отныне я буду считать себя обязанным предупреждать от какого бы то ни было столкновения с ним всякого человека, который хотя немного дорожит своим добрым именем.

Я считаю, что предмет исчерпан мною в моем письме с такою полнотою и обстоятельностью, что всякие дальнейшие прения по этому поводу я нахожу непроизводительною потерю времени, которого у меня немного; а всякую попытку дать мне нечто вроде очной ставки с Нечаевым, поставив меня таким образом на одну доску с таким человеком, как он, я сочту для себя личным оскорблением.

Вы говорите, что Вы не отдадите мне писем? Ваша святая воля! Сделайте милость, держите их; читайте их сами, читайте их своим друзьям — кому угодно!.. Делайте с ними, что хотите, воля Ваша!.. И поверьте, я не такой человек, который «дерзнул бы» богохульственно отвергать «священные права собственности».

В заключение позвольте мне сказать Вам, что я очень ценю Вашу сострадательность и Ваше доброе сердце, заставляющие Вас жалеть меня, но тем не менее я считаю нужным возвратить Вам обратно Ваши сожаления с присовокуплением моих собственных, которые, как кажется, придутся гораздо более кстати. Рассудите, в самом деле, сами: Ваше положение по отношению ко мне допускает только два объяснения, две альтернативы: или Вы обманываете меня, притворяясь, будто бы Вы поверили грубым, топорным выдумкам Нечаева; в таком случае — это нехорошо; или же Вы действительно были обмануты Нечаевым, и обмануты не в первый раз — это жалко! Выберите любое!

Л о п а т и н

Согласно Вашему желанию, я непременно прочту г. Лаврову и Ваше письмо, и мой ответ.

Я забыл сказать в своем месте, что Л(юбавин) не получал от Вас никакого ответа на свое последнее письмо, хотя он жил в Гейдельберге еще 2 1/2 недели после его отправки. Он сам пишет мне об этом; а Вы сами знаете, что это человек, физически неспособный солгать. Следует навести справки на почте¹³.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.41, с автографа ВН.

¹ Письмо Бакунина, на которое отвечает Лопатин, неизвестно.

² О взаимоотношениях Любавина и Бакунина в связи с переводом «Капитала» Маркса см. прим. 1 к п. 1 и вступит. статью.

³ Лопатин, бежавший из ссылки, приехал в Петербург в январе 1870 г.

⁴ Николай Францевич Даниельсон (псевд. Николай-он, 1844—1919) — участник революционного движения 1860—1870 гг., привлекался к суду по «нечаевскому делу». Закончил начатый Лопатиным перевод «Капитала». Расписка, выданная им Нечаеву в Москве о согласии участвовать в «Народной расправе», так и не была возвращена Нечаевым и, вероятно, находилась среди бумаг, сожженных Сажиным в 1872 г.

⁵ По «нечаевскому делу» привлекались два брата Лихутины, студенты Медико-хирургической академии. Старший, Иван Никитич, был приговорен к 1 1/2 годам заключения и находился потом под надзором; младший, Владимир Никитич, в 1871 г. умер в заключении. О каком из них идет здесь речь — неизвестно.

⁶ Имеется в виду угрожающее письмо Нечаева Любавину, посланное от имени Заграничного комитета «Народной расправы».

⁷ Озеровы — В. М. Озеров (см. прим. 2 к п. 21) и его жена Александра.

⁸ О Н. И. Жуковском см. прим. 32 к дневнику Н. А. Герцен.

⁹ Михаил Константинович Эллидин (ок. 1835—1908) — политический эмигрант с 1865 г., владелец типографии в Женеве, где печатался журнал «Народное дело».

¹⁰ Эти письма Любавина к Лопатицу и Бакунину неизвестны.

¹¹ Об Утине см. прим. 40 к дневнику Н. А. Герцен.

¹² Просил, несомненно, Утин или его товарищи по Русской секции Интернационала. 1 августа 1870 г., сообщая В. Мрочковскому, что Маркс переписывается с Утиным, Бакунин прибавлял: «Утин и Сопр(agne) собирают для него против меня документы для уничтожения меня» (Письма М. А. Бакунина, с. 298). Утин, В. Бартенев и А. Трусов почти в те же дни писали Марксу: «Итак, мы собираемся кратко формулировать наши обвинения против Бакунина и отправить их Вам на этой неделе. Правда, мы боимся, что Вам трудно будет судить о правильности наших утверждений без подтверждающих их подлинных документов, которые мы сохраняем для брошюры, но мы готовы прислать Вам также и их» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». М., 1947, с. 33). Впоследствии Марксу, как известно, удалось получить текст «комитетской бумаги» от самого Любавина (см. его письмо Марксу от 8/20 августа 1872 г. — «Лит. наследство», т. 41-42, с. 157—158).

¹³ Письмо Бакунина к Любавину, о котором идет речь, Нечаев взял у Бакунина, обещав оправдать, но обманул его и оставил у себя (см. п. 43). При письме была и расписка Бакунина в получении аванса за перевод «Капитала». Это дало основание Любавину и Лопатицу обвинять Бакунина во лжи.

Н. А. Герцен — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 27 мая 1870

Ну, отличились Вы! Не думала я, что Вы умеете писать такие письма, как то, которое Вы написали Наталье Алексеевне ¹. Умеете и быть учтивым, и льстить, так что просто прелесть!

Насчет ваших замечаний, повторяю, что многие из них справедливы, а справедливые замечания и упреки меня не сердят. Не слова ваши меня сердили, Вы это очень хорошо знаете, а ваши дикие, деспотические манеры. К чему Вы мне повторяете, что жизнь моя никому не нужна и т. д., я Вам на это уже отвечала, так для чего же Вы трогаете [. . .] *. До сих пор я ничего не делала для других, ведь это не значит, что никогда делать не буду. Грабежа и обмана я могла бояться только с вашей стороны, зная ваш иезуитизм, это тоже совсем не значит, что я «богатая наследница, ежеминутно боящаяся грабежа и обмана на каждом шагу и от всех», как Вы изволите выражаться. Это относилось только к Вам и Б(акунину), да и Вас-то я не боялась, а мне было просто [. . .]** и возмутительно смотреть на Вас по временам, когда я принимала все ваши действия за разные фокусы, чтобы добиться до «моих копеек» или чтобы делать со мной все, что хотелось, как с куклой.

Если Наталья Алексеевна говорила обо мне с сожалением, то это под впечатлением воспоминаний о болезни, но я уверена, что она никогда презрительно или полупрезрительно не могла говорить и не говорила обо мне, вам могло это казаться, но мало ли что кажется.

Вы совсем не понимаете наших отношений. Если она иногда имела влияние на меня, то не раз и я влияла на ее образ действий или на ее взгляд, а это было бы невозможно, если б она меня презирала или бы обращалась бы со мной, как с «пустой дудкой». Насчет второго переодевания, мне самой далеко не хотелось повторять эту комедию; согласилась я исключительно потому, что думала, что Н(аталья) А(лексеевна) это будет менее неприятно, чем другое ваше предложение, а когда увидела, что она предпочитает последнее, я просто обрадовалась, что не придется с Вами выходить ². Совсем я не сконфузилась, говоря с Н(атальей) А(лексеевной), а стала ее успокаивать и говорить, что все устрою. Ну и устроила и этим удовлетворила ее и себя, Вам же было равнодушно. К чему Вы мне это пересказываете? Хотите испортить наши отношения, т. е. между Н(атальей) А(лексеевной) и мной? Предсказываю Вам, что ни Вам, ни другим не удастся, я слишком хорошо знаю ее, знаю ее недостатки, но, с тем вместе, умею ценить ее хорошие стороны.

Отчего Вы не защищали Б(акунина), когда она на него нападала? Хороший Вы друг! Если она опять заговорит о нем и о том, что он слишком скоро, после моей болезни, меня втянул или хотел втянуть в ваш карбонаризм ³, я ей скажу, что не он главный виновник, а Вы и что Вы, может быть, знали больше всех других о моем состоянии. Достаточно кричат против бедного Б(акунина), нечего выдумывать или прибавлять, даже молчание с вашей стороны нехорошо. Н(аталья) А(лексеевна) и не предполагает, что Вы во всем этом были гораздо деятельнее Б(акунина).

Теперь он в Берне, хлопочет о Нечаеве и Серебренникове; последний будет к нам ходить — брать уроки французского языка. Письма должны все отдаваться Ц(ампер)ни, а не мне, это может обратить внимание. Англия Вас ждет с нетерпением, торопитесь; лучший путь по Средиземному морю. Не пишите прямо на мой адрес. Отдавайте все Константину ⁴.

Будьте здоровы.

* Далее вычеркнуто несколько нечитаемых слов.— *Ред.*

** Слово зачеркнуто и не читается.— *Ред.*

Письмо, посланное Вами по почте, я получила гораздо раньше той записочки, Вчера вечером был Ц(амперини), угостил длинным, живым и подробным рассказом о путешествии, помещении и т. д.

Н(аталья) Алексеевна благодарит за письмо (есть ли в нем хоть одно искреннее слово) и за любезности, поручения исполнит.

Получена брошюрка: «А. И. Герцен. Несколько слов от Русского к Русским»⁵. Я еще не читала. Сегодня получила. <. . .> * да не путайте отношений *. Перестаньте верить в силы «пустой дудки»⁶.

¹ Это письмо неизвестно.

² О переодевании см. прим. 2 к п. 33.

³ Мысль эта прочно укоренилась в сознании Н. А. Тучковой-Огаревой; более чем через 20 лет, в воспоминаниях 1894 г., она писала: «Бакунин и Огарев знали о недавней болезни Наташи. <. . .> Тем не менее эти господа решились со странной необдуманностью вовлечь ее в революционные бредни их партии» (Архив Огаревых, с. 268). В письме от 8 апреля 1893 г. она писала Е. С. Некрасовой, имея в виду свою жизнь с Н. А. Герцен в 1870 г. в Женеве: «Тут немало было хлопот, чтоб спасти ее: со слабой головой, после помешательства, в котором ей представлялась все революция, ее Бакунин придумал посылать в горы с революционными поручениями, ее завлекали, чтоб воспользоваться для революционных соображений, планов ее наследством. Наконец мне удалось убедить ее оставить это дело» (ГБЛ, ф. 196, 18.18, л. 31).

⁴ Константин Баральдини, у которого Нечаев укрывался в горах (см. его адрес в п. 32). Возможно, это тот самый молодой итальянец, который сопровождал Нечаева к Гильому в июле 1870 г., после его разрыва с Бакуниным и Огаревым (см. вступит. статью).

⁵ Брошюра «А. И. Герцен. Несколько слов от русского к русским», изданная анонимно в 1870 г. без указания места издания, по убедительной атрибуции ее Б. П. Козьминым, принадлежала перу публициста В. А. Зайцева, сотрудника «Русского слова», в 1869 г. ставшего эмигрантом (см.: Б. П. К о з ь м и н. Анонимная брошюра о Герцене 1870 г.— «Лит. наследство», т. 41-42, с. 164—177).

⁶ Выше Н. А. Герцен упоминает об утверждении Нечаева, что Н. А. Тучкова-Огарева обращается с ней, как с «пустой дудкой»: вероятно, аллюзия к известной сцене из «Гамлета», где Гамлет спрашивает Гильденстерна: «...или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?»

36

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

<Монтей.> Пятница, утро. 27 мая <18>70.

Писем от вас нет. Ждал вчера и жду сегодня, понимаете, с каким нетерпением. Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называют одним из прекраснейших в стране; и в самом деле здесь совмещены всевозможные *так называемые* красоты природы. Для поэта, для художника здесь, я думаю, — раздолье. Для меня — мука. Сколько я ни заставлял себя восхищаться закатами и восходами солнца, ничего не выходит. Все кажется глупо, бессмысленно. Кругом горы, леса, ручьи, долины, овраги и прочие прелести природы, которыми я не умею наслаждаться и которые только тоску на душу наводят, да еще какую тоску!

Из головы не выходите *вы*: что-то думает она теперь? Что у ней в голове? Что будет отвечать? Припоминаю все наши разговоры и чем более вдумываюсь в них, тем более и более недоволен собой. Да, я был слишком крут, слишком резок с вами; я именно запугал вас, никогда не встречавшую ничего подобного. Вас многое удивляло во мне, многое возмущало. Вы слишком нежное и молодое растение, еще только начинающее распускаться. Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью, с несдерживаемой прямоотой. Вы так привыкли к салонной искусственности, к светской натянутости отношений, что вас, на первых порах, отталкивало от меня только потому, что я заходил за пределы приличий (которые и вы сами в теории признаете глупыми).

Но теперь, кажется, вы привыкли ко мне, вы уже менее стесняетесь свободной речью и не оскорбляетесь проявлениями глубокой, разумной привязанности. Вы понимаете сущность вопроса, имеющего такую громадную важность для меня и для вас. Вы находитесь накануне разрешения жизненной задачи. И я верю те-



ШВЕЙЦАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Гравюра братьев Руарг, 1860

Из альбома: Xavier de Marmier. Voyage en Suisse. Paris, 1862

«Для поэта, для художника здесь, я думаю, раздолье. Для меня — мука (...). Кругом горы, леса, ручьи, долины, овраги и прочие прелести природы, которыми я не умею наслаждаться» (Нечаев — Н. А. Герцен)

перь, больше чем когда-либо, что вы не останетесь в спячке, не останетесь в детской зависимости, а выступите на свободную, разумную жизнь. Я верю в истину своих убеждений, верю в то, что они возьмут верх. Уверенность в вас у меня так глубока, что я не колебался даже в те минуты, когда вы (от непониманий и необдуманности или под влиянием окружающего), казалось, ненавидели меня, когда вы готовы были оторваться от меня.

Повторяю, я был бы слишком слаб, слишком бесхарактерен, если б сомневался в возможности для вас выхода из вашего зависимого положения, из бесцельного жизненного прозябания.

Не думаю, чтоб нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас *настоящей женщиной*. Причина страстной неотступности для вас ясна. Я вас люблю.

Пишите больше, пишите, пишите все, что на душе. Как получу письмо от вас пишу еще.

Если С<еребреннику>ву понадобятся деньги, — дайте.

37

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

⟨Монтей.⟩ Понедельник, утро. ⟨30 мая 1870⟩ *

Я послал вам три письма и телеграмму вчера ¹ — ни строчки в ответ ни от вас ни от кого-либо из женеvцев. Что случилось? Я теряюсь в предположениях! Ведь не полиция же перехватывает письма? Или у вас что-нибудь особенно важное поделалось (тогда-то и надобно бы поскорей уведомить), или наш знаменитый конспиратор Ц<ампери>ни запугал вас и уговорил посылать письма только чере

* На письме помета Н. А. Герцен: получено 31-ого мая 1870.

него, а сам клал их в карман и все, вероятно, ждет оказию. Умен? Вероятней, кажется, последнее. Но ведь я в первом письме сообщил вам свой адрес. Чего же вы боитесь? Я здесь прямо из Германии письма получаю.

В глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился с тоски. Так долго не вынесешь! Я уже порываюсь прискакать в Женеву. А как я жду писем от вас!..

Как бы хотелось мне вас видеть. Имею многое сказать и спросить. Я пробуду здесь еще недели две. Из Р<оссии> очень дурные известия, определяющие мое положение в будущем. Вот об этом-то и надо с вами потолковать, потому что очень важно для меня и для дела, как вы отнесетесь к моему предложению.

Соберитесь сюда погулять. Это не так далеко, как Локль. Всего 6-ть часов езды от Женевы. Уж как бы я был вам рад. Здесь в горах в моем распоряжении целый отель. Приезжайте же, прошу вас *как друга*, только, пожалуйста, без унижительного выпрашивания позволения. Мне тяжело и больно делается при мысли об этом. Ведь вы уже доказали, что можете ездить самостоятельно, не объясняя куда.

Итак, верую в вашу решимость и жду вас! Это письмо принесут вам завтра поутру (вторник), вы, прочитав его, телеграфируйте: «Je viendrai ce soir. *Vilson*» * на адрес: Mr Baraldini à *Monthey* — и отправляйтесь поездом в 12 часов, т. е. в полдень, в *Monthey* по сенморисской дороге. Я буду ждать вас завтра, т. е. во вторник, вечером *près de la gare* **

Только, пожалуйста, никому не говорите.

Кстати Ц<ампери>ни должен приехать на неделе. Если успеете видеть его, то объяснитесь с ним. Скажите, что хотите ехать сами, имеете надобность; заберите от него все поручения и велите молчать и не говорить даже Н<аталье> Алексеевне (что она?). Если Ц<ампери>ни станет отговаривать, — не слушайте, скажите «необходимо» и все-таки приезжайте.

О, с каким нетерпением буду ждать вашей телеграммы. Ах, какая тоска.

Ради «дела», ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не отнеситесь к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много было у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрением самое чистое, высокое человеческое чувство. Приезжайте ко мне как старый товарищ, как дорогой друг, с полным доверием. От этого разговора с вами зависит очень многое. Если для вас ясно, что я имею некоторое значение для дела, то еще ясней, как много значит *вы* для меня. Одним словом, от вас зависит, чтоб я в 10 раз был сильнее или слабей, чем я есть. Объяснение слишком важно и необходимо. Не заставляйте меня ехать в Женеву, когда вы можете прибыть сюда. Жду вашей телеграммы и надеюсь, что слово прямое отзовется у вас на душе.

Захватите папиросок и русские газеты, если в них что есть *относящееся*.

¹ Эти письма и телеграммы неизвестны.

Пожалуйста, не беспокойтесь. Все ваши письма, их четыре и две телеграммы, получены. Ответ на первое письмо ваше я отдала Ц<амперини> в пятницу вечером ¹; очень странно, что вы до сих пор не получили, должно быть, их, в самом деле, посылает только по оказии.

Ехать к вам я и не думаю, работать в одном деле с вами никогда не буду. Видеться нам совсем не нужно. Поезжайте в Англию, в Америку, живите там, пока вас не забудут.

* «приеду сегодня вечером. Вильсон» (*франц.*).

** у вокзала (*франц.*).

Искренно желаю, чтоб вы как можно скорее пришли к убеждению, что так относиться к людям, как вы это делаете, невозможно, не возбуждая в них недоверия, которое легко переходит в негодование, или ненависть, или все это вместе.

Ваши вещи здесь, что с ними делать?

Если вы будете постоянно употреблять мой адрес, это может обратить внимание, тем хуже для вас. Тот путь медленнее, но зато вернее.

Получили вы письмо <от> 27-ого мая?

Если не получили, виноват Ц<амперини>.

Н. Г.

Телеграфировать вам, я считала, совсем не нужно и не осторожно.

¹ См. п. 35.

39

С. Г. Нечаев — Н. А. Тучковой-Огаревой

<Конец мая 1870 г.> *

Многоуважаемая Наталья Алексеевна,

Прошу вас передать возможно скорей прилагаемое по адресам.

Только сейчас, по прошествии 9 дней, я получил письма из Женевы; в продолжение этого времени я ждал, писал несколько раз и не мог понять причины общего молчания. Вчера думал, было, отправиться сам. Мог ли я думать, что причиной всему почтеннейший квазиконспиратор Ц<амперини>, удерживавший все письма в своем кармане в ожидании наивернейшей okazji, не думая о том, что в письмах могли быть очень нужные известия (как и оказалось). Ну, уж спасибо ему — удружил! С подобного рода осторожностью можно навлечь ужасные последствия.

В письме к вам (не знаю, получено ли вами оно) я просил похлопотать насчет моего чемодана. Разыскали ли его и находится ли он у вас? Я до сих пор не знаю и весьма беспокоюсь. Потрудитесь написать несколько строчек о сем предмете. Адрес мой известен Наталье Александровне, которая была тоже так удивительно осторожна, что до сих пор тоже не написала ответа на мои письма. Не зная, здорова ли она, не уехала ли, я обращаюсь теперь к Вам.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.48, с автографа ВП.

40

А. Д. Трусков — С. Марковичу ¹

31 мая 1870. Женева, Montbrillant, 8

Любезный Маркович,

В свое время мы получили через вас письмо от некоторых из русских студентов, проживающих в Цюрихе.

Зная хорошо наши социально-революционные принципы и вытекающее из них отношение ко всяким правительственным властям, Вы, конечно, могли заранее предвидеть, что мы не можем протестовать перед Швейцарским федеральным советом против поведения русского правительства, потому что вы, точно так же, как и мы, знаете, что Федеральный совет — вполне достойный собрат русского шпионства и обращаться к нему с протестом значило бы оказывать ему то доверие, которого наша партия никаким образом не допускает.

Кроме того, мы полагаем, что, имея вполне основательные сведения из России о попытках Нечаева, точно так же, как и о всех проделках Бакунина, мы поступаем вполне основательно, отказываясь от какой бы то ни было солидарности с этими людьми. Поэтому-то мы и не могли даже идти на собрание эмигрантов, которое вздумали устраивать некоторые господа ².

Целые годы добивались мы установления солидарности в русской эмиграции, но все усилия наши по этому предмету были безуспешны. Вследствие этого мы

* На письме помета Н. А. Герцен: Получено 1 июня 1870.

решили не считать себя более ни представителями, ни членами так называемой русской эмиграции: там, где нет внутренней солидарной связи во имя общего понимания, общих интересов, там одна форма, одно наименование ничего не делает.

Теперь, находясь в связи с людьми, работающими в России, мы считаем себя здесь не более как агентами организации русской радикальной партии; поэтому и в своих действиях мы можем поступать только как члены организованной партии и вместе с тем как члены входящей в состав этой партии Русской секции Интернациональной Ассоциации. Наша принадлежность к этой Ассоциации сама собою указывает, как должны мы относиться, с одной стороны, ко всем правительствам, с другой стороны, к интриганам, для которых дорого их личное тщеславие, а не дело народного освобождения. Мы говорим это о Бакуanine и его немногих приверженцах. Понятно поэтому, что мы не могли присутствовать на собрании, на котором мог быть Бакунин и Огарев, ни думать о каком-нибудь солидарном заявлении с ними.

Для вашего сведения прибавляем, что относительно Нечаева мы готовы были сделать все, что *практическим* образом могло спасти его: мы неоднократно предлагали ему средства и пути к безопасному выходу из Швейцарии для переезда в Лондон.

Мы не станем теперь распространяться о самом обращении к нам цюрихских студентов; они сами, конечно, уже поняли, что с их стороны было неосновательно писать следующее: так как вы ссоритесь в эмиграции, то мы знать не хотим никакого вашего дела, оно не может быть полезно для России! ³

Мы же полагаем, что, во 1-х, следовало бы выяснить себе — в чем причина ссоры? Во 2-х, следовало бы все же *ознакомиться с делом* для того, чтоб убедиться — действительно ли серьезные люди, желающие содействовать русскому освобождению, могут отворачиваться от дела, которому мы служим; в 3-х, из ознакомления с нашим делом серьезные люди убедились бы, что никакого *нашего* дела здесь нет, а есть *общее* дело, которое нисколько не страдает, а, напротив, выигрывает оттого, что отстраняет от себя шарлатанов.

Мы готовы всегда выслушивать и пользоваться всякой критикой, всякими поправками, всякими возражениями и разъяснениями по общему делу — это наша обязанность; но, в свою очередь, мы можем требовать, чтобы люди, обращающиеся к нам, исполняли свою обязанность, т. е. знали бы и вникали бы в то дело и в те отношения, о которых они говорят.

Зная нас лично, вы, конечно, уверены в том, что мы нисколько не в претензии на некоторую странность сделанного обращения к нам. Напротив, мы рады тому, что цюрихские студенты высказали *готовность* участвовать в общем деле, — это для нас самый важный пункт из всего их письма, и в ответ на него мы готовы даже предложить, чрез ваше посредничество, устройство в Цюрихе *общей сходки*, на которую явятся и наши делегаты. Эта сходка между нами (от «Народного дела» и от Русской секции) и цюрихскими студентами (мужчинами и женщинами без всякого различия, конечно) могла бы повести к общему выяснению и договору. Если вы думаете, что это может быть полезно и удобно, уведомьте нас.

Теперь же просим вас обратить внимание на посылаемое вам прибавление к № 3 ⁴. История ареста С. Серебренникова вам известна; мы полагаем, что в этом случае можно действительно проучить швейцарскую полицию, и потому мы охотно взялись содействовать Серебренникову в его процессе. Но для начала его требуется 500 фр. немедленно (залог).

Будьте добры созвать тотчас же цюрихских студентов, объяснить им дело и попросить их о помощи. Теперь представляется случай чрезвычайно важный, в котором они могут засвидетельствовать свою действительную готовность помогать положению здесь *политических* изгнанников.

Ждем вашего ответа телеграммой: «recevrez 2 fr.» или «refusé» *. Одно из двух.

* «получите 2 фр.» или «отказано» (франц.).

Дело не терпит отлагательства, и мы, согласно с Серебренниковым, решились обратиться в Цюрих при вашем посредстве.

За Редакционный совет секретарь

Антон Т р у с о в

31 мая 1870 года.

Р. S. Если сочтете нужным и полезным, то просим прочесть это письмо студентам.

Прилагаем 10 номеров квитанций кассы «Народного дела» с дубликатами; последние возвратите нам с деньгами. На квитанциях должна быть обозначена приписка о назначении присылаемых денег. Фамилии жертвователей не ставятся, но одни литеры.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.55, с автографа ВП.

¹ Антон Данилович Трусов — участник польского восстания 1863 г., член Русской секции I Интернационала, секретарь редакции «Народного дела»; Светозар Маркович (1846—1875) — сербский революционный демократ, публицист, агент-корреспондент Русской секции I Интернационала. В 1869—1870 гг. учился в Цюрихе.

² Речь идет об упоминавшемся уже собрании русских революционных эмигрантов 7 мая 1870 г. Секретный агент Горлов доносил в Петербург, что «сотрудники „Народного дела“ наотрез отказались принять участие в какой бы то ни было подписке протеста потому именно, чтобы не встречаться с Бакуниным и его компанией» (цит. по кн.: Ю. М. Рапорт. Из истории связей русских революционеров с основоположниками научного социализма. М., 1960, с. 28).

³ Текст обращения цюрихских студентов в редакцию «Народного дела» неизвестен. О составе русских студентов, учившихся в Цюрихе в 1870 г. и участвовавших, следовательно, в этом собрании, см.: J. M. Meijer. Knowledge and Revolution. The Russian Colony in Zürich 1870—1873. A Contribution to the Study of Russian Populism. Assen, 1955, p. 210.

⁴ В № 3 «Народного дела» от 31 мая 1870 г. сообщалось о скором появлении в свет «Прибавления» к этому номеру, посвященного аресту С. Серебренникова. Текст «Прибавления» неизвестен.

41

Г. А. Лопатин — Н. А. Герцен

Париж, 1 июня <18>70.

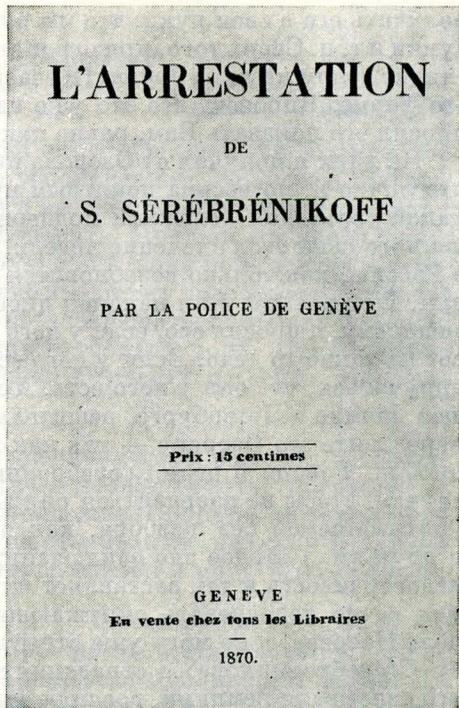
Я представлял себе много самых различных исходов, могущих последовать за моим письмом, но ни разу не сообразил возможности именно того исхода, который случился на самом деле и которого между тем так легко было ожидать¹. Я, право, и сам нахожусь в некотором недоумении относительно того, что теперь делать. Полагаю, что единственная вещь, которую можно сделать, это переслать мое письмо Б<акунину> по почте. Только, предварительно, я попрошу Вас дать его прочесть Огареву и Озеровым. Таким образом ему будет придана некоторая публичность, хотя, конечно, совсем не в таком роде, как я рассчитывал сначала. Но, во всяком случае, и Б<акунин>, и Н<ечаев> будут знать, что это дело не осталось «между нами» и что есть люди, в присутствии которых они не могут говорить об этом деле все, что им угодно... Посылая мое письмо к Б<акунину>, Вы попросите его по прочтении переслать это письмо к Н<ечаеву>: я не решаюсь принять Вашего любезного предложения — переписать мое письмо и переписанный экземпляр переслать Н<ечаеву> — это значило бы слишком злоупотреблять Вашею доброотою; хотя, по многим причинам, такой способ передачи письма Н<ечаеву> был бы, без сомнения, лучше, чем пересылка его чрез посредство Б<акунина>. Было бы скучно объяснять подробно все причины, на основании которых я не пожелал долее откладывать своего отъезда; расчеты мои не оправдались: я не нашел в Париже того, что мне было нужно, и теперь я сам жалею, что не остался в Женеве еще на один день, хотя я нисколько не сомневаюсь, что если бы я даже и остался в Женеве и объяснился лично с Б<акуниным>, то я все-таки не получил бы ничего, кроме неопределенных обещаний, как это уже испытано мною по делу о расписке <Даниельсона>. Единственная выгода состояла бы в том, что Н<ечаев> в моем присутствии не решился бы пустить в ход своей наглай выдумки.

Вы пишете: «трудно разобрать, кто тут играет комедию; однако ясно, что Б<акунина> обманывают». К сожалению, я должен сознаться, что для меня даже и это

не ясно. Я повторяю: удивление, которое выказал Б<акунин>, узнав впервые про выдумки Н<ечаева>, показалось мне более чем натянутым; далее: нельзя отрицать что поверить выдумке Н<ечаева> в данном случае для Б<акунина> *очень выгодно*, потому что это дает ему возможность вернуться более или менее ловко из чрезвычайно щекотливого положения; наконец, мне известны *доказанные* случаи, где Б<акунин> *сознательно обманывал* некоторых из моих друзей; все это если и не дает мне права *положительно утверждать* солидарность Б<акунина> и Н<ечаева> в последнем деле, то по крайней мере дает мне право *сильно сомневаться* в искренности Б<акунина> в данном случае.

Посылаю Вам знаменитую бумагу не менее знаменитого «Комитета»² и также письмо Л<юбавина> к Б<акунину>, писанное в ответ на эту бумагу³ (и то и другое — копии). Все эти вещи я попрошу Вас возвратить мне вместе с письмом Б<акунина>. Это и есть те самые письма, которые, по уверению Н<ечаева>, я ему показывал. Вы сами, конечно, согласитесь, что письмо Л<юбавина>, несмотря на то что оно написано несколько грубо, все-таки заслуживало какого-нибудь ответа, хотя бы уже потому, что бросало в лицо человеку довольно тяжелое обвинение. Б<акунин> говорил, что он отвечал на него и даже послал Л<юбавину> какую-то расписку; но я могу Вас уверить, что Л<юбавин> до сих пор не получил ни этого ответа, ни этой расписки. А между тем пропажа писем на заграничных почтах — случай довольно редкий⁴. Развязка дела, даже в изложении самого Б<акунина>, кажется странною. Он пишет, что, получив такое оскорбительное письмо от Л<юбавина>, он, конечно, не счел для себя возможным продолжать далее взятую на себя работу. Почему же? Работа была дана П<оляковым>⁵, а не Л<юбавиным>, который был только простым посредником. Б<акунин> мог просто сказать П<олякову>, что он желает, чтобы посредником между ними был с этого времени другой человек; вот и все. А то он разрывает контракт с П<оляковым> за оскорбление, нанесенное Л<юбавиным>! Где же логика? Истинное объяснение дела состоит в том, что *фактически* он бросил работу гораздо раньше оскорбительного письма Л<юбавина> и что вся эта история вышла, собственно говоря, вследствие понудительных писем Л<юбавина>, в которых он спрашивал Б<акунина>: когда же он пришлет наконец продолжение перевода?

Я с удивлением прочитал пересланную мне Озеровым последнюю редакцию «протеста»: при мне не было и речи о *подобной* редакции, или, лучше сказать, за нее был только один Огарев, который, вместе с дюрихскими студентами, желал, чтобы мы протестовали против *клевет* русского правительства. Редакция составлена умно, и желающие могут позволить понимать ее так, что *клеветою* мы называем *отрицание политического характера* в убийстве, совершенном Н<ечаевым> (хотя правительство и не думает отрицать тут политических мотивов). Но все непосвященные несомненно поймут эту редакцию таким образом, что мы называем *клеветою* обвинение в убийстве, взведенное правительством на Н<ечаева>, чтобы



«АРЕСТ С. СЕРЕБРЕННИКОВА ЖЕНЕВСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ»

Анонимная брошюра (на французском языке)

Женева, 1870

Титульный лист

Брошюра написана Серебрянниковым при участии Огарева

получить его в свои руки; что мы ручаемся *честью* в том, что это все злостные выдумки и т. п. Сверх того, при ограниченном числе лиц, подписавших протест, он выглядит делом кружка *друзей* Нечаева). Вот почему я против протеста в последней его форме. Впрочем, все это уже изложено мною в письме к Озерову, которое я просил его показать Вам, равно как и всем другим лицам, подписавшим протест⁶.

На днях я получил от Озерова письмо по делу Серебренникова. Я отвечал ему, что лично я, по весьма понятным причинам, не могу доставить в этом случае никакой серьезной денежной поддержки: я могу дать несколько франков, урезав немного свой стол в течение недели, двух; но и только. Но я обещал ему написать в Россию, как только возобновится моя насильственно прерванная корреспонденция. Вчера я получил наконец письмо от одного из своих старых приятелей. Отвечая ему, я просил его, если у него есть деньги, прислать мне франков полтора ста вот на такое-то дело. Если у него есть деньги, он, конечно, пришлет; но я не могу поручиться, что они у него есть. А сборы с разных лиц, по подписке, при настоящей панике в Петербурге, решительно невозможны. Вы меня очень обяжете, если передадите это Озерову — так как мне и некогда, да и не хочется писать особого письма. Говоря о деле С<еребренникова>, я не могу пропустить этого удобного случая, чтобы не разразиться опять целою тирадою о вреде лжи в политике, лжи, употребляемой без разбора, как по отношению к врагам, так и по отношению к друзьям. Главное зло заключается, по-моему, в том, что она поселяет в людях недоверчивость и тем заставляет их страдать; потому что нет ничего мучительнее, как вечно подозревать окружающих вас людей. Вот, например, обжегшись на деле Нечаева, я не могу уже отнестись с полным, беззаветным доверием к рассказу С<еребренникова> о страданиях, претерпенных им в Женевской тюрьме, где его связывали ремнями, грозили ему револьвером и пр.⁷ Ничего подобного не случилось мне видеть даже в России. Я буду ужасно рад, когда следствие подтвердит все это, потому что, повторяю, подобные сомнения в правдивости окружающих вас людей — нестерпимо мучительны! До сих пор недоверчивость была болезнью, свойственною одним только богатым; страдания, причиняемые этой болезнью, уравнивали отчасти избыток у них наслаждений материальных; мы же, бедняки, наслаждались постоянно полным миром и ясностью души. Вдруг теперь и на нас идет эта чума! Избави бог!

В заключение позвольте мне поблагодарить Вас за готовность, с которою Вы взяли исполнить мою просьбу, хотя обстоятельства и не позволили Вам выполнить ее так, как бы мне того хотелось. Я был бы очень рад, если б мог когда-нибудь быть в свою очередь Вам полезен.

Л о п а т и н

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 25.8, л. 3—8, с автографа ВП.

¹ Как видно из письма Лопатина Бакунину от 26 мая (п. 34), он пересылал его через Н. А. Герцен с просьбой, чтобы Бакунин прочитал его в присутствии ее, Нечаева, Огарева и Озерова. Но к моменту, когда это письмо достигло Женевы, там не было уже ни Бакунина, ни Нечаева.

² Письмо «Комитета» к Н. Н. Любавину см.: «Лит. наследство», т. 41-42, с. 155—156.

³ Письмо Любавина к Бакунину неизвестно.

⁴ См. об этом прим. 13 к п. 34.

⁵ Николай Петрович Поляков (1843—1905) — книгоиздатель конца 1860-х — начала 1870-х годов и книготорговец (о нем и его участии в издании русского перевода «Капитала» см.: И. С. Кн и ж н и к - В е т р о в. Издатель-демократ 60-х годов XIX века Н. П. Поляков. — Сб. «Книга», 1963, № 8).

⁶ Обсуждение именно этой редакции протеста русских революционных эмигрантов против выдачи Нечаева отразилось в памятной записи Н. А. Герцен (см. п. 31).

⁷ Рассказ С. И. Серебренникова об его аресте (автограф ГБЛ, ф. 69, 15.4) был переведен на французский язык Огаревым (доказывающий это фрагмент черновика перевода рукою Огарева см.: ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 550) и издан в июле 1870 г. отдельной брошюрой под заглавием «L'arrestation de S. Sérébrénikoff par la police de Genève» (текст ее см.: АВ, т. IV, р. 337—346).

С. И. Серебrenников — С. Г. Нечаеву

〈Женева.〉 2 июня 1870

На днях получил одно за другим три письма от...¹ Он вне себя, боится, что его расписка захвачена. Единственное средство успокоить его — показать. Пришли немедленно. Оттуда² приедет (обещался) мой и его земляк и приятель, на днях только приехавший в Европу, — ему он может поверить. Пришли же немедленно. Иначе он наверное застрянет в Европе на несколько лет, пока не убедится в успокоении — средства жить здесь в свое удовольствие имеются у него богатые, ст〈ало〉 быть, ничего не может заставить его рискованно возвращаться. Между тем, как я говорил, он склонен был остаться здесь никак не больше года. Присылай же немедленно, я должен отвечать ему. Иначе я должен согласиться с его благоразумным решением.

Ф〈онд〉 получен предстаит〈елем〉 Ком〈итета〉. Почему же он не может дать квитанции от себя, которая только в крайн〈ем〉 случае м〈ожет〉 б〈ыть〉 предъявлена для очищения от гнусной лжи человека, который всю жизнь борется за освобождение масс?³ Все соображения и доводы против шиты белыми нитками и крайне наивны. К чему это? Впрочем, что считал полезным, сделал и могу быть спокоен. Другие думают иначе — их дело!

Если бы собрался — была бы глупая неосторожность⁴. Или хочется прокатиться за казенный счет к черту на кулички?! Процесс и публикация делает их злейшими врагами, а у них ведь — можно допустить — есть средства, чтобы мстить безнаказанно! Уже спрашивали: зачем был в городе?

Процесс начнется в пятницу. Адвокат советовал отложить публикацию до начала процесса. Печатание уже начато⁵. В этом скандале интересы всех сливаются — все по-своему хлопочут. Я без языка — изображаю только мебель.

А что это за письмо, посланное какому-то издателю по поводу книги Карла Маркса?⁶ Ведь если правда — как смотреть на подобную услугу, оказываемую своим друзьям? Кому это может больше принести вреда: делу ли народной свободы или врагам этого дела? Где живут «защитники» народной свободы: в облаках или на земле? Есть у них способность видеть что-нибудь? Должны помнить крыловскую басню «Пустынный и медведь»!

Что ж относит〈ельно〉 Сажина?⁷ Явится сюда и останется без средств, а найдет ли хоть какой-нибудь работы — вещь сомнительная. Вероятно, и на переездку пришлось взять у людей с условием возвратить. Совсем говно!

Что же относ〈ительно〉 средств на издание нового Колокола? Ф〈онд〉а хватит на несколько месяцев только на набор, бумагу, печатание; а чем жить будет Б〈акунин〉 во время работы? Чем другие, которым придется тоже работать только для Колокола? Квартира и пр.? Должен же знать об этом еще кто-нибудь и быть уверенным, что все обеспечено.

Б〈акунин〉* не намерен ни на йоту уступить из предложенных им условий и ждет положительного ответа; возьмется за дело не иначе, когда все будет обеспечено вполне. «Он слишком стар, чтоб играть»⁸. Мое мнение — он немножко поздно хватился: по отношению к Ком〈итету〉 он делал только выпляску до сих пор, в благодарность за это он оляпан врагами; но лучше поздно, чем никогда! Это урок ему на старости лет и предостережение другим.

Наконец, я сам должен знать, каково настоящее положение относительно этого проектированного издания, которому я так легкомысленно — каюсь в этом — обещал, впрочем под условием крайней необходимости, свое содействие. Руководясь в своей жизни исключительно пользой для народного дела, я — опять каюсь —

* Получено уже другое письмо.— *Прим. С. Серебrenникова.*

легкомысленно и необдуманно, поверивши на слово, приехал во второй раз в Женеву. Всегда и везде, это знают другие лучше меня самого, я относился прямо к делу и к людям и до сих пор убежден, что такое отношение всего полезнее для дела. Не надевать ни других, ни себя; против врагов «Дела», а не личных искать прямые, надежные средства; увеличивать число защитников справедливого дела прямым — единственным путем, чтобы такие люди становились сознательно на сторону этого дела, — иначе они будут только связывать и мешать; словом, я не признаю систему интриг. Я не признаю опеки, хочу, чтобы она была уничтожена. Моя обязанность была отказаться прежде всего самому от всякой опеки, в чем бы она ни проявлялась. Людям надо доставлять возможность сознательно убедиться во вредности опеки для блага всех, а не сменять одной опеки на другую, не перемывать только ярлыки.

Итак, относительного проектированного издания я должен возможно скорее знать, как стоит дело, и иметь гарантию не в словах только, т. е. дальнейшее обеспечение издания и работников должно быть отнюдь не меньше гарантировано, чем существующий фонд на печать, etc.

Я потерпел расстройство в своем личном существовании и в своих личных занятиях; для того чтобы сколько-нибудь самоопределиться, я должен иметь самые положительные данные. Далее, вследствие соверщенного полицией скандала я на время привязан к Женеве процессом, который я не считаю отнюдь своим — иначе я плюнул бы на него немедленно; временным прикреплением к Женеве я поставлен в необходимость жить и обедать Николой Платоновича, имея в кармане 100 с небольшим франков и не имея теперь вовсе уверенности, что источник моего дохода не прекратится, так как он сделался известным полиции. Я не могу быть уверенным, что буду в состоянии расплатиться, и потому должен скорее выяснить для себя свое положение. Я не имею привычки обвинять кого бы то ни было за свое положение, но могу требовать объяснений и пр., чтобы возможно правильное было какое-нибудь мое решение. — По выходе из тюрьмы мне сказали — не помню, кто, — что я должен на время процесса жить у Николая Платоновича, недавно я говорил с ним самим об этом, и он подтвердил. Я объяснил мое финансовое положение. Может быть, со стороны Николая Платоновича тут только великодушие. То, что касается меня, должно быть разъяснено мне, и не впутывать сюда никого, кроме меня.

Этим письмом я снова даю доказательство за мое прямое и откровенное отношение и к делу, и к людям! Я хочу, чтобы со мной оставили выкидывать покус-фоксы!

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.54, с автографа ВВ.

¹ Судя по контексту, лицо, которое Серебрянников обозначил многоточием, — Н. Н. Любавин: именно он располагал средствами для длительной жизни за границей; он не желал вернуться в Россию скомпрометированным связями с Бакуниным и особенно с Нечаевым; в этом же духе писал о нем Лопатин Бакунину 26 мая (п. 34). Конкретно речь шла о расписке в получении аванса за перевод «Капитала», которая оказалась в руках Нечаева. Последний, как правильно предполагал Любавин, мог использовать ее как средство шантажа. Об истории этой расписки см. п. 43.

² Из Гейдельберга, где жил Любавин.

³ Имеются в виду обвинения Бакунина в присвоении Бахметьевского фонда. Непосредственным поводом к требованию Бакунина, чтобы Огарев публично заявил о его непричастности к фонду (см.: Письма М. А. Бакунина, с. 271—272), явилась появившаяся 30 апреля 1870 г. в газете «Volksstaat» статья С. Боркгейма, обвинявшего Бакунина в присвоении этих сумм для панславистской пропаганды.

⁴ В письме, на которое отвечает Серебрянников, Нечаев, по-видимому, высказывал намерение снова нелегально вернуться в Женеву; писал он об этом и к Н. А. Герцен (п. 37).

⁵ Речь идет о процессе, начатом С. Серебрянниковым против швейцарских властей, и о печатании его брошюры о своем аресте.

⁶ Имеется в виду упоминавшееся уже угрожающее письмо «Народной расправы» Любавину (см. прим. 2 к п. 41).

⁷ Михаил Петрович Сажин (псевд. Арман Росс, 1845—1934), революционер-народник, участник революционного движения с 1860-х годов. С 1869 г. жил в эмиграции в Америке, в мае 1870 г. через С. Серебрянникова был вызван Нечаевым в Женеву. Прибыв сюда в начале июня, встретился с Нечаевым в горах Сен-Морис (см.: М. П. Сажин. Указ. соч., с. 62—63).

⁸ Цитата из письма Бакунина к Огареву от 20 мая 1870 г. (Письма М. А. Бакунина, с. 281).

2 июня 1870. Locarno

Любезный друг — теперь обращаюсь к вам и через вас к вашему, к нашему Комитету. Надеюсь, что вы теперь добрались до безопасного места, в котором, свободные от мелких дряг и хлопот, вы можете спокойно обдумать свое и наше общее положение, положение нашего общего дела.

Начнем с признания, что наша первая кампания, начатая в 1869 г., потеряна, мы разбиты. Разбиты по двум главным причинам: 1-ая — народ, на восстание которого мы имели полное право надеяться, не встал. Видно, чаша его страданий и мера его терпения еще не переполнилась. Видно, вера в себя, в свое право и в свою силу еще не загорелась в нем и не нашлось достаточного количества дружно действующих и по России разбросанных людей, способных возбуждать эту веру. 2-ая причина: организация наша и по качеству и по количеству своих членов и по самому способу своего составления оказалась недостаточною. Поэтому мы были разбиты, потеряли много сил и много драгоценных людей.

Это факт несомненный, который мы должны сознать вполне, нисколько не торгуясь с ним, для того чтобы сделать его точкою отправления для своих дальнейших рассуждений, предприятий и действий.

Вы, а с вами вместе, без сомнения, и ваши друзья сознали его прежде, гораздо прежде, чем высказали мне его; да можно сказать, что вы и не высказывали его мне никогда, я должен был его сам угадать из многих и явных противоречий в ваших речах и, наконец, убедиться в нем по общему положению дела, которое стало говорить так ясно, что не было возможности <...>* скрыть его даже от непосвященных друзей. Вы были убеждены в нем более чем наполовину, когда приезжали ко мне в Локарно, а между тем вы говорили мне с полнейшею уверенностью и самыми утвердительным образом о близости необходимого восстания. Вы обманули меня, и я, подозревая или чувствуя инстинктивно *обман*, сознательно и *систематически* отказывался верить *в него*; вы продолжали говорить и действовать точно как будто бы вы говорили мне чистую правду. Если б в свою бытность в Локарно вы показали бы мне настоящее положение дела и в отношении народном, и в отношении к организации, я написал бы воззвание свое к офицерам¹ в таком же самом направлении и духе, но другими словами; и это было бы для меня и для вас, а главное, для самого дела лучше. Я не стал бы им говорить о предстоящем движении.

На вас я не сержусь и не делаю вам упреков, зная, что, если вы лжете или скрываете, умолчиваете правду, вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что вы считаете это полезным для дела. Я и *мы все* горячо любим и глубоко уважаем вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как вы.

Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более вашею главною, исключительно системою, вашим главным оружием и средством, губительна для самого дела.

Прежде, однако, чем попробую и, надеюсь, успею доказать вам это, скажу несколько слов о моих отношениях к вам и к вашему Комитету и постараюсь объяснить, почему, несмотря на все предчувствия и разумно-инстинктивные сомнения, предупреждавшие меня все более и более против истины ваших слов, я до сих пор не верил <и> до последнего приезда моего в Женеву говорил и поступал так, как будто я верил в них безусловно.

Можно сказать, что вот уже *30 лет*, как я отделен от России; от 40-го до 51-го года я пробыл за границей, сначала с паспортом, потом как эмигрант. В 51-ом году, после двухгодичного заключения в саксонских и австрийских крепостях, я был выдан русскому правительству, которое в продолжение еще 6 лет держало

* Знаком <...> здесь и далее обозначены пропуски в копии письма (слова, не разобранные Н. А. Герцен и С. И. Серебрянниковым).

меня — сначала в Петропавловской крепости, в Алексеевском равелине, потом в Шлюссельбурге. В 57 я был отправлен в Сибирь, пробыл два года в Западной и два года в Восточной. В 61-ом г. бежал из Сибири, с <тех> пор, разумеется, не возвращался в Россию. Итак, в продолжение 30 лет я прожил всего 4 года (9 лет тому назад), от 57 до 61, на свободе в России, т. е. в Сибири. Это, разумеется, дало мне возможность ближе познакомиться с русским народом, с мужиками, с мещанами и с купечеством, и то специально сибирским, но не с революционной молодежью. В мое время не было других политических ссыльных в Сибири, кроме немногих декабристов и поляков. Знал я еще, правда, 4-х петрашевцев: Петрашевского, Львова и Толя² — но эти люди представляли собою нечто переходное от декабристов к настоящей молодежи, были доктринерными, книжными социалистами, фюреристами и педагогами. Настоящей молодежи, той, в которую я верю, — этого бессословного сословия, этой бездомно-<...> фаланги народной революции, о которой я говорил несколько раз в своих писаниях, я не знал и только что теперь начинаю мало-помалу знакомиться с нею.

Большая часть русских людей, приезжавших на поклон к Герцену в Лондон, были порядочники, или литераторы, или либеральствующие и демократствующие офицеры. Первый серьезный русский революционер был Потенбня³, второй вы. Об Утине и об остальных женевских эмигрантах я говорить не буду. — Значит, до самой встречи с вами настоящая русская революционная молодежь оставалась для меня «terra incognita»*.

Немного мне было нужно времени, чтобы понять вашу серьезность, чтобы поверить вам. Я убедился и до сих пор остаюсь убежденным, что, будь вас, таких, хоть немного, вы представляете серьезное дело, единственное серьезное революционное дело в России, и раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь вам всеми силами и средствами и связаться, сколько могу, с вашим русским делом. Тем легче было мне решиться на это, что ваша программа, по крайней мере в прошедшем году, не только вполне соответствовала, но была вполне одинакова с моею программю, выработанною постоянным <...> и целым опытом довольно продолжительной политической жизни. Определим в нескольких чертах эту программу, на основании которой мы с вами, в прошедшем году, соединились совершенно и от которой вы, по-видимому, теперь довольно значительно удаляетесь, но которой я, с моей стороны, остался до <такой> степени верен, что, если б ваши убеждения и удаление ваше или ваших друзей от нее было совершенно окончательное, я считал бы себя обязанным разорвать все *интимно-политические* отношения к вам.

Программа ясно высказывается в нескольких словах: всецелостное разрушение государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации, посредством народного-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официально, но безыменно и коллективную диктатуру друзей полнейшего народного освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество и действующих всегда и везде ради единой цели, по единой программе.

Такова мысль и таков план, на основании которого я соединился с вами и для исполнения которых я подал вам руку. Вы сами знаете, как я остался верен признанному мною обещанию союза. Вы знаете, сколько я показал вам веры, убедившись раз в вашей серьезности и в одинаковости революционных программ между нами. Я не спрашивал Вас, ни кто ваши друзья, ни сколько их, не поверял вашей силы, а верил вам на слово.

Верил ли я по слабости, по слепоте или по глупости? Вы сами знаете, что нет. Вы знаете очень хорошо, что во мне слепой веры никогда не было и что еще в прошедшем году, в одиноких разговорах с вами и раз у Огар<ева> и при Огареве, я вам сказал ясно, что мы вам верить не должны, потому что для вас ничего не стоит солгать, когда вы полагаете, что ложь может быть полезна для дела, что, следовательно, мы другого залога истины ваших слов не имеем, кроме вашей несомненной серьезности и безусловной преданности делу. Что это гарантия большая, но не

* «неведомой землей» (лат.)

спасающая, однако, вас от ошибок, а нас от промахов, если мы предадимся вам слепо.

И несмотря на это убеждение, несколько раз высказанное мною вам, я все таки оставался в связи с вами и помогал вам везде, сколько мог; хотите знать, почему это я делал? Во-первых, потому что до вашего отъезда из Женевы в Россию наши программы были действительно одинаковы. В этом я мог убедиться не только из всех наших ежедневных разговоров, но еще из того, что все писания мои, задуманные и напечатанные при вас, возбудили в вас большую симпатию именно теми пунктами, которые более и яснее других высказывали нашу общую программу, и потому что наши писания, напечатанные в прошедшем году, носили тот же самый характер.

Во-вторых, потому что, признавая в вас действительную и неутомимую силу, преданность, страсть < . . > и мышление, я считал вас и считаю способным сплотить вокруг себя, и не для себя, а для дела, настоящие силы; я говорил себе и Огареву, что если они еще не сплочены, то непременно сплотятся в скором времени.

В 3-их, потому что, признав вас из всех мне известных русских людей за самого способного для исполнения этого дела, я сказал себе и Огареву, что нам ждать нечего другого человека, что мы одни стары и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного и более способного, чем вы; то поэтому, если мы хотим связаться с русским делом, мы должны связаться с вами, а не с кем другим. Комитета и всего вашего общества мы не знаем и можем судить об них только по вас. Если же вы серьезны, почему же вашим друзьям, настоящим и будущим, не быть серьезными. Ваша несомненная серьезность была для меня залогом, с одной стороны, что вы пустых людей в свою среду не допустите, а с другой — что вы один не останетесь, а будете стараться создать коллективную силу.

Есть, правда, в вас один слабый пункт, поразивший меня с первых дней нашей встречи, но на который я, признаюсь, не обратил надлежащего внимания, это ваша неопытность, незнание людей и жизни и сопряженный с ними фанатизм, не чуждый мистицизма. Незнакомство с общественными условиями, привычками, нравами, мыслями и обычными чувствами так называемого образованного мира делает вас, даже и теперь еще, неспособным действовать с успехом в его среде, даже в видах его разрушения. Вы до сих пор еще не знакомы с средствами, которыми можно приобрести в нем влияние и силу, что обрекает вас на неминуемые промахи всякий раз, когда необходимость самого дела приводит вас с ним в соприкосновение. Это явно сказалось в несчастной попытке вашей издавать «Колокол» на невозможных условиях. Но о «Колоколе» поговорим после. Незнание людей обрекает вас на неизбежные промахи. Вы в одно и то же время слишком много требуете и слишком много ожидаете от них, задавая им задачи не по силам, в той вере, что все люди должны быть проникнуты тою же страстью, какую проникнуты вы. Вы, вместе с тем, совсем не верите в них, вследствие чего вы отнюдь не рассчитываете на страсть, возбужденную в них, на создавшееся в них направление, на самостоятельную честность их стремлений к вашей цели, а стараетесь их закрепить, запугать, связать внешними и большею частью далеко не достаточными контролями, так, чтоб, раз попавши в ваши руки, они никогда не могли бы вырваться из них. А между тем они вырываются и будут вырываться из них беспрестанно, пока вы не перемените систему действий с ними, < пока > не будете искать преимущественно в них самих главного соединения с вами. Помните, как вы сердились на меня, когда я называл вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков; вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей должно быть нормальным, естественным, ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно-высокий фанатизм вы хотели бы, да еще и теперь < хотите > сделать правилом общечеловечия. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение гибельно, потому что оно заставляет вас тратить ваши силы понапрасну и стрелять всегда мимо. Никакой * человек, как бы он

* В тексте ошибочно: *Но какой.*

ни был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна ни была его дисциплина и как могуча ни была его организация, никогда не будут в силах победить природу. Пытаться ее победить могут только религиозные фанатики и аскеты — и потому я удивлялся недолго и немного, встретив в вас какой-то мистически-пантеистический идеализм. В связи с вашим характерным направлением мне казалось ясно совершенно, хотя и совершенно нелепо. Да, мой милый друг, вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем должен быть не Бабёф и даже не Марат⁴, а какой-нибудь Савонарола. Вы по образу мыслей подходите более к Мецену * < . . > более к иезуитам, чем к нам. Вы фанатик — в этом ваша огромная характерная сила; но вместе с тем и ваша слепота, а слепота — большая и губительная слабость, слепая энергия блуждает и спотыкается, и чем страшнее она, тем неминуемее и тем значительнее промахи. В < вас > огромный недостаток критики, а при таком недостатке < . . > оценка людей, положений и соразмерений средств с целью < . . > невозможны.

Все это я понимал и говорил еще себе в прошедшем году. Но все это уравновешивалось во мне в вашу пользу двумя соображениями. Во-первых, я признавал и признаю в вас огромную и, можно сказать, абсолютно чистую силу — чистую от всякой себялюбивой и тщеславной примеси, силу, подобную которой я не встретил еще в других русских людях; а во-вторых, я говорил и говорю себе, что вы еще молоды, к тому же так цельны** и так отрешены от личных, себялюбивых капризов и самообольщений, что не можете оставаться долгое время на ложном пути и в заблуждении, пагубном для самого дела. Я и теперь в этом уверен.

Наконец, я очень хорошо чувствовал и видел, что вы далеко не имели ко мне полного доверия и во многих отношениях стремились сделать меня средством для неизвестных мне ближайших целей. Но это несколько не смущало меня.

Во-первых, мне нравилась ваша молчаливость насчет лиц, принимавших участие в вашей организации, и насчет ее ежедневных мер, предпринятых и действий. Я всегда был того убеждения, что в такого рода делах людям самым доверенным и близким следует знать только о том, знание чего *практически* необходимо для успеха их специального дела. И вы мне отдадите эту справедливость, что я никогда не делал вам нескромных вопросов. Если б вы даже, в противность своей обязанности, назвали мне имена, то я все-таки не узнал бы ничего, не зная лиц, носящих эти имена. Я был бы принужден судить о них по вас, а вам я верил и верю. Комитет, составленный из людей, вам подобных и заслуживших ваше полное доверие, по-моему, заслуживает с нашей стороны не менее полное доверие.

Является вопрос: существовала ли действительно ваша организация или вы только собирались кое-как создать ее? А если она существовала, была ли она многочисленна, составляла ли уже по крайней мере зародыш силы или все это существовало только в надежде? Существовал ли даже сам Комитет, ваша святая святых, в том виде и с тем несомненным сплочением сил на жизнь и на смерть — или вы только готовились создать его, одним словом, представляли ли вы собою единичную, весьма почтенную, правда, но только личную силу или силу коллективную, уже действительно существующую? И < . . > если общество и руководящий Комитет действительно существовал, предполагая в них, особенно в Комитете, исключительное участие людей верных, крепких, так же фанатически преданных и от себя отрешенных, как вы сами, мне представлялся еще другой вопрос: было ли и есть ли в нем достаточно практического ума и знания, достаточно теоретической подготовки и способности, понимания условий и отношений русской народной и сословной жизни для того, чтобы сделать революционный < Комитет > никак не ничтожный, а действительно, и для того, чтобы покрыть всю русскую жизнь и проникнуть все общественные слои действительно могучею организацией. От горячей энергии действующих зависела искренность дела, от их практического ума и знания — его успех.

* Так в копии; вероятно, ошибка Н. А. Герцен, допущенная при переписке. — *Ред.*

** В копии ошибочно: *цель*.

Для того чтобы узнать это, для того, в действительности и в возможности, т. е. в уме вашего предприятия, я вам беспрестанно ставил множество вопросов и признаюсь, что ваши ответы отнюдь не удовлетворяли меня. Как вы ни отвергались и ни виляли, вы поневоле мне высказали следующее: общество ваше по своей численности было еще весьма незначительно, по материальным средствам своим — еще менее. Практического ума, знания и умения в нем еще очень мало. Но Комитет, вами составленный, без сомнения, из людей, подобных вам, и между ними вы — один из самых лучших, из самых крепких. Вы создатель и до сих пор руководитель общества. Все это, мой милый друг, я понял и знал еще в прошедшем году. Но это отнюдь не мешало мне присоединиться к вам, признав в вас < . . . > умного и страстно-преданного деятеля, каких мало; уверенный в том, что вы успели найти хоть несколько людей, вам подобных, и сплотиться с ними, я также был уверен и до сих пор остаюсь уверенным в том, что путями опыта и горячих и неутомимых стремлений вы скоро добьетесь до того знания, ума и умения делать, без которого успех невозможен. — А так как, кроме вашего кружка, я не предполагал и не предполагаю возможности существования в России другого столь же серьезного кружка, то, несмотря на все, я решился остаться в соединении с вами.

Я нисколько не сердился на вас за то, что вы старались постоянно преувеличивать предо мною вашу силу, это обыкновенная и часто полезная, а иногда и смешная замашка всех конспираторов. Правда, что я видел в вашем старании обмануть меня доказательство вашего еще недостаточного понимания людей. Мне казалось, из всех разговоров наших вы должны были понять, что, для того чтобы привлечь меня, не требовалось с вашей стороны доказательств уже существующей и организованной силы, а только доказательство непреклонной и разумной воли создать такую силу. Я понял также то, что, являясь передо мной как представитель и нечто вроде посланника уже существующей и достаточно сильной организации, таким образом, казалось вам, вы ставили себя в положение представить мне свои условия от очень могучей силы; в то время когда бы вы явились только предо мною как лицо, собирающее силу, вы должны были бы говорить со мною, как равный с равным, как лицо с лицом и подвергнуть моему < . . . > и вашу программу, и < план > действий.

Это не входило в ваши расчеты. Вы были слишком фанатически преданы вашей программе и вашему плану, для того чтобы подвергнуть их чьей бы то ни было критике. А во-вторых, вы не имели достаточно веры в мою преданность делу и в мое разумение его, для того чтобы показать мне самое дело в настоящем виде. Вы относились скептически ко всей эмиграции и были правы; ко мне, может быть, менее скептически, чем к другим, потому что я вам дал слишком много доказательств моей готовности служить делу, без личных притязаний и тщеславных расчетов. Но все-таки вы смотрели на меня как на инвалида, советы и знания которого могут быть иногда полезны, не более < . . . >: участие которого в вашем горячем деле было бы излишне и даже вредно. Я это слишком хорошо видел, но это отнюдь не обижало меня. Вы сами знали < . . . > этого и не могли меня побудить к разъединению с вами. Мне не след было доказывать вам, что я совсем не такой отпетый и < к > делу горячему, настоящему делу, не способный человек, как вам казалось. Я предоставлял и предоставляю времени и вашему собственному опыту убедиться в противном.

К тому же было и до сих пор существует особенное обстоятельство, принуждавшее и принуждающее меня держать себя весьма осторожно по отношению ко всем русским делам и людям. Это мое совершенное безденежие. Всю жизнь я боролся с бедностью, и всякий раз, когда мне удавалось предпринять и делать мало-мальски что-нибудь полезное, я делал это не на свои, а на чужие средства. Это с давних времен навлекло на меня, особенно со стороны русской сволочи, целую тучу клевет и нареканий.

Эти господа совсем опоганили мою репутацию и тем значительно парализировали мою деятельность. Нужно было всей неподдельной страсти и искренней воли, которые в себе без всякого хвастовства и по опыту сознаю, для того, чтобы не сломишься, и для того, чтобы продолжать делать. Вы также < . . . > знаете, как ложны

и подлы слухи о моей личной роскоши и о моем стремлении наживиться на счет других, надувания других. А между тем русская эмигрантская сволочь: Утин и Компани — смеет называть меня надувателем и своекорыстным эксплуататором, меня, который с тех пор, как я себя помню, никогда не жил и не хотел жить в свое удовольствие и стремился всегда к освобождению других. Не (примите) это за самохвальство — я говорю *вам это* и друзьям и чувствую необходимость и право высказать это вам один раз навсегда.

Ясно, что для того, чтобы предать себя полному служению делу, я должен иметь средства для жизни. Я становлюсь стар, восьмилетнее (. . .) заключение породило во мне хроническую болезнь, с моим поэтому попорченным (. . .), требующим известного ухода, известных условий, для того, чтобы служить делу с пользой, — к тому же у меня жена, дети, которых я не могу обречь на голодную смерть; я старался уменьшать донельзя издержки, но все-таки без известной суммы в месяц существовать не могу. Откуда же взять эту сумму, если я весь труд свой отдаю общему делу?

Есть еще другие соображения; основан несколько лет тому назад Интернациональ — тайно-революционный Союз, я не могу и не хочу бросать его для того, чтобы предаться исключительно русскому делу. К тому же в моей мысли Интернациональ и русское дело — одно дело. До сих пор интернациональное дело не давало мне средств к жизни, а только вовлекало в издержки. Вот вам в нескольких словах ключ к моему положению, и вы поймете, что эта бедность, с одной стороны, а с другой — подлые клеветы, распушенные обо мне русскими эмигрантами, связывают меня в отношении ко всем новым людям, в отношении ко всем делам. Видите, сколько было причин для меня вам не навязываться, не требовать от вас доверия более, чем вам казалось полезным; (. . .) ждать, чтоб вы и ваши друзья убедились наконец сами в возможности, в пользе и необходимости вашего доверия.

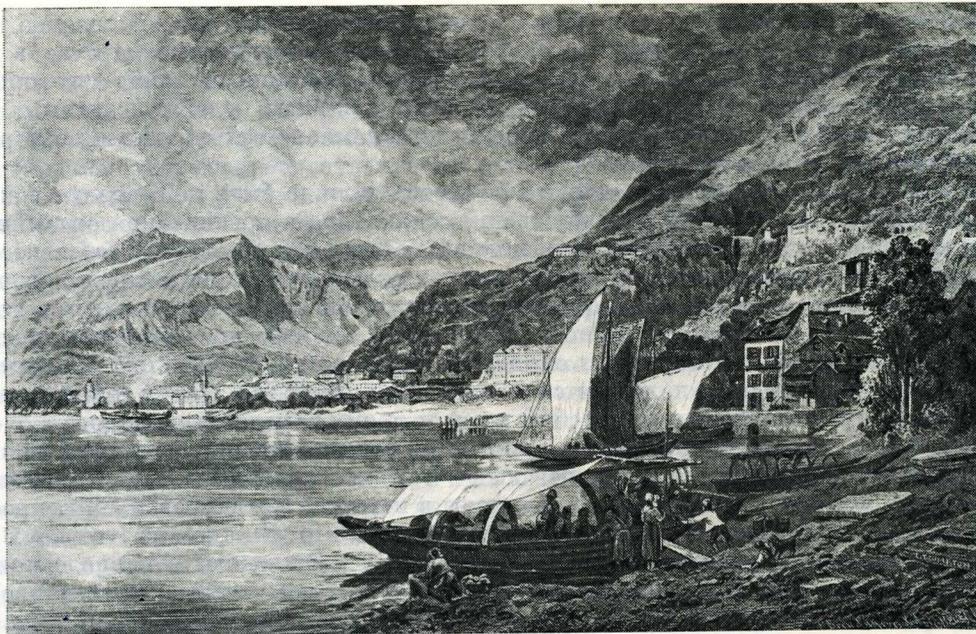
Вместе с тем я очень хорошо видел и знал, что, обращаясь ко мне не как равный к равному, не как доверяющий к доверенному лицу, вы, сообразно вашей системе и повинуваясь, так сказать, логической необходимости, смотрели на меня как на опытное, на $\frac{3}{4}$ слепое орудие для дела и употребляли меня, мою деятельность, мое имя как средства. Таким образом, не имея в действительности той силы, о которой вы мне говорили, вы пользовались моим именем для того, чтобы создать силу в России; так что много людей действительно думают, что я нахожусь во главе тайного общества, о котором я сам, как вам хорошо известно, ровно ничего не знаю.

Должен ли я был позволить употребление своего имени как средства для пропаганды и для привлечения людей в организацию, план действий и ближайшие цели которой были мне на $\frac{3}{4}$ неизвестны? Не запинаясь, отвечаю утвердительно: да, мог и должен. Вот мои причины:

Во-первых, я всегда был убежден, что русск(ий) революц(ионный) Комитет должен и может действовать только в России и управление русск(кой) революц(ией) делать из-за границы — нелепость.

Если вы и друзья ваши останетесь долго за границей, то я и вас бы объявил неспособными быть долее членами Ком(итета). Если вы сделаетесь эмигрантами, то вы должны будете так же точно, как сделал я, подчиниться во всем русск(им) делам в России, безусловному руководству, признаваемому вами (на основании программ и плана, обсужденных вместе) новому Комитету в самой Рос(сии); сами же образовать заграничный русск(ий) Комит(ет) для самостоятельного управления всеми русск(ими) отношениями, делами, людьми и кружками за границей, в полном согласии с видами русск(ого) Комит(ета), но с подлежащею автономиею и независимостью в выборе средств и способов действий и, главное *, в совершенном согласии с Интернациональным Союзом. В таком случае я буду требовать по обязанности, по праву быть равноправным членом этого заграничного русского Комитета, что и сделал, впрочем, в последнем письме к Комитету и к вам⁵, признавая, что русский Комитет должен быть в самой России. Я, разумеется, не имел возмож-

* Отсюда — копия рукою С. Серебрянникова. — *Ред.*



ЛОКАРНО

Гравюра Р. Брандамура по рисунку Э. Комптона, 1870-е гг.

Из книги: «Switzerland, its Scenery and People». London, 1881

В 1870 г. Бакунин жил в Локарно. Здесь было написано программное письмо к Нечаеву от 2—9 июня 1870 г.

ности и намерения возвратиться в Россию, не имею также и претензии быть его членом. С программой и общими целями действий его я познакомился через вас, и так как был с вами вполне согласен, изъявил свою готовность, свою твердую решимость помогать и служить ему всеми зависящими от меня средствами; а так как мое имя казалось *вам* средством, полезным для привлечения новых людей в *вашу* организацию, я дал вам свое имя. Я знал, что оно будет употреблено для дела (в этом мне служили ручательством наша общая программа и ваш характер) и не боялся, что рядом ошибочных действий, промахов оно может подвергнуться общественному нареканию — к ругательствам мне не привыкать стать.

Но вспомните, что еще прошедшим летом было выговорено между нами, что все русские предприятия, дела и люди за границей будут известны мне и что все, что ни будет сделано или предпринято за границей, не будет сделано без моего ведома и согласия. Это было условие необходимое: во-1-х, потому, что я гораздо лучше знаю заграничный мир, чем кто либо из вас, а во-2-х, потому, что слепая и несамостоятельная солидарность с вами в заграничных делах и публикациях могла бы поставить меня в положение, противное обязанностям и правам как члена Интернационального Союза. Это условие, как мы увидим, однако, не было исполнено с вашей стороны; *и если оно не будет* приведено в исполнение *совершенное*, я буду принужден разорвать с вами всякие интимно-политические отношения.

Прежде всего моя система разнится тем, что она не признает ни пользы, ни даже самой возможности другой революции, кроме стихийной или народно-социальной. Всякая другая революция, по моему глубочайшему убеждению, бесчестна, вредна, свободно- и народоубийственна, потому что она сулит народу новую нищету и новое рабство; а главное, всякая другая революция стала отныне невозможною, недоступною и неисполнимою. Централизация и цивилизация, железные дороги, телеграфы, новое вооружение и новая организация войск, вообще административная наука, т. е. наука систематического порабощения и эксплуатации народных масс, и наука укрощения народных и всяких других бунтов, столь тщательно

разработанная, проверенная опытом и усовершенствованная в продолжение последних 75 лет новейшей истории, — все это вместе вооружило государство в настоящее время такую громадную силу, что все искусственные, тайно-заговорные и внеародные попытки, внезапные нападения, сюрпризы, удары должны обрушиться об нее и что оно может быть побеждено, сломлено только стихийно-народно-социальною революциею.

Итак, единственною целию тайного общества должно быть не создание искусственной внеародной силы, а возбуждение, сплочение и организация стихийных народных сил; таким образом, единственно возможная, ед<инственно>действительная армия революции не вне народа, а сам народ. Народ искусственно возбудить невозможно; народные революции порождаются самою силою вещей или тем историческим током, который подземно и невидимо, хотя и непрерывно, и большею частью медленно течет в народных слоях, все больше их обнимая, проникая, подкапывая до тех пор, пока не вырвется из-под земли наружу и, своим бурным течением ломая препятствия, не уничтожит всего, что ему попадется на дороге.

Такую революцию искусственно произвести невозможно. Нельзя даже ее значительно ускорить, хотя и не сомневаюсь в том, что дельная и умная организация может облегчить ее взрыв. Есть периоды в истории, когда революции просто невозможны; есть другие периоды, когда они неминуемы. В каком из этих двух периодов мы находимся ныне? По моему глубокому убеждению, в периоде повсеместной неминуемой народной революции. Не стану доказывать справедливость такого убеждения, потому что это завлекло бы меня слишком далеко. К тому же мне и не нужно доказывать ее, так как я обращаюсь здесь к человеку и людям, которые, кажется, разделяют это убеждение вполне. Я говорю: везде, в целой Европе социально-народная революция неминуема. Скоро ли она вспыхнет и где вспыхнет прежде: в России, или во Франции, или в какой другой части Запада? Никто этого предсказать не может. Может быть, она вспыхнет через год, прежде года, может, не прежде 10 или 20 лет. Не в том дело, и люди, которые намерены честно служить, служат ей не ради своей потехи. Все тайные общества, которые хотят принести ей действительную пользу, должны прежде всего отказаться от всякой нервозности, от всякого нетерпения. Спать они не должны, должны, напротив, быть по возможности готовыми во всякую минуту, следов<ательно>, начеку, всегда способными воспользоваться каждым удобным случаем; но вместе с тем они должны быть заложены и организованы не в видах близкого восстания, а с целью продолжительной и терпеливой подземной работы по примеру ваших друзей — отцов иезуитов.

Ограничу свои рассуждения Россиею. Когда грянет русская революция? Мы этого не знаем. Многие, и я грешный, между прочим, ждали всенародного восстания в 1870 году, а народ не проснулся. Должно ли из этого заключить, что русский народ может обойтись и без революции, что он минует ее? Нет, такое заключение невозможно, было бы бессмысленно. Кто знает безвыходное, просто критическое положение нашего народа в экономическом и политическом отношении, а с другой стороны, решительную неспособность нашего правительства, нашего государства не только изменить, но хоть сколько-нибудь облегчить его положение — неспособность, вытекающую не из того или другого свойства наших правительственных лиц, а из самой сущности нашего государственного строя в особенности и вообще всякого государства, — тот непременно должен прийти к заключению, что русская народная революция неминуема. Она не только отрицательно, она положительно неминуема, потому что в нашем народе, несмотря на все его невежество, исторически выработался идеал, к осуществлению которого он знаемо или незнаемо стремится. Этот идеал — общинное владение землею с полною свободою от всякого государственного притеснения и от всяких поборов. К этому стремился он при Лже-Димитриях, при Стеньке Разине, при Пугачеве и стремится теперь непрерывными, но разрозненными и потому всегда укрощаемыми бунтами.

Я указал только на две главные черты народно-русского идеала, отнюдь не имея претензии очертить его вполне несколькими словами. Мало ли что живет еще в интеллектуальных стремлениях русского народа и что выйдет на свет с первою

революцию. Теперь мне и этого достаточно для того, чтобы доказать, что наш народ — не белый лист бумаги, на котором любое тайное общество может написать, что ему угодно, — напр<имер>, хоть вашу коммунистическую программу. У него выработалась отчасти сознательно, на три четверти, пожалуй, бессознательно, программа своя, которую тайная организация должна узнать, угадать и с которой она обязана будет сообразоваться, если только желает успеха.

Несомненный и равно нам известный факт, что при Стеньке Разине, так же и при Пугачеве, т. е. всякий раз, когда народный бунт удавался хоть на некоторое время, народ наш делал одно: забирал всю землю в общинное владение, отправлял к черту дворян-помещиков, царских чиновников, а иногда и попов и организовывал свою вольную общину. Значит, у нашего народа есть в памяти и в идеале уже один драгоценный элемент для будущей организации, элемент, которого еще нет у западных народов, — это *вольная экономическая община*. В народной жизни и в народной мысли есть два начала, два факта, на которые мы опереться можем: частые бунты и вольно-экономическая община. Есть еще третье начало и третий факт, это — казачество или разбойнически-воровской мир, заключающий в себе равно протест и против государственного, и против патриархально-общинного притеснения и напоминающий, так сказать, два первые.

Частные * бунты, хотя и вызываемые всегда случайными обстоятельствами, тем не менее проистекают из общих причин и выражают глубокое и всеобщее неудовольствие народа. Они составляют как бы обыденное или обыкновенное явление русской народной жизни. Нет деревни в России, которая бы не была глубоко недовольна своим положением, которая не ощущала бы нужду, тесноту, изменение ** и не таила в глубине своего коллективного сердца желание захватить всю помещичью, а затем всю крестьянско-кулацкую землю и убеждение, что она имеет на это несомненное право, — нет деревни, которую, умеючи, не было бы возможности взбунтовать. Если деревни не бунтуются чаще, так это единственно от страха, от сознания своего бессилия. Сознание это происходит от разъединенности общин, от отсутствия действительной солидарности между ними. Если бы каждая деревня знала, могла надеяться, что, в то время как она встанет, встанут все другие, то можно сказать наверное, что не было бы ни одной деревни в России, которая бы не взбунтовалась. Отсюда вытекает первая обязанность, назначение и цель тайной организации: пробудить во всех общинах сознание их неотвратимой солидарности и тем самым возбудить в русском народе сознание могущества — одним словом, соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий, всенародный бунт.

Одним из главных средств к достижению этой последней цели, по моему глубокому убеждению, может и должно служить наше вольное всенародное казачество, бесчисленное множество наших святых и несвятых бродяг, богомолов, бегунов, воров и разбойников — весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, испоконно протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнудовой цивилизации. Это было высказано в безыменном листке «Постановка революционного вопроса» и вызвало у всех наших порядочников и тщеславных болтунов, принимающих свою доктринерскую византийскую болтовню за дело, вопль негодования ⁶. А между тем это совершенно справедливо и подтверждается всею нашею историею. Казачий воровско-разбойнический и бродяжнический мир играл именно эту роль совокупителя и соединителя общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве; народные бродяги — лучшие и самые верные проводники народной революции, приуготовители общих народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги, при случае, легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор? Уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, с своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противочеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровст-

* Отсюда — копия рукою Н. А. Герцена. — *Ред.*

** Возможно, должно быть: притеснение.

вом, восседающим на престоле или пользующимся всеми привилегиями, и между народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Народно-разбойничий мир, признаюсь, с точки зрения истинно человеческой, далеко, далеко не красив. Да что же красиво в России? Разве может быть что-нибудь грязнее нашего порядочного чиновно- или мещанско-цивилизованного и чистоплотного мира, скрывающего под своими западно-гладкими формами самый страшный разврат мысли, чувства, отношений и действий! Или, в самых лучших случаях, безотрадную и безвыходную пустоту. В народном разврате есть, напротив, природа, сила, жизнь, есть, наконец, право многовековой исторической жертвы; есть могучий протест против коренного начала всякого разврата, против государства — есть поэтому возможность будущего. Вот почему я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России.

Я понимаю, что это может привести в негодование чистоплотных или даже нечистоплотных идеалистов наших — идеалистов всякого цвета, от Утина до Лопатина, воображающих, что они могут насильственным образом, посредством изустной тайной организации, навязать народу свою мысль, свою волю, свой образ действий. Я в эту возможность не верю, а убежден, напротив, что при первом разгроме Всероссийского Государства, откуда бы он ни произошел, народ подымется не по утинскому, не по лопатинскому и даже не по *вашему* идеалу, а по своему, что никакая искусственная конспирационная сила не будет в состоянии воздержатъ или даже видоизменить его *самородного* движения, — ибо никакая плотина не в состоянии воздержатъ бунтующего океана. Вы все, мои милые друзья, полетите как щепки, если не сумеете плыть по народному направлению, — уверен, что при первом крупном народном восстании бродяжнически-воровско- и разбойнический мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо.

Хорошо * ли это или дурно, это факт несомненный и неотвратимый, и кто хочет действительно русской народн<ой> революции, кто хочет служить ей, помогать ей, организовать ее не на бумаге только, а на деле, тот должен знать этот факт; мало того: тот должен считаться с ним, не стараясь его обходить, и встать к нему в сознательно-практическое отношение, уметь употребить его как могучее средство для торжества революции. Тут чистоплотничать нечего. Кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки его не спасут от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно-привилегированный и народный мир — ужасный мир. Русская революция будет, несомненно, ужасная революция. Кто ужасов или грязи боится, тот отойди и от этого мира, и от этой революции; кто же хочет служить последней, тот, зная, на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему.

Употребить разбойничий мир как орудие нар<одной> революции, как средство для совокупления и для разобщения ** частных общинных бунтов — дело нелегкое; я признаю его необходимость, но вместе с тем вполне сознаю свою полнейшую неспособность к нему. Для того чтобы его предпринять и довести его до конца, надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырскою силою, страстным убеждением и железною волею. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны. Идти к разбойникам не значит самому сделаться разбойником и только разбойником, не значит делить с ними все их неспо<койные?> *** страсти, бедствия, часто гнусные цели, чувства, действия; но значит дать им новую душу и возбудить в них другую, всенародную цель — у этих диких и до жестокости грубых людей натура свежая,

* Отсюда — копия рукою С. Серебренникова. — *Ред.*

** Вероятно, следует читать: для совокупления разобщенных

*** Слово не дописано в копии. — *Ред.*

сильная, непочатая и неистощенная и, след(овательно), открыта для живой пропаганды, если пропаганда, разумеется живая и не доктринерская, посмеет и сумеет подойти к ним. — Об этом предмете я готов сказать еще много, если только придется мне продолжать с вами эту переписку.

Другой драгоценный элемент будущей народн(ой) жизни в России, сказал я, это вольно-экономическая община, элемент действительно драгоценный, которого нет на Западе. Западная социальная революция должна будет создать этот необходимый и основной зародыш всей будущей организации, а создание его будет стоить Западу много, много хлопот. У нас он уже создан; случись революция в России, провались государство со всеми своими чиновниками, русская деревня организуется без малейшего труда сама собою в тот же день. Но зато в России предстоит трудность другого рода, которого нет на Западе. Наши общины страшно разъединены, почти не знают друг друга и часто становятся друг к другу во враждебное отношение, по древнему русскому обычаю. В последнее время, *благодаря финансовым мерам правительства*, они стали привыкать к волостному соединению, т(ак) что волость приобретает все б(олее) и б(олее) народный смысл, народное освящение, но затем все и кончается. Волости решительно не знают и не хотят знать друг друга. А для устройства революц(ионной) победы, для организации будущей нар(одной) свободы необходимо, чтобы волости *собственным народным движением* соединились в уезды, уезды в области, области же образовали бы между собою вольную русскую федерацию.

Пробудить в наших общинах сознание этой необходимости ради их собствен(ной) свободы и пользы опять-таки дело тайной организации — п(отому) ч(то) никто, кроме нее, никто за это дело приняться не захочет, интересы правительства и всех привилегированных классов ему прямо противны. Как за него приняться, что и как делать, чтобы пробудить в общинах это спасительное, едино-спасительное сознание, — об этом распространяться здесь не место.

Так вот, милый друг, в ее главных чертах целая программа народно-русской революции, глубоко запечатленная в историческом инстинкте и целом положении нашего народа. Кто хочет встать во главе народного движения, тот должен принять ее вполне и быть ее исполнителем. Кто захочет навязать народу свою программу, тот останется в дураках.

Сам народ, как мы видели, вследствие невежества и разъединения не в состоянии ее формулировать, связать в систему и сплотиться во имя ее. Значит, ему нужны помощники. Откуда же возьмутся эти помощники? Это во всякой революции самый трудный вопрос. До сих пор на целом Западе помощники революции, выходя из привилегированных классов, оказывались почти всегда ее эксплуататорами. И в этом отношении Россия опять-таки счастливее Запада. В России есть огромная масса в одно и то же самое время образованных, мыслящих и лишенных всякого положения, всякой карьеры, всякого выхода (людей): три четверти по кр(айней) мере ныне учащейся молодежи находится именно в таком положении. Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян, ну да что говорить, вы знаете этот мир лучше меня. Принимая народ за революционную армию, вот наш генеральный штаб, вот материал, драгоценный для тайной организации.

Но этот мир надо действительно организовать и *морализировать*. Вы же свою систему его развращаете и готовите в нем себе изменников, народу же эксплуататоров. Вспомните, что во всем этом мире, за исключением малого числа железных, высоко нравственных натур, выработавшихся посреди грязного притеснения и несказанной нужды, по дарвинскому методу, — настоящей нравственности очень немного. Добродетельны, т. е. народолюбивы, они, стоят за всякую справедливость против всякой несправедливости, за всех притесненных против всех притеснителей — только благодаря положению, отнюдь же не по сознанию и по воле. Возьмите вы из этого мира по жребию сотню людей и поставьте их в положение, которое бы позволило им эксплуатировать и притеснять народ, — можно сказать наверное, что они будут его преспокойно эксплуатировать и притеснять. След(овательно), самостоятельной добродетели в них мало. Надо, пользуясь их бед-

ственным, помимо воли, их добродетельным положением, постоянно пропагандю и силою организации возбудить, воспитать, укрепить в них и сделать страстно-сознательно эту невольную добродетель. А вы делаете совершенно противное: следуя иезуитской системе, вы систематически убиваете в них всякое человеческое личное чувство, всякую личную справедливость — как будто бы чувство и справедливость могли быть безличными, — воспитываете в них ложь, недоверие, шпионство и доносы, рассчитывая гораздо более на внешние пути, которыми вы их связали, чем на их внутреннюю доблесть. Так что стоит только переменить обстоятельства, достаточно, чтобы они сознали, что правительственный страх страшнее вашего страха, для того чтобы, воспитанные вами, они сделались отличными правительственными слугами и шпионами. Ведь факт теперь несомненный, мой милый друг, что огромное большинство ваших товарищей, попавших в полицейские руки, без особенного усилия со стороны правительства, *без пыток*, все и всех выдали. Этот грустный факт, если вы только исправимы, *должен* вам открыть глаза и заставить вас переменить систему.

Как же морализировать этот мир? Возбуждая в нем прямо, сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силою которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу. Таково должно быть отныне единственное содержание нашей пропаганды. Ближайшая цель ее — создание тайной организации, организации, которая должна в одно и то же время создать народоупомогательную силу и сделаться практической школою нравственного воспитания для всех членов.

Прежде всего определим ближе цель, значение и назначение этой организации. В моей системе, как я уже несколько раз заметил выше, она не должна составлять революционной армии — у нас должна быть только одна революционная армия — народ, — организация должна быть лишь штабом этой армии, организатором не своей, а народной силы, посредницею между народным инстинктом и революционною мыслию. А революц*и*онная мысль только потому и революционерна, жива, действительна, истинна, что она выражает, и только поскольку она формулирует народные инстинкты, выработанные историею. Стремиться навязать народу *свою* мысль, простую * (?) или чуждую его инстинктам, — значит хотеть поработить его новому государству. Поэтому организация, хотящая искренно только освобождения народной жизни, должна принять программу, которая была бы полнейшим выражением народных стремлений. Мне кажется, что программа, избраженная в первом номере «Народного дела» ⁷, вполне соответствует этой цели. Она не навязывает народу никаких новых постановлений, порядков, форм жизни, а только разнуждает его волю и дает широкий простор его самоопределению и его экономически-социальной организации, которая *должна* *быть* создана им самим, снизу вверх, а не сверху вниз. Организация должна нелicenseмерно проникнуться мыслию, что она слуга, помощник, отнюдь же не повелитель народа, а также и не распорядитель над ним, ни в каком случае и ни под каким предлогом, ни даже под предлогом народного блага.

Организации предстоит огромная задача: не только приготовить торжество революции народной посредством пропаганды и сплочения народных сил; не только разрушить до конца, силою этой революции, весь ныне существующий экономический, социальный и политический порядок вещей; но еще, пережив самое торжество революции, на другой день народной победы сделать невозможным установление какой бы то ни было госуд*ар*ственной власти над народом — даже самой революционной, по-видимому, даже вашей, — потому что всякая власть, как бы она ни называлась, непеременимым обр*аз*ом подвергла бы народ старому рабству в новой форме. Поэтому организация наша должна *быть* довольно крепка и живуча, чтобы пережить первую победу народа, — а это совсем нелегкое дело — должна *быть* так глубоко проникнута своим началом, что можно было надеяться, что даже посреди самой революции она не изменит ни мыслей, ни характера,

* Так в копии. — *Ред.*

ни направления. В чем же д(олжно) будет состоять это направление? Что будет главной целью и задачей организации? *Помочь народу самоопределиться на основании полнейшего равенства и полнейшей и всесторонней человеческой свободы, без малейшего вмешательства какой бы то ни было, даже временной или переходной, власти, т. е. без всякого государственного посредства.*

Мы отъявленные враги всякой официальной власти — будь она хоть распреволюционная власть — враги всякой публично признанной диктатуры, мы — социально-революционные анархисты. Но если мы анархисты, спросите вы, каким правом хотим мы и каким способом будем мы действовать на народ? Отвергая всякую власть, какую властью или, вернее, какую силою будем мы сами руководить народную революцию? *Невидимую, никем не признанную и никому не навязывающуюся силою, коллективную диктатуру нашей организации, которая будет именно тем могущественнее, чем более она останется незримой и непризнанной, чем более она будет лишена всякого официального права и значения.*

Вообразите себя посреди торжества стихийной революции в России. Государство и вместе с ним все общественно-политические порядки сломаны. Народ везде встал, взял все, что ему понадобилось, и разогнал всех своих супостатов. Нет более ни законов, ни власти. Взбунтовавшийся океан изломал все плотины. Вся эта далеко не однородная, а, напротив, чрезвычайно разнородная масса покрывает необъятное пространство всероссийской империи всероссийским народом; начала жить и действовать из себя, из того, что она есть в с(амо)м деле, а не из того более, чем ей было приказано быть, везде по-своему — повсеместная анархия. Взбаламученная грязь, которой огромное количество накопилось в народе, всплывает вверх; является на разных пунктах множество новых лиц, смелых, умных, бессовестных и честолюбивых, которые, разумеется, стремятся, каждый по-своему, овладеть народным движением и направить его к своей личной пользе. Люди эти сталкиваются, борются, уничтожают друг друга. Кажется, ужасная и безвыходная анархия.

Но представьте себе посреди этой всенародной анархии тайную организацию, разбросавшую своих членов мелкими группами по целому пространству империи, но тем не менее крепко сплоченную, одушевленную единою мыслью, единою целью, применяемую везде, разумеется, сообразно обстоятельствам и везде действующую по тому же самому единому плану. Эти мелкие группы, никем не знаемые как такие, не имеют никакой официально признанной власти. Но сильные своею мыслью, выражающей самую суть народных инстинктов, хотений и требований, своею ясно сознательною целью, посреди толпы людей, борющихся без всякой цели и без всякого плана, сильные, наконец, тою тесною солидарностью, которая связывает все темные группы в одно органическое целое; сильные умом и энергией членов, составляющих их и успевших создать вокруг себя круг людей, б(олее) или м(енее) преданных той же мысли и подчиненных, натурально, их влиянию, — эти группы, не ища ничего для себя, ни льгот, ни чести, ни власти, будут в состоянии руководить народное движение наперекор всем честолюбивым лицам, разъединенным и борющимся между собою, и вести его к возможно полному осуществлению социально-экономического идеала и к организации полнейшей народной свободы. Вот что я называю *коллективную диктатуру* тайной организации.

Эта диктатура чиста от всякого корыстолюбия, тщеславия и честолюбия, п(отому) ч(то) она безлична, невидима и не доставляет ни одному из лиц, составляющих группы, ни самим группам ни выгоды, ни чести, ни официально признанной власти. Она не угрожает свободе народа, п(отому) ч(то), лишенная всякого официального характера, она не становится, как государственная власть, над народом и п(отому) ч(то) вся ее цель, определенная ее программой, состоит в полнейшем осуществлении народной свободы.

Такая диктатура отнюдь не противна свободному развитию и самоопределению народа, равно как и организации его снизу вверх, сообразно его собственным порядкам и инстинктам, п(отому) ч(то) она исключительно действует на народ только натуральным личным влиянием своих членов, не облеченных ни малейшею властью, разбросанных невидимую сетью во всех областях, уездах и общинах и в

согласии друг с другом старающихся, каждый на своем месте, направить стихийно-революционное движение народа к общему, наперед створенному и твердо определенному плану. Этот план, план организации народной свободы, во-1-х, должен быть довольно твердо и ясно начерчен в своих главных началах и целях, для того чтобы исключить всякую возможность недоразумения и блуда со стороны членов, которые будут призваны содействовать его исполнению. А во-2-х, он должен быть достаточно широк и естественен для того, чтобы обнять и принять в себя все неотвратимые видоизменения, вытекающие из разных обстоятельств, все разнообразные движения, происходящие из разнообразия народной жизни.

Итак, весь вопрос состоит теперь в том, как организовать из элементов, нам доступных и известных, такую тайную коллективную диктатуру и силу, которая могла бы, во-1-х, в настоящее время повести широко народную пропаганду, пропаганду, действительно проникающую в народ, и силою этой пропаганды, а также и организацию в самом народе совокупить разрозненные силы народа в такое могущество, способное сломать государство, и которая, во-2-х, могла бы сохраниться посреди самой революции, не распалась бы и не изменила бы своему направлению на другой день народной свободы.

Такая организация, в особенности же основное ядро этой организации, должно быть составлено из людей самых крепких, самых умных и по возможности знающих, т. е. опытно-умных, самых страстно, непоколебимо и неизменно преданных людей, которые, отрешившись, по возможности, от всех личных интересов и отказавшись один раз навсегда, на всю жизнь, по самую смерть, от всего, что прельщает людей, от всех материально-общественных удобств и наслаждений и от всех удовлетворений тщеславия, чиновлюбия и славолубия, были бы единственно и всецело поглощены единою страстью всенародного освобождения; людей, которые отказались бы от личного исторического значения при жизни и даже от исторического имени после смерти*.

Такое полное самоотречение возможно только при страсти. Вы не произведете его ни сознанием абсолютного долга ни, еще менее, систему внешнего контролирования, опутывания и принуждения. Только одна страсть может произвести в человеке такое чудо, такую мощь без усилия. Откуда же берется и как образуется такая страсть в человеке? Она берется из жизни и образуется совокупным действием мысли и жизни; отрицательно, как ненавистный протест против всего существующего и гнетущего; положительно же, в обществе одномыслящих и одинаково чувствующих людей, как коллективное создание нового идеала; причем надо заметить, что эта страсть тогда только действительна и спасительна, когда в ней в одинаковой мере и тесно связаны обе стороны — отрицательная и положительная. Одна отрицательная страсть, ненависть, ничего не создаст; не создаст даже силы, необходимой для разрушения, а следовательно, ничего и не разрушит; одна положительная ничего не разрушит, а так как создание нового невозможно без разрушения старого, также и ничего не создаст, оставаясь всегда доктринерским мечтанием или мечтательным доктринерством.

Страсть глубокая, неискоренимая и непоколебимая страсть, значит, основа всему. В ком ее нет, будь он семи пядей во лбу, будь он человек самый честный, тот не в силах будет выдержать до конца борьбы против страшного общественно-политического могущества, нас всех подавляющего, не в силах будет устоять против всех трудностей, невозможностей, а главное, против всех разочарований, которые ожидают и непременно встретят его в этой неравной и ежедневной борьбе; у человека без страсти не будет ни силы, ни веры, ни инициативы, не будет отваги, а без отваги такое дело не делается. Но одной страсти мало, страсть порождает энергию. Но энергия без разумного руководства бесплодна, нелепа. Вместе со страстью необходим поэтому также разум холодный, расчетливый, реальный, практический прежде всего, но вместе теоретический, воспитанный и знанием и опытом, широко объемлющий, но не упускающий также из виду никаких подробностей, способный понимать и различать людей, схватывать действительность, отношения

* В копии против этого абзаца на полях и в тексте два больших вопросительных знака. — *Ред.*

и условия общественной жизни во всех слоях и проявлениях, в их настоящем виде и смысле, а не мечтательно и не произвольно, как это делает довольно часто мой приятель, а именно вы. Потребно, наконец, положительное знание и России, и Европы, и настоящего социального и политического положения и настроения и той и другой. — Значит, самая страсть, оставаясь все-таки и всегда основным элементом, д(олжна) руководиться разумом и знанием, должна перестать пороть горячку, не утратив своего внутреннего пламени, своей горячей непреклонности, сделаться холодной и тем сильнейшею страстью.

Вот вам идеал заговорщика, призванного быть членом ядра тайной организации.

Вы спросите: да где же взять таких людей, разве их в России, да и в целой Европе много? В том-то и дело, что в моей системе их совсем не требуется много. Помните, что вам не нужно будет создавать армию, а только штаб революции. Таких людей, уже почти совсем готовых, вы найдете, м(ожет) б(ыть), десять, а людей, способных сделаться такими и уже готовящихся ими сделаться, по кр(айней) мере человек 50, 60 — и за глаза довольно. Вы сами, по моему глубокому убеждению, несмотря на все промахи, печальные и вредные ошибки, несмотря на отвратительный ряд пошлых и глупых обманов, в которые вас вовлекла только ложная система, отнюдь же не личное честолюбие, тщеславие и корыстолюбие, как многие, слишком многие начинают думать о вас, вы, с которым я буду обязан и решился разойтись, если вы не откажетесь от этой системы, — вы сами принадлежите к числу этих редких людей. *И вот единственная причина моей любви к вам, моей веры в вас, помимо всего — и моей долготерпимости с вами, долготерпимости, которой, однако, пришел конец.* Помимо всех ваших страшных недостатков и недомыслей, я признал и продолжаю признавать в вас человека умного, сильного, энергичного, способного к холодному расчету, хотя по неопытности и по незнанию, и часто ложному разумению, совершенно отрешенного от себя и страстно и всецело преданного и отдавшегося делу народного освобождения. Бросьте вы свою систему, и вы сделаетесь человеком драгоценным; если же не захотите бросить ее, вы сделаетесь, несомненно, деятелем вредным и в высшей степени разрушительным не для государства, а для дела свободы. Но я крепко надеюсь на то, что все последние происшествия в России и за границею открыли вам глаза и что вы захотите, поймете необходимость подать нам руку на искренних основаниях. Тогда, повторю еще, мы вас признаем за драгоценного человека и с радостью признаем вас за своего предводителя по всем русским делам. Но если вы таковы, то, без сомнения, найдутся в России по кр(айней) мере десять человек, подобных вам. Если они не отысканы, поищите и найдете и заложите с нами новое общество на следующих основаниях и взаимных условиях:

1) Полное, честное и страстное признание вышеупомянутой программы в «Нар(одном) деле» с тем дополнением и объяснением, которые вам покажутся необходимыми.

2) Равноправность всех членов и их безусловная, абсолютная солидарность — один за всех, все за одного — с обязанностью для всех и для каждого помогать каждому, поддерживать и спасать каждого до последней возможности, поскольку это будет сделать возможно, не подвергая опасности уничтожения существование самого общества.

3) Абсолютная искренность между членами. Изгнание всякого иезуитизма из их отношений, всякого подлого недоверия, коварного контролирования, шпионства и взаимных доносов, отсутствие и положительный строгий запрет всех пересуживаний за спиною. Когда один член имеет что-нибудь сказать против другого члена, тот должен сделать это в общем собрании, в его присутствии. *Общий братский контроль* всех над каждым, контроль отнюдь не привязчивый, не мелочный, а главное, не злостный, должен заменить вашу систему иезуитского контролирования и д(олжен) сделаться нравственным воспитанием и опорой для нравственной силы каждого члена; основанием *взаимной братской веры*, на которой зиждется вся внутренняя, а потому и внешняя сила общества.

4) Из общества исключаются все люди слабонервные, боязливые, тщеславные

и честолюбивые. Они могут служить, незнаемо для себя, орудием общества, но отнюдь не д⟨олжны⟩ быть в ядре организации.

5) Вступая в общество, всякий член обрекает себя навсегда на общественную неизвестность и незначительность. Вся энергия и весь ум его принадлежат обществу и д⟨олжны⟩ б⟨ыть⟩ устремлены не на создание себе своей личной общественной силы, а коллективной силы организации. Каждый д⟨олжен⟩ б⟨ыть⟩ убежден, что личное обаяние и бессильно, и бесплодно и что только коллективная сила может повалить общего врага и достигнуть общей положительной цели, поэтому в каждом члене личные страсти должны же мало-помалу замениться коллективной страстью.

6) Личный разум каждого теряется, как река в море, в разуме коллективном, и все члены повинуются безусловно решениям последнего.

7) Все члены равноправны, знают всех товарищей своих и вместе со всеми обсуждают и решают все главные существенные вопросы, касающиеся программы общества, равно как и общего хода дела. Решение общего собрания — абсолютный закон.

8) Каждый член имеет, в сущности, право знать все. Но праздное любопытство исключается из общества, равно как и бесцельные разговоры о делах и действиях тайного общества. Зная общую программу и общее направление дела, ни один член не спрашивает, не старается узнать о подробностях, ненужных для лучшего исполнения той части дела, которая будет специально на него возложена, и без практической нужды не будет говорить ни с одним товарищем о том, что ему поручено делать.

9) Общество из среды своей избирает исполнительный комитет из трех или пяти членов, который, на основании программы и общего плана действия, принятых решением целого общества, д⟨олжен⟩ организовать разветвление общества и руководить его деятельностью во всех областях империи.

10) Комитет этот выбирается бессрочно. Если общество — я буду называть его *Народным братством* — итак, если Нар⟨одно⟩ братство довольно действиями комитета, оно оставляет его на месте, и до тех пор, как он остается на месте, каждый член Народ⟨ного⟩ братства и каждая областная группа должны повиноваться комитету безусловно, исключая тех случаев, когда предписания комитета будут противоречить или общей программе, или основным правилам, или общему революционному плану действий, всем известным, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ все братья равно участвовали при их обсуждении и постановлении.

11) В т⟨аком⟩ случае члены и группы д⟨олжны⟩ приостановить исполнение комитетских предписаний и призвать комитет на суд перед общим *народно-братским* собранием. Если общее собрание недовольно комитетом, оно всегда может заменить его другим комитетом.

12) Всякий член, равно как и всякая группа, м⟨огут⟩ б⟨ыть⟩ судимы общим собранием Нар⟨одного⟩ братства.

13) Т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ каждый брат знает все, знает даже личный состав комитета, то принятие нового члена в среду д⟨олжно⟩ б⟨ыть⟩ сопряжено с с⟨амой⟩ большою осторожностью, затруднениями и препятствиями — один плохой выбор м⟨ожет⟩ погубить все. Ни один новый брат не м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ принят иначе, как с согласия всех или по кр⟨айней⟩ мере и никак уже не меньше 3-х четвертей членов всего Народ⟨ного⟩ братства.

14) Комитет распределяет членов братства по областям и составляет из них областные группы или начальства. М⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, такое начальство, вследствие недостаточного числа членов, будет состоять из одного брата.

15) На областное начальство возлагается обязанность образования 2-ой степени общества — *областного братства* на основании той же программы, тех же правил и того же революционного плана.

16) Все члены обл⟨астного⟩ братства знают друг друга, но не знают существования Народн⟨ого⟩ братства. Им только известно, что существует *центральный комитет*, который передает им свои предписания для исполнения через *комитет областной*, им же самим, т. е. центр⟨альным⟩ комитетом, установленный.

17) Областной ком<итет> состоит, по возможности, только из нар<одных> братьев, назначенных и сменяемых Ц. К., но по кр<айней> мере из одного нар<одного> брата. В т<аком> случае этот брат с согласия Ц. К. присоединяет к себе 2-х с<амых> лучших членов област<ного> братства и составляет с ними вместе Ком<итет> областной, уж не на равных правах всех членов его, п<отому> ч<то> нар<одный> брат только один имеет сообщение с Ц. К., предписания которого он передает своим товарищам обл<астного> К<омите>та.

18) Нар<одный> брат или нар<одные> братья, находящиеся в области, высматривают в обл<адном> братстве людей, способных и достойных б<ыть> принятыми в Нар<одное> братство, и представляют их через К<омитет> общ<ему> собранию Нар<одного> братства.

19) Всякий обл<астной> Ком<итет> устанавливает уездные комитеты из членов обл<астного> братства, назначаемых и сменяемых им самим.

20) Уездные комитеты могут, если понадобится, но не иначе как с согласия обл<астного> ком<итета>, основать 3-ю степень организации — уездное братство, с программой и регламентами, наиболее приближающимися к общей программе и регламенту Нар<одного> братства. Программа и регламент уездного братства не войдут в силу, пока не будут обсуждены и приняты в общем собрании обл<астного> братства и не получат подтверждения обл<астного> Комитета.

21) Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех 3-х степеней тайной организации: точно так же из уезд<ного> и област<ного>, как и из Народ<ного> братства. Сила всего общества, равно как нравственность, верность, энергия и преданность каждого члена, основаны исключительно и всецело на взаимной истине, на взаимной искренности, на в<заимном> доверии и на открытом братском контроле всех над каждым.

* * *

Вот вам в главных чертах план общества так, как я его понимаю. Разумеется, этот план д<олжен> б<ыть> развит, дополнен, иногда видоизменен сообразно обстоятельствам и характеру среды и определен гораздо яснее. Но я убежден, что сущность его д<олжна> остаться, если вы хотите создать действительную коллективную силу, способную служить делу народного освобождения, а не новую эксплуатацию народа.

Система опутывания и иезуитской лжи из этого плана исключены совершенно как вредные, расторгающие и развращающие начала и средства. Но исключены также и парламентская болтовня, и тщеславная суетливость и сохранена строгая дисциплина всех членов в отношении к комитетам и всех частных комитетов в отношении к Ц. К. Суд и контроль над членами принадлежит братствам, а не комитетам. Но вся исполнительная власть в руках комитетов. Суд же над комитетами, не исключая Центр<ального>, принадлежит лишь одному Нар<одному> братству.

Нар<одное> братство, по моему плану, никогда не будет заключать в себе более 50—70 членов. Сначала, пожалуй, оно будет состоять из 40 человек, даже менее, и будет медленно расширяться, принимая в свою среду человека за человеком, подвергая каждого предварительно с<акому> строгому, с<акому> тщательному изучению, и если будет возможно, принимать его не иначе, как по единодушному решению всех членов Нар<одного> братства или же никак не менее $\frac{3}{4}$ братства. Не м<ожет> б<ыть>, чтобы в продолжение года, 2—3-х лет не нашлось 30 или 40 человек, способных быть нар<одными> братьями.

Итак, вообразите себе Нар<одное> братство для целой России, состоящее из 40, много из 70 членов. Потом несколько сотен членов 2-х степенной организации братьев областных, и вы покроете действительной могучею сетью целую Россию. Штаб ваш создан, и, как сказано, в нем приготовлены, вместе с строгою осторожностью и с исключением всей болтовни и всех тщеславно-пустозвонных парламентских прений, истина, искренность и взаимное доверие, действительная солидарность как едино морализирующие и соединяющие элементы.

Все общество составляет одно тело и прочно связанное целое, предводительствуемое Ц. К. и ведущее непрестанную подземную борьбу против правительства

короткое время выходят наружу. Вы так влюбились в иезуитизм, что забыли все другое, забыли даже ту цель, то страстное желание народного освобождения, которые привели вас к нему. Вы так влюбились в иезуитизм, что готовы проповедовать необходимость его всякому, даже Жуковскому, хотели даже печатать о нем, наполнить его теориями «Колокол» — как бы в пословицу Суворова: «Псмилуй бог, тот не хитер, про которого все знают, что он хитер». Одним словом, вы стали играть в иезуитизм, как ребенок в цапку, как Утин в революцию.

Посмотрим же теперь, чего вы достигли и что успели сделать в Женеве, благодаря вашей иезуитской системе. Вам отдали Бахметьевский фонд. Вот единственный существенный результат, достигнутый вами. Но Огарев вам отдал его, и <я> горячо советовал отдать его вам не потому, что Вы иезуитничали с ним, а потому, что мы оба, помимо вашего далеко не мудреного иезуитизма, чувствовали и признали в вас человека, глубоко, горячо и серьезно преданного русскому делу. Но, знаете ли, — это с моей стороны горькое признание — я почти начинаю каяться в том, что советовал Огареву отдать вам фонд — не потому, чтобы я мог подумать, чтобы вы могли употребить его бесчестно, в свою личную пользу, — от такой подлой и просто нелепой мысли все святые меня упаси, и хоть убили <бы> меня, я никогда не <по>верю, чтобы вы употребили хоть один лишний грош на себя, — нет, я начинаю каяться в том, потому что, глядя на все ваши действия, я перестал верить в вашу политическую зрелость, в серьезность и действительность вашего Комитета и всего общества вашего. Сумма небольшая, но единственная, и она пропадет даром, бесполезно, бесследно, в безумных и невозможных усилиях.

А с этою небольшою суммою в руках и с помощью небольшого числа людей, встретивших вас с полною искренностью и изъявивших вам готовность служить общему делу, без всяких требований и претензий, без тщеславия и честолюбия, вы могли сделать много полезного в Женеве — могли создать орган серьезный, с откровенною социально-революционною программою, и при нем заграничное бюро для ведения русских дел вне России и в известном, хотя и не абсолютном, но положительном <...> ему. С этой целью ваш Комитет, т. е. вы, приглашали меня в первый раз в Женеву. И что ж я нашел в Женеве? Во-первых, исковерканную программу «Колокола», от которого Комитет и вы требовали просто нелепости, невозможности. Знаете ли, что я не могу простить себе слабости, побудившей уступить вам в этом вопросе, — мне приходится отвечать за этот несчастный «Колокол» и за солидарность с вами вообще перед всеми моими интернациональными друзьями, благодаря, с одной стороны, Утину, а с другой — Жуковскому, из которых первый злобно, а другой добродушно клеветают на меня и на вас.

Кстати о Жуковском. Вы на нем показали ваше совершенное незнание, непонимание людей и вашу неспособность привлекать их прямым, честным, т. е. крепким, способом к вашему делу. Зная его отлично, я вам подробно описал его характер, его способности и неспособности, так что вам должно было быть не трудно поставить его в серьезное отношение с вами. Я вам описал его как человека очень доброго, способного, далеко не глупого, хотя и без всякой инициативы в уме, но принимающего все мысли из второй руки и способного их популяризировать или разбалтывать довольно красноречиво, не столько на бумаге, сколько в разговоре, артистически впечатлительного, довольно упорно преданного известному направлению, но бесхарактерного в том смысле, что он опасностей не любит, перед сильным противоречием <...> и легко поддается самым разнообразным влияниям. Одним словом, как человека весьма способного служить проводником пропаганды, но отнюдь не способного быть членом тайного общества. Вы должны бы были поверить мне, но не поверили, и вместо того, чтобы привлечь Жуковского к нашему делу, — оттолкнули его от себя и от меня. Вы старались его завербовать, опутать и, опутав, сделать своим рабом. Для этого вы стали бранить меня, смеяться надо мной, — а в Жуковском есть инстинкт честности, который взбунтовался. Он мне рассказал все, что вы ему обо мне говорили, рассказал с негодованием, с омерзением, и если бы я был посамолюбивее и послабее, этого могло бы быть достаточно, чтобы разорвать мою связь с вами. Вы помните, я довольствовался тем, что повторил вам все слова Жуковского, без примечаний, но верно —

вы не отвечали ничего, и я не считал нужным продолжать далее этот разговор. — Потом вы стали излагать Жуковскому свои заветные теории государственно-коммунистические и полицейско-иезуитские и тем окончательно оттолкнули его от себя. Наконец, произошла эта несчастная сплетня Генриха⁹, и Жуковский сделался вашим отъявленным и непримиримым врагом, врагом не только вашим, но чуть ли также и не моим. А он мог бы, несмотря на все свои слабости, быть полезным.

Признаюсь также, мой милый друг, что вся ваша система магнетизирования, опутывания и запутывания Таты мне чрезвычайно не нравилась — я только раз высказал вам все; вышло то, что вы в ней поселили глубокое недоверие к нам всем и убеждение, что вы и я намерены эксплуатировать <ее> денежные средства, эксплуатировать, разумеется, не для дела, а для себя. Тата, в глубоком смысле этого слова, честный и правдивый человек, лишенная, мне кажется, способности отдать себя всецело кому или чему бы то ни было, поэтому дилетант, если не по натуре, то по воспитанию, — дилетант и в умственном и нравственном отношении, но на честное слово которой можно положиться и которая может сделаться, если не нашим другом, то верным приятелем. С ней надо было поступать прямо и честно и не прибегая к тем ухищрениям, в которых вы думаете найти свою силу, но в которых проявляется именно ваша слабость. До тех пор, пока я полагал возможным и полезным говорить с ней прямо, откровенно, действуя на ее свободное убеждение, я делал это. Далее я с вами идти не хотел, мне это было противно. И лишь только я услышал от вас, что Наталья Алексеевна клеветает на меня, утверждая, что я имею виды на карман Таты, и увидел, что сама Тата недоумевает, не зная, справедливо ли это или нет, я решительно от нее оттолкнулся.

А кстати, вы мне утверждали несколько раз, что вы слышали от самой Таты, что Наталья Алексеевна и Тхоржевский везде кричат, всем говорят и пишут, что я хочу эксплуатировать денежные средства Таты. Наталья Алексеевна и Тхоржевский утверждают, напротив, что они никогда и никому этого не писали и не говорили, — и сама Тата подтвердила мне то же самое. В последнюю бытность в Женеве, вы мне сказали, что вы слышали от Серебренникова, что Жуковский говорил ему, Серебренникову (Семену), что я эксплуатирую Тату. Я спрашивал Серебренникова и узнал от него, что Жуковский говорил это не о мне, а о вас. Вы мне рассказывали также, что жена Жуковского уговаривала вас присоединиться к Утину, уверяя, что соединение со мной бесполезно, невозможно, вредно. Она говорила напротив: обо мне с вами не говорила; к Утину, с которым она сама разошлась более или менее, вас не звала, и что не она, а вы ей предложили искать средства для соединения, и что она ждала от вас этих средств.

Вы* видите, сколько ненужной глупой лжи и как она легко выходит наружу. Да, признаюсь, что уж первый приезд мой в Женеву уже сильно разочаровал меня и пошатнул мою веру в возможность крепкой связи и дела с вами. К тому же о деле, для которого я, собственно, был призван и единственно для которого я приехал в Женеву, между нами не было сказано ни одного дельного слова. Я несколько раз начинал разговор о заграничном бюро, вы избегали его, все ждали какого-то окончательного ответа от Комитета, который никогда не приходил. Я, наконец, уехал, написав через вас Комитету письмо, в котором требовал ясного определения и изложения дела, к которому был призван, и с твердым решением не возвращаться в Женеву, прежде чем не получу от него удовлетворительного ответа¹⁰.

В мае вы опять стали вызывать меня в Женеву. Несколько раз я отказывался ехать, наконец поехал. Последняя поездка утвердила во мне все сомнения и совершенно потрясла мою веру в честность, в правдивость вашего слова. Ваш разговор с Лопатиным в моем присутствии, в самый вечер моего приезда, его прямые, резкие обвинения, высказанные вам в глаза с тоном уверенности, которая не допускает даже возможности сомнения в истине их слов, — слов, делавших все ваши слова ложью, — его прямое отрицание всех подробностей рассказа, напечатанного вами о вашем бегстве, его прямые обвинения против самых близких дру-

* Отсюда — копия рукою С. Серебренникова. — *Ред.*

зей ваших, обвинения в подлой и даже глупой измене перед следственной комиссией, обвинение не голословное, но основанное на их письменных показаниях, которые, по его уверению, подтвержденному мне потом вами самим, он имел случай читать; особенно выраженное им презрение к поступкам и проделкам и совершенно ненужным доносам Прыжова * 11, о котором вы мне везде говорили, как об одном из лучших и крепких друзей ваших. Наконец, прямое и решительное отрицание его существования вашего Комитета, высказанное им такими словами: «Нечаяе» мог рассказывать это вам, живущим вне России. Но он не попробует повторить все это вам в моем присутствии, зная очень хорошо, что мне известны все кружки, все люди и все отношения и факты в России. Вы видите, что он молчанием своим подтверждает истину всего того, что я говорю и о его бегстве, которого малейшие обстоятельства и подробности, как он сам знает, мне слишком хорошо известны, а также и о его друзьях, и о его мнимом Комитете» — и вы действительно на все это отвечали молчанием и не попробовали даже защищать не только себя, но даже ни одного из друзей ваших, ни даже действительность существования вашего Комитета.

Он торжествовал, вы перед ним пасовали. Я не могу вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшею ложью, было основано на песке. Значит, ваш Комитет — это вы, вы, по крайней мере, на три четверти, с хвостом, состоящим из двух, 3—4 человек, вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось, как дым, вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей вас самих и еще более ваших друзей. Я вас глубоко любил и до сих пор люблю, Нечаяе», я крепко, слишком крепко в вас верил, и видеть вас в таком положении, в таком унижении перед говорунуном Лопатиным было для меня невыразимо горько.

Мне было тяжело и за себя также. Увлеченный верою в вас, я отдал вам свое имя и публично связал себя с вашим делом. Я всеми силами старался укрепить в Огареве симпатию к вам и веру в ваше дело. Я постоянно советовал ему отдать вам весь фонд. Я привлек к вам Озерова и употребил все усилия, чтобы убедить Тату соединиться с нами, т. е. с вами, и отдаться вполне вашему делу. Наконец, против своего лучшего убеждения, я уговорил Огарева согласиться на издание «Колокола» по выдуманной вами дикой, невозможной программе. Одним словом, веря в вас безусловно в то время, как вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет — хуже этого, я испортил свое положение в отношении к русскому и к интернациональному делу.

Когда Лопатин ушел, я вас спросил: неужели он говорил правду, неужели все, что вы мне говорили, была ложь? Вы избегали ответа. Было поздно, я ушел. Все разговоры и переговоры с Лопатиным на другой день окончательно убедили меня в том, что Лопатин говорил правду. Вы молчали; я ждал результата вашего последнего разговора с Лопатиным; вы мне его не сказали; но я узнал его теперь из письма Лопатина, которое вам будет прочтено Озеровым 12.

Того, что я узнал, было для меня достаточно для того, чтобы принять меры против дальнейшего эксплуатации себя и друзей моих вами, вследствие чего я написал вам ультиматум, который наскоро прочитал вам у Турок 13 и который вы, казалось, приняли. — С тех пор мы с вами не видались.

Наконец я получил 3-го дня письмо от Лопатина, из которого узнал два весьма грустных факта: во-1-х, вы (не хочу употреблять прилагательных), вы солгали, передавая мне ваш разговор с Лопатиным. Все, что вы мне передали из слов, будто бы сказанных им — чистая ложь. Он не говорил вам, что я отдал ему письма Любавина: «Старик не выдержал, теперь он в наших руках, теперь он ничего против нас сделать не может, а мы всё...»; на что вы будто бы отвечали ему: «Если

* В копии ошибочно: *Крыжова*.

Б(акуни)н имел слабость отдать вам письма Любавина, то у нас есть еще другие письма — и т. д.». Вы солгали, вы наклеветали на Л(опати)на, вы сознательно надули меня; Лопатин удивляется, что я вам поверил и в учтивой форме выводит (из) этого факта заключение, не совсем выгодное для моих умственных способностей. Он прав, в этом случае я оказался круглым дураком. Но он судил бы обо мне не так строго, если (бы) он знал как глубоко, как страстно, как нежно я вас любил и вам верил! Вы умели, нашли полезным убить во мне эту веру, тем хуже для вас. К тому же мог ли я подумать, чтобы человек умный и преданный делу, каким вы остаетесь в моих глазах до сих пор и несмотря на все случившееся, — мог ли я подумать, чтобы вы могли так нагло и так глупо лгать передо мною *, в преданности которого вы не могли сомневаться? Как вам не пришла мысль, что вам ваша наглая ложь выйдет наружу и что я потребую, что я должен был требовать объяснения у Л(опати)на, тем более что в моем ультиматуме было ясно высказано требование приведения в полную ясность дела с Любавиным.

*Другой ** факт:* Любавин не получил моего ответа на его дерзкое письмо, не получил, поэтому, также и расписки, приложенной мною к этому ответу. Когда я показал вам свой ответ и расписку, вы просили меня помедлить и не посылатъ их. Я не согласился, тогда вы взялись бросить их на почту и не бросили ¹⁴.

* * *

Всего этого довольно, Нечаев, — старые отношения и взаимные обязательства наши кончились. Вы сами разрушили их. Если думали и думаете, что вы связали, опутали меня в нравственном и в материальном отношении, то вы ошибаетесь жестоко. Ничто в мире не может связать меня против моей совести, против моей чести, против моей воли, против моего революционного разума и долга.

Правда, что в финансовом отношении я, благодаря вам, нахожусь теперь в положении самом тяжелом. Средств к жизни нет, и единственный источник доходов, перевод Маркса и сопряженная с ним надежда на другие литературные работы — теперь для меня иссяк. Я сижу на мели — и не знаю, как снимусь с нее, но это последнее дело.

Правда, что я компрометировал друзей и компрометирован перед ними; правда, что на меня сыплются клеветы по поводу фонда, по поводу Любавинской истории, по поводу Таты и, наконец, по поводу всех последних происшествий в России.

Но все это не остановит меня; в случае крайней нужды, я готов принести публичное признание и покаяние в своей глупости, от которой мне, разумеется, будет очень стыдно, но от которой еще менее позорится вам — но невольным союзником вашим не останусь.

Итак я объявляю вам решительно, что все до сих пор прочные отношения мои с вами и с вашим делом разорваны. *Но разрывая их, я предлагаю вам новые отношения на иных основаниях.*

Лопатин, не знающий вас так, как я вас знаю, удивился бы такому предложению *** с моей стороны, после всего, что между нами случилось. Вы не удивитесь, ни близкие друзья мои не удивятся также.

Не подлежит сомнению, что вы наделали много глупостей и много гадостей, положительно вредных и разрушительных для самого дела. Но несомненно для меня также и то, что все ваши нелепые поступки и страшные промахи имели источником не ваши личные интересы, не корыстолюбие, не славолубие и не честолюбие, а единственно только ложное понимание дела. Вы страстно преданный человек; вы — каких мало; в этом ваша сила, ваша доблесть, ваше право. Вы и Комитет ваш, если последний, действительно, существует, полны энергии и готовности делать без фраз все, что вы считаете полезным для дела, — это драгоценно. Но ни в Комитете вашем, ни в вас нет разума — это теперь несомненно. Вы, как дети, схватились за (. .) иезуитскую систему, и, увидев в ней всю силу вашу,

* В оригинале, должно быть, пропущено слово «лгать». — *Прим. Н. А. Герцен.*

** Отсюда — копия рукою Н. А. Герцен. — *Ред.*

*** В копии ошибочно: *предположению.*

успех и спасение, позабыли в ней даже самую суть и цель общества: освобождение народа не только от правительства, но и от вас самих. Приняв эту систему, вы довели её до уродливо-глупой крайности, развратили ею себя и опозорили ею общество на весь мир рядом белыми нитками шитых хитростей и непроходимых глупостей, подобных вашим грозным * письмам к Любавину, к Наталье Алексеевне, < . . . > шедших с вашею любезною долготерпеливостью с Утиным, с вашими заискиваниями у него, в то время, как он громко, нахально клеветал на нас всех; подобных вашей глупой коммунистической программе и целому ряду бесстыдных обманов. Все это доказывает огромное отсутствие разума, знания и понимания людей, отношений и вещей. Значит, на ваш разум, по крайней мере теперь, положиться невозможно, несмотря на то, что вы — человек чрезвычайно умный и способный к далекому развитию, — но это дает надежду на будущее, в настоящем вы оказались неловки и нелепы, как мальчик.

Убедившись окончательно в этом, я нахожусь теперь в следующем положении.

Вашим словам, вашим голословным уверениям и обещаниям, без подтверждения фактами, я теперь решительно не верю, зная, что вам ничего не стоит солгать, если это вам покажется полезным для дела. Не верю тоже в справедливость или разумность того, что вам показаться может, потому что вы и Комитет ваш дали мне слишком много доказательств своей положительной неразумности. Но, отрицая вашу правдивость и вашу разумность, я не только не отрицаю вашей энергии и вашей безусловной преданности делу, но думаю, что в отношении к ней и другой мало найдется в России людей, равных вам; это, повторяю вам еще раз, было главною, да единственною основою моей любви к вам и моей веры в вас — и до сих пор остается в моем убеждении залогом того, что вы, более всех других мне знакомых русских людей, способны и призваны служить революционному делу в России — разумеется, только под тем условием, что вы захотите и сможете переменить всю систему своих действий в России и за границей. Если же вы не захотите переменить ее, вы, именно вследствие этих качеств, составляющих вашу силу, сделаетесь непременно человеком в высшей степени вредным для дела.

Вследствие всех этих соображений и несмотря на все, происшедшее между нами, я желал бы не только остаться в соединении с вами, но соединиться еще теснее и крепче с вами, разумеется, в том предположении, что вы решительно перемените систему и положите в основание всех наших будущих отношений взаимное доверие, искренность и правду. В противном случае наш разрыв неминуем.

Теперь вот мои условия, личные и общие. Назову прежде личные:

1) Вы выгородите и очистите меня совершенно в Любавинской истории, написав общее письмо к Огареву, Тате, Озерову и С. Серебренникову, в котором вы, сообразно истине, объявите, что я о письме Комитета ничего не знал и что оно написано помимо моего знания и воли.

2) Что вы читали мой ответ Любавину с прилагаемой к нему распиской в 300 руб. и, взявшись его отправить, бросили или не бросили на почту.

3) Что я никогда не имел ни прямого, ни косвенного вмешательства в распоряжение Бахметьевского фонда. Что вы получили весь фонд в разные времена; сначала из рук Герцена ** и Огарева, а остальную большую часть из рук Огарева, который, по смерти Герцена, один имел право им распоряжаться, и что вы приняли этот фонд от имени Комитета, которого вы были распорядителем.

4) Если вы не дали еще Огареву расписки в получении этого фонда, то должны дать ее.

5) Вы должны возвратить, в наискорейшее время, записку Даниельсона через нас и через Лопатина. Если она не в ваших руках (а я уверен, что она в ваших руках), вы в том же письме должны взять обязательство доставить ее нам в самое короткое время.

6) Вы бросите ни к чему не ведущие, а напротив — недостойные, а для дела — положительно вредные попытки сближения и примирения с Утиным, клеветущим

* Далее зачеркнуто: угрозам.

** Совсем неверно. — Прим. Н. А. Герцен.

на нас обоих и на все ваше в России самым гнусным образом, а напротив — обаяжетесь, выбрав час и удобный случай, чтоб не повредить делу, повести против него войну открыто.

Вот вам мои личные условия; отказ в одном из них — а особливо в пяти первых и в первой половине шестого, т. е. разрыв всяких отношений с Утиным, — будет для меня достаточным поводом для того, чтоб разорвать все сношения с вами. И все это должно быть сделано вами широко, прямо, честно, без малейших недоразумений, <. . .>, недомолвок, намеков и экивоков. Пора нам играть в игру открытую.

Теперь вот общие условия:

1) Не называя нам * ваших имен, которые нам не нужны, вы покажете нам настоящее положение вашей организации и дела в России, ваших надежд, вашей пропаганды, ваших движений, без преувеличения и обмана.

2) Вы извергнете из вашей организации всякое <применение **> полицейски-иезуитской системы, довольствуясь ее применять, и только в мере самой строгой практической необходимости, а главное, разума, только в отношениях к правительству и ко враждебным партиям.

3) Вы бросите нелепую мысль, что можно совершить революцию вне народа и без участия народа, и примете в основание всей вашей организации стихийную народную революцию, в которой народ будет армией, а организация только штабом.

4) Вы примете в основание организации социально-революционную программу, изложенную в первом номере «Народного дела», план организации и революционной, революционерной пропаганды, изложенный мною в моем письме, с теми дополнениями и видоизменениями, которые в общем собрании мы сообща найдем необходимыми.

5) Все, постановленное нашим общим обсуждением и единодушным решением, будет предложено вами всем вашим друзьям в России и за границей. Если они отвергнут наши постановления, вы должны будете решить сами, хотите ли вы идти с ними или с нами, разорвать свою связь с нами или с ними.

6) Если они примут выработанные нами программу, план организации, регламент общества и план пропаганды и революционного действия, вы от их и от своего имени дадите нам руку и честное слово, что отселе эта программа, план организации, пропаганды и действий станут абсолютным законом и непременною основой для всего общества в России.

7) Мы вам поверим и на новом основании завяжем с вами новую, крепкую связь — Огарев, Озеров, С. Серебренников и я, а пожалуй, и Тата, если она захочет; и если вы и все другие согласитесь, мы будем по праву народными братьями — живущими и действующими за границей; поэтому, никогда не изъясняя никакого лишнего любопытства, будем иметь право знать и будем действовать <и> знать положительно образом, со всеми нужными подробностями, положение конспирационных дел и ближайших целей в России.

8) Затем мы все, вышеупомянутые, образуем заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей, сообразуясь с общими указаниями политики в России, но выбирая свободно способы, людей и средства.

9) При этом будет издаваться «Колокол», с явную революционную социалистическую программу, если это окажется необходимым и если на это будут денежные средства.

Вот вам мои условия, Нечаев. Если уж <благоразумие ***>, дух трезвого понимания дела сошел на вас и если любовь к делу действительно сильнее в вас, чем все другое, — то вы их примете.

А если не примете — решение мое непреклонно, я должен буду разорвать всякую связь с вами и, не сообразуясь более ни с чем, кроме собственной совести, своего понимания и долга, буду действовать самостоятельно.

М. Б а к у н и н

* В копии ошибочно: *вам*.

** В копии ошибочно: *примечание*.

*** В копии ошибочно: *слепоразумие*.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.8, с копии, сделанной Н. А. Герцен и С. Серебренниковым (ВН).

¹ Имеется в виду прокламация Бакунина «К офицерам русской армии» (Женева, январь 1870 г.).

² Указав, что был знаком с четырьмя петрашевцами, Бакунин назвал по именам только трех: М. В. Петрашевского (1821—1868), Ф. Н. Львова (1823—1885) и Ф. Г. Толя (1823—1867). Четвертым был Н. А. Спешнев (1821—1882) — см. об этом: Н. П и р у м о в а. Бакунин. М., 1970, с. 158—161.

³ Андрей Афанасьевич *Потебня* (1838—1863) — глава революционной организации русских офицеров в Польше, член «Земли и воли», погиб во время польского восстания 1863 г.

⁴ Упоминание имен Бабёфа и Марата здесь не случайно: они не раз, очевидно, фигурировали в рассуждениях Нечаева, в частности при обсуждении направления «Колокола». Об этом свидетельствует вставка имен Бабёфа и Марата на полях той страницы дневника Н. А. Герцен, где рассказано о дискуссиях по этому вопросу (см. с. 502).

⁵ Письма Бакунина к «Комитету» и Нечаеву, о которых здесь идет речь, неизвестны. Они были написаны еще до его последнего, майского приезда в Женеву, что доказывает его письмо Огареву от 20 мая (Письма М. А. Бакунина, с. 281). Приехав же вслед за тем в Женеву, он передал Нечаеву еще один «ультиматум» (см. ниже в данном письме и прим. 13 к нему).

⁶ «Постановка революционного вопроса» — прокламация Бакунина, напечатанная в ходе агитационной кампании 1869 г., в конце апреля или в начале мая. «Вопль» против нее, помимо возражений Герцена, — «запрос» Герцену, Огареву и Бакунину, напечатанный в № 7—10 «Народного дела» в ноябре 1869 г.

⁷ Бакунин имеет в виду опубликованную в № 1 «Народного дела» за 1868 г. статью «Наша программа», принадлежащую перу Н. И. Жуковского.

⁸ Н. А. Герцен ошибается в этом примечании: пропуск Бакуниным этих слов в письме (очевидно, по ошибке) искажал его мысль о двойном значении «опутывания» — допустимости его по отношению к врагам и недопустимости в отношениях с соратниками.

⁹ Генрихом Бакунин называл Генри Сетерленда. О какой сплетне, переданной им Жуковскому, идет речь, установить не удалось.

¹⁰ См. прим. 5.

¹¹ Иван Гаврилович *Прыжов* (1827—1885) — историк, этнограф и публицист, член «Народной расправы», участник убийства И. Иванова. Опубликованные показания Прыжова на следствии не подтверждают дошедший до Лопатина слух о его «доносах». Биограф Прыжова пишет: «Прыжов подтверждал только то, что никак не мог отрицать и что было следователям известно и помимо него из найденных при обысках документов и показаний других арестованных» (М. А л ь т м а н. И. Г. Прыжов. — «Каторга и ссылка», 1932, № 6, с. 88).

¹² См. письмо Лопатина к Бакунину от 26 мая (п. 34).

¹³ Эпизод с прочтением «ультиматума» «наскоро у Турок» косвенно освещен в воспоминаниях Н. А. Герцен, где она рассказала, как сопровождала притаившегося в ее квартире Нечаева на тайное вечернее свидание с Бакуниным, прибавляя: «Я решительно не знала, где мы были, и только через несколько лет мне рассказывали, что в старые времена в этой вилле жила какая-то турецкая компания» («Лит. наследство», т. 63, с. 495—496).

¹⁴ Речь идет все о той же расписке Бакунина в получении аванса за перевод «Капитала» (аванс составлял 300 фр. — Письма М. А. Бакунина, с. 247).

Нехорошо, что до сих пор ничего не опубликовано из твоего дела. Во французских газетах (напр., «*Liberté*») начинают появляться искажения². Если швейцарское правительство предупредит своим заявлением — конечно, в ложном цвете, — тогда будет плохо, пропадет вся цель, и публика будет предупреждена.

Скорей пиши сам в «*Volkstaat*», в «*Volkswille*»³ и прочее и проси перевести на французский Наталью Алексеевну, да пусть будет послан перевод в Англию (она знает, кому). Главное, брат, не надейся на других. Это совсем плохо, никогда такие надежды не оправдываются. Не теряй времени напрасно, печатай у Чернецкого в форме бюллетеня по-французски и вели Озерову разослать во все редакции журналов, куда посылался «Колокол».

Относительно фонда твои предложения никуда не годятся. Не только какую-нибудь квитанцию от Комитета, но и говорить тебе об этом не следует ни с кем. Поступив по-твоему, значит дать знать эмиграции, а стало, и всему миру, что тайное общество в Р(оссии) еще существует, тогда как теперешнее положение на-

* Помета С. И. Серебренникова: *Получ(ено) 31 мая или 1 июня.*

ших друзей (уцелевших от погрома) требует, чтобы правительство и обыкновенная публика думали, что уже все раскрыто и все схвачены, что в Р(оссии) более ничего не существует.

Хозяин фонда — Огарев; он должен (в случае крайней надобности) заявить, что деньги, вверенные ему и покойному Герцену для русской пропаганды, находятся у него и что не считает нужным кому-либо давать отчет *преждевременно*. А о том, что сумма передана в Комитет, не должно и толковать. Растолкуй это Огареву — вместе с Озеровым, если сочтешь нужным (я не думаю, чтоб было необходимо).

По глупости Ц(ампери)ни я оставался в полной неизвестности в течение 10 дней; не получая ни писем, ни известий, я чуть было не собрался вчера к вам.

Молодая Наталья знает мой адрес. Пусть пересылает твои ко мне письма прямо, не передавая Ц(ампери)ни.

Печатается по фотоконии ГБЛ, ф. 69, 25.54, с автографа ВН.

¹ Ответ на письмо С. И. Серебrenникова от 2 июня 1870 г. (см., п. 42). Помета С. Серебrenникова сделана, несомненно, позднее и содержит неточные даты.

² «Liberté» — ежедневная вечерняя парижская газета, во главе которой в 1870 г. стоял Эмиль Жиранден. В номере от 25 мая в рубрике «Новости дня» в ней было помещено следующее сообщение: «Швейцария. Берн, 23 мая. В связи с тем, что Россия вновь потребовала выдачи Нечаева, обвиняемого в заговоре против русского императора, в Женеве был арестован некий человек под этим именем; но он был освобожден, так как идентичность его не подтвердилась». Вероятно, говоря об «искажениях», Нечаев имеет в виду упомянутое в этой корреспонденции обвинение его в «заговоре».

³ «Volksstaat» — лейпцигская газета, выходившая под редакцией Вильгельма Либкнехта; «Volkswille» — венский еженедельник, орган австрийской социал-демократии.

45

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

⟨Женева. Июнь 1870⟩ *

О каких интригах пишете вы, участвующая в самой подлой интриге эксплуатации миллионов, вы, заедающая со дня рождения мужицкой хлеб и ничего не сделавшая и отказывающаяся от дела. Вы укоряете меня! Опомнитесь, вы пишете дичь, или это из опасения, что я покажу кому-либо ваши письма?

Эх вы, будущая Наталья Алексеевна!

Если нынче не увижу вас, завтра придти буду должен.

Как вам не стыдно бросать нас в критическую минуту?

Зачем вы прислали деньги?

Если для меня, то знаете, что от вас я не возьму ни копейки.

Если это касса, то ее возьмет кто-нибудь другой; это надо сделать толково.

Подождите дня три-четыре.

Не понимаю, почему на свертке печати Ц(ампери)ни, да и многого не понимаю. Во всяком случае, возвращаю; им у меня теперь не место (я не знаю и сколько их).

Видеть вас мне *надо*; положение мое и в самом деле не очень безопасно, а потому, если вы еще обладаете здравым смыслом, то избавьте меня от необходимости идти к вам и немедленно попросите Ц(ампери)ни устроить randevu.

Не вызывайте же меня на опасность, легко устранимую.

46

М. А. Бакунин — Н. П. Огареву, Н. А. Герцен, В. М. Озерову,
С. И. Серебrenникову

9 июня 1870. Лосанно

Вот вам наконец, друзья, конец моего огромнейшего письма к Барону. Прошу Вас, прочтите его все внимательно. Вы найдете в нем много долгот, повторений — но надеюсь, что Вы будете согласны с его содержанием, а главное, с его заключе-

* Помета Н. А. Герцен: В июне 1870.

нием. Если будете согласны, то заявите это в конце моего письма с своею подписью — места осталось довольно для всех замечаний — и постарайтесь препроводить его как можно скорее, и, если можно, собственноручно и собственноручно, через Озерова, Барону. Я даже не перечитывал, а писал зря, прямо из головы и из сердца.

Письмо так длинно, так несносно длинно, что я боюсь просить Тату или друга Сашу, а если не их, так Серебренникова переписать его с самого начала и сохранить с него копию — а между тем это было бы для меня и для нас всех необходимо¹.

Надеюсь, что Вы будете довольны моим ответом Лопатину², который я Вам пошлю завтра, вместе с письмом Лопатина³ (которое должно быть прочтено Серебренниковым, а храниться в Ваших нейтральных руках, как свидетелей, — должно быть также прочтено и Барону, но не отдано ему).

Наш друг Барон совсем потонул во лжи — этому надо положить конец. Недаром я в продолжение нескольких лет, от 1863-го по 1867-й год, держал себя в стороне от русских дел и от русских людей. Как только прикоснулся к ним, попал в кучу грязи, — но теперь отставать от них не хочу; надо терпеливо распутать все и все поставить на настоящие основания. Если Вы хотите помочь мне, я надеюсь, что вместе мы справимся.

Главное, теперь надо спасти нашего заблудшего и запутавшегося друга. Он все-таки остается человеком драгоценным, а драгоценных людей на свете немного.

Итак, давайте руки, будем спасать его вместе, не дадим Лопатыным, Жуковским⁴ и Утиным окончательно стоптать его в грязь. Но надо прежде всего, чтоб он помог нам сам, — и к этому должны быть теперь направлены все наши стремления.

Ваш М. Б.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.10, л. 1—3, с автографа ВН.

¹ Друга Сашу — А. Озерову. Письмо было скопировано С. И. Серебренниковым и Н. А. Герцен — именно эта копия сохранилась в ее архиве. Подлинник, врученный Нечаеву, находился, вероятно, у него вплоть до сожжения его бумаг Сажиним. Опираясь на рассказы ему Сажина, Гильом утверждал в своей книге, что Сажин видел среди бумаг Нечаева два письма Бакунина с протестами против действий Нечаева, свидетельствовавших, в частности, и о том, что Бакунин не имел никакого отношения к угрозам Нечаева Любавину (D. Guillaume. Op. cit., v. I, p. 261—262). Однако свидетельство Гильома, напечатанное впервые еще в начале нашего века, не было замечено и не привлекалось в литературе, посвященной этому эпизоду.

² См. п. 47.

³ См. п. 34.

⁴ Н. И. Жуковский поддерживал отношения и с «молодой эмиграцией», и с Герценом и Огаревым, за что Герцен назвал его «человеком двух миров» (XXX, 282). «Нечаевская история» еще осложнила отношения Жуковского с Огаревым и Бакуниным.

9 июня 1870. Локарно

Прочитав внимательно Ваше письмо¹, я убедился, с глубочайшим прискорбием для Нечаева и для себя самого, но с радостью за Вас, что весь мнимый разговор Ваш, переданный мне Нечаевым, была со стороны последнего чистая выдумка, наглая ложь.

Зачем ему нужно было меня обмануть и почему я ему поверил, об этом теперь я с вами рассуждать не стану. Скажу только, что, поверив ему, я сделал непростительную глупость и, кроме того, большую несправедливость в отношении к вам, написав вам письмо оскорбительное, все выражения которого беру назад и в котором от всей души прошу у вас прощения.

В одном не могу согласиться с вами. Вы говорите, что Вы были вправе рассказывать всем встречным русским в Женеве историю моих отношений с Любавиным, известную Вам, по Вашему собственному признанию, даже не от Любавина прямо,

а со стороны, от общих приятелей, с моей же стороны Вам совершенно неизвестную, так как вы, прежде нашей встречи в Женеве, совсем не знали меня, и потому вам, во всяком случае, худо известную. Вы рассказывали всем встречным и перечным как «*пояснительный пример*», посреди чисто теоретических рассуждений, «*для оценки характеров и образа действий разных представителей русской эмиграции*». А так как во всей этой печальной истории играл роль только один представитель русской эмиграции, именно я, вы рассказывали ее, очевидно, для оценки моего характера и *моего* образа действия, пожалуй, еще для оценки Нечаева, если вы хотите включить его в число эмигрантов. Вашу главною целью было, без сомнения, погубить и уничтожить Нечаева в общем мнении. Справедливо или нет вы судите о нем, об этом мы теперь рассуждать не станем. Но вы считаете его человеком в высшей степени вредным и потому смотрите на уничтожение его как на дело не только позволительное, но даже полезное. К тому же вы уверены, что знаете его хорошо и что вооружены против него фактами несомненными.

Меня же вы совсем не знали, и я никогда ничем не вызывал ваших враждебных действий против меня. Положим, что вы приехали в Женеву с сильным предубеждением против моего характера и против моей деятельности. Но умные, серьезные и добросовестные люди знают, что предубеждение не есть еще знание, и прежде чем они решатся действовать против него, они постараются убедиться в справедливости или несправедливости обвинений и нареков, слышанных ими против него.

Вы поступили не так. Стараясь уничтожить Нечаева, Вы клеветали или по крайней мере давали пищу и для клеветы против меня, — а охотников до такой пищи вы встретили в Женеве довольно. Вы знали, что я должен был приехать в Женеву, вы ждали меня. Почему же вы не подождали меня, чтоб пояснить, чтоб уяснить совершенно дело, вам плохо известное, прежде чем употреблять его в своих разговорах как *пояснительный пример* своих теорий. Я не полагаю, чтоб вы сделали это из злого чувства; вы не похожи на злого человека. Но думаю, что вы увлеклись своим обаятельным красноречием, а в праздноголаголании нет снасения.

Наконец, раз когда вы рассказали всем дело, вам так мало известное, и рассказали его так, что все ваши слушатели, увлеченные вашим красноречием, должны были вывести из всего заключения, для моей чести самые неблагоприятные, — хотя вы сами, не зная меня, и не позволили себе выводить их, — не было ли вашею прямою и непременною обязанностью честного человека повторить мне все эти рассказы прямо в лицо, а не через третьего человека, и в случаях для этого у нас недостатка не было.

Вы пишете мне, что если вы не исполнили этой обязанности, мне кажется — несомненной, так это только потому, что вам показалось, что я недостаточно был поражен вашими обличениями Нечаева. Позвольте мне не принять этого объяснения и признаться вам, что я просто не понимаю его. Как вы могли узнать, что происходило в моей душе во время вашего разговора с Нечаевым? Положим, что вы были недовольны выражением моего лица. Но разве серьезный человек может судить по выражению лица о человеке, ему совершенно незнакомом и которого он видит в первый раз?

Допускаю даже, что я мог произвести на вас неблагоприятное впечатление и возбудить в вас инстинктивное недоверие. Все-таки это не давало вам право молчать и не повторить мне в лицо все, что вы прямо или косвенно говорили обо мне за спиною. Надеюсь, что, обдумав все хладнокровно, вы согласитесь со мною и найдете в этих обстоятельствах хоть слабое извинение и для моей глупой веры в ложный рассказ Нечаева, и для оскорбительного письма, которое я вам написал вследствие этого рассказа.

Любавинские письма хранятся в сундуке у моего здешнего приятеля. Многие из них были немедленно уничтожены мною по прочтении. Все остальные я немедленно соберу и перешлю к вам через Озерова. Я употреблю все усилия и буду неотступно требовать, чтоб подписка Д<аниельсо>на была ему возвращена через вас.

Меня поразило известие, что Любавин не получил <ни> последнего письма, написанного мною ему в ответ на его последнее письмо, ни расписки, приложенной мною к этому ответу. Не могу объяснить этого неприятного факта как только тем, что Нечаев, взявшийся бросить это письмо на почту, вероятно, забыл бросить его; посылаю вам другую расписку, которую прошу вас переслать Любавину.

Принимая очень охотно Наталью Александровну и Озерова как ваших посредников в этом печальном деле, прошу Вас позволить мне присоединить, с своей стороны, к Озерову ныне освобожденного Серебренникова.

Ваше письмо ко мне и этот ответ на него будут прочтены Нечаеву.

М. Бакунин

Скажите, пожалуйста, Лаврову, что мне бесконечно совестно, что я еще до сих пор не отвечал на его письмо. Но чтоб он не думал, что я молчу от нерадения и лени, — я просто жду пояснения и определения некоторых обстоятельств, чтоб отвечать ему en pleine connaissance de causes*.

Если вы прочли Лаврову ваше письмо ко мне, то, без сомнения, найдете справедливым и нужным прочесть ему и этот мой ответ на него. Я, с своей стороны, с радостью и с полным доверием готов принять его за нашего общего посредника и даже судью.

Печатается по фотоконии ГБЛ, ф. 69, 26.5, с копии рукою Н. А. Герцен (ВН).

¹ Письмо Лопатина от 26 мая 1870 г. было получено Бакуниным только в начале июня (оно сперва было доставлено в Женеву, откуда Бакунин уже уехал к этому времени, а затем в Локарно).

48

М. А. Бакунин — Н. П. Огареву, Н. А. Герцен, В. М. Озерову
и С. И. Серебренникову

10 июня 1870. Locarno

Ну вот вам, мои милые друзья, и мой ответ Лопатину с прилагаемой распиской для Любавина. Отсылаю вам и письмо Лопатина ко мне, которое так или иначе надо будет прочесть, но отнюдь не отдавать в руки барону Невиллю, а хранить у себя как документ, который, может быть, понадобится.

Ответ мой прошу вас немедленно отослать Лопатину, но прежде снять с него копию и для прочтения его барону, и для сохранения ее у вас, так же как документа. Кого же просить взять на себя скучный труд переписать его, как не Серебренникова, который остается теперь, кажется, без всяких занятий. Я же задавлен разного рода писаниями и сочинениями, которых не успеваю окончить.

В ответе моем Лопатину я старался сколько мог не осуждать барона. Задача трудная, почти невозможная. Раз убедившись в его лжи, я должен был назвать ее наглой ложью, точно так же должен был высказать мою догадку — я мог бы сказать, мою уверенность, — что он задержал мое письмо к Любавину. Что делать, увлекшись проклятой иезуитской системой, наш друг залгался и исхитрился до глупости. Повторю еще раз, мы должны все вместе употребить все возможные усилия для того, чтоб своротить его с направления, на котором он и себя, и дело погубит.

В сотый раз повторяю: он человек драгоценный, самый энергичный и преданный из всех нам известных русских людей. Он чрезвычайно упорен, это правда, но вместе и очень умен, хотя и мало разумен; поэтому, сохранив все, что в нем есть доблестного, и прежде всего эту железную энергию, себя не жалеющую, это полнейшее отречение от себя и эту страстную и всецелостную отдачу себя делу, он может изменить все, что в нем есть плохого.

Но надо, чтобы он теперь же решился на это излечение, потому что, прежде чем он не переменит пути и системы, для нас невозможно идти с ним далее, мы должны будем отойти от него не только ради своей чести, но ради самого дела.

* с полным знанием дел (франц.).

Первый шаг его тайно-общественной и революционерной деятельности кончился страшным и позорным для него фиаско. Упорство во лжи, которая оказалась пагубною, было бы с его стороны непростительно глупо, и для нас следовать за ним далее по направлению, признанному нами за ложное и пагубное, было бы более чем глупо.

Огарев, я положительно настаиваю на том, чтобы ты дал мне, нисколько не откладывая, через наших друзей и естественных посредников: Тату, Озерова и Серебренникова — письменное свидетельство в том, что весь фонд отдан тобой Нечаеву и что я в распоряжении им не имел никакого участия ¹. Ведь для этого никаких счетов делать не надо. Потом сделаем счеты подробные и потом потребуем на них расписки Нечаева ². А теперь можешь подписать это объявление в коротких, но ясных и определенных словах, чтобы уничтожить всякую возможность недоразумения. И твое объявление, мне кажется, может быть подписано Татою с полной добросовестностью с ее стороны, так как она была действительно свидетельницей этой передачи, при которой я действительно не присутствовал и все подробности которой мне неизвестны. *Я требую от тебя безотлагательно такого объявления, требую его во имя справедливости и дружбы, и ты не вправе мне отказать в нем.*

А оно может сделаться для меня необходимым ввиду злостных и грязных клевет г-на Утина, который, как мне известно, собирает против меня факты для посылки их Марксу ³. Озеров мне пишет, что тебя останавливает боязнь повредить *делу*, т. е. нечто вроде *raison d'Etat* *, но, милый Огарев, это на тебя не похоже — такое иезуитское и государственное соображение совсем не в твоей природе, не в твоём духе и не в твоей привычке: правда и справедливость прежде всего — таков был всегда твой лозунг. Неужели и ты на старости лет захочешь и можешь сделаться иезуитом? Это пустяки, к тому же тут ровно нет никакого дела *до дела*. Ведь пора же нам понять наконец, что Нечаев, несмотря на все драгоценные качества, которые ему приобрели твою и мою веру, все-таки еще сам по себе не есть дело, что дело само по себе, а он сам по себе и что отождествлять его с делом значит унижать и уничтожить дело. Прежде всего мы должны объяснить это ему самому, чтоб он перестал себя принимать за Людовика XIV-го революции: «L'Etat (дело) c'est moi» **. Факты самые осязательные доказали нам, что его диктатура — диктатура его Комитета, что все равно, потому что он составляет, несомненно, ³/₄ или ⁹/₁₀ Комитета, что эта диктатура привела к гибельным результатам и в России и за границей, — значит, пришло время положить ей конец. Продолжать верить в нее и следовать за ней слепо было бы с нашей стороны более чем глупостью — преступлением. Факты в России нам мало известны, но то, что известно, то, что мы знаем наверное, соображая и сравнивая его собственные рассказы, очень плохо. Зато нам вполне и подробно известны заграничные факты, и этих фактов достаточно, чтоб нас убедить, что в сем Комитете, т. е. в Нечаеве, тьма энергии, горячей деятельности, преданности делу — зато в нем также есть и огромное, поразительное отсутствие разума и внутренней правды. Всю организацию свою он основал на систематическом обмане и на опутывании лиц. Это плохо, плохо также и то, что при таком горячем желании надувать всех и каждого он не умел даже скрыть своего обмана. Все его хитрости шиты белыми нитками и оказались хитростями или ребенка, или страуса, скрывающего свою голову за деревом, но не умеющего скрыть своего огромного тела. Неспособность к ловкому обману в Нечаеве меня радует, с одной стороны: значит, ложь не успела проникнуть в него, не успела сделаться его природою — значит, ему будет не трудно освободиться от нее; но, с другой стороны, эта неловкость, при всем его природном уме, доказывает страшный недостаток опытности, практического разума, понимания и знания людей и вещей — что ж за диктатор без разума, и может ли дело удалиться без разума?

Мы любим его, мы верим в него, мы ожидаем от его будущей деятельности огромной пользы для народа, и потому именно мы обязаны остановить его на

* государственных соображений (франц.).

** «Государство — это я» (франц.).

ложном, на гибельном пути — но словами, рассуждениями мы его не остановим. На природы, подобные природе Нечаева, слова и рассудок не производят ровно никакого действия. Они уважают только факты, и потому действовать на них можно только фактами. Значит, мы обязаны остановить его силою факта. Если бы мы стали протестовать против него только рассуждениями и словами, продолжая на деле следовать за ним слепо, он стал бы слушать нас полурассеянно, полуиронически и продолжал бы, эксплуатируя нас самым бессовестным образом, портить дело. Но если мы все, дружно, не врознь, сказав ему правду, объявим ему, что мы далее на этом пути не пойдём, а разойдемся с ним, если он с него не своротит, он призадумается и, вероятно, уступит — а не уступит, так бог с ним! Но он должен будет уступить. Мы дали ему столько доказательств и нашей преданности делу, и нашей дружбы к нему, что он не может усомниться в искренности наших действий и слов. К тому же друзей у него, не только за границей, но даже в России, у него осталось немного. Он всеми покинут, и все порядочные и вроде Лопатина, все бла \langle . . . \rangle дники вроде Утина и Comp \langle agnie \rangle бросают в него грязью. В эту минуту, самую критическую во всей его жизни и решительную для всей его будущей деятельности, дружный голос целой честной группы, готовой поддержать его, если он согласится отказаться от очевидно пагубной системы, но вместе с тем и решившей оставить его, если он *самолюбиво* и самовольно, самодурно захочет упорствовать в ней, — такой голос может спасти его.

Ему предстоит теперь сделать последний акт самоопределения, одержать последнюю победу над собою, над своим самолюбием, которого в нем оказывается более, чем мы думали. Полное кораблекрушение, им претерпенное и в России, и за границую, должно открыть ему глаза. Он должен сознать и иметь доблестную силу признать перед нами, что он ошибся и в выборе системы, и в выборе людей и средств, силу переменить направление и начать новое дело на основаниях новых, употребляя только ту часть старого материала, которая в этом новом направлении будет действительно годна.

Если он окажется способным совершить такой подвиг и одержать такую трудную победу над своим скрытым и тем более громадным самолюбием, над своим самодурством, ну тогда он будет действительно молодец и нам можно будет с полною верой идти с ним и, пожалуй, за ним. Если ж он этого сделать не сможет или не захочет, тогда для нас выбора быть не может — мы должны будем с ним разойтись, должны ради своей совести, своих убеждений, ради пользы самого дела. Таково, по крайней мере теперь, мое неизменное решение.

Каким же образом твое объявление, которого я требую и считаю себя вправе требовать от тебя, милый Ага, может повредить делу? Ведь оно, во-первых, будет храниться в тайне, как документ, в руках наших друзей, которые, разумеется, о нем разглашать не будут, и выйдет на свет только в самой крайней необходимости.

Мало того, ты должен требовать, мы все должны требовать от Нечаева, чтоб он дал тебе и всем нам письменное объявление, что он получил сначала одну часть от Герцена и от тебя и потом всю остальную часть от тебя одного, как единого правоимеющего, весь Бахметевский целиком в свои руки и что он один, сообщая с Комитетом или без Комитета — об этом мы знать не можем, — распорядился им и тратил его по своему благоусмотрению. Не требовать этого от него было бы с нашей стороны слабостью, просто подлость, а не служение делу. Дело ясное и требует ясности: Комитет, мнимый или действительный, не скрывал и не скрывает своего существования. Он заявлял о нем нелепыми письмами к Любавину, к Наталье Алексеевне и, наконец, печатно в «Народной расправе».

Нас, то есть тебя и меня, могут упрекнуть в том, что мы признали этот Комитет: я печатно, ты фактически, отдачей фонда, но несомненно то, что мы его призвали за единственного представителя серьезного революционного дела в России. На этом основании ты отдал фонд Нечаеву как представителю Комитета, и в этом характере Нечаев принял его от тебя; следовательно, перед публикою скрывать нечего: все произошло правильно.

А знаешь, чего я начинаю бояться? Если Нечаеву не хочется, кажется неудобным дать тебе расписку в получении фонда, то это отнюдь не столько из боязни

публики, как из опасения перед собственными друзьями — перед членами так называемого Комитета, которых он, может быть, обманывал точно так же, как обманывал нас. Он мог им сказать, что он получил от тебя только часть фонда или что по распоряжениям фонда управляет не он один, а ты и я вместе с ним и мало ли еще какую ложь, которая могла показаться ему необходимой, разумеется, не ради его личной пользы, но ради пользы дела. Я имею множество доказательств на то, что он проводил свою иезуитскую ложь решительно по всем направлениям, не исключая даже его Комитета. Не веря ни в кого и никому, он дошел до того, что стал считать себя единственным всецелостным революционером, и, дойдя таким путем до Элпидинского самодурства, считает себя вправе надуть всех и каждого во имя революции. Горячо желаю, чтобы мое опасение не оправдалось, но боюсь очень, чтоб оно не было справедливо. Во всяком случае, для меня очевидно, что только опасение перед друзьями, а не перед революционной публикой и не перед врагами может остановить его дать тебе эту расписку. Поэтому ты и мы все должны неотступно и дружно требовать ее от него ради спасения дела.

Кончаю это письмо выражением надежды, что, прочитав до конца мое длинное письмо к Нечаеву, вы согласитесь с его заключениями и что, на их основании, захотите сделать вместе со мною дружную и решительную попытку для спасения Нечаева от гибельной лжи, а общее дело от поражения.

Ваш М.

Печатается по фотокопии: ГБЛ, ф. 69, 26.10, л. 4—15, с автографа ВН.

¹ Такое свидетельство, заверенное подписями указанных лиц, было составлено Огаревым (см. автограф Огарева — Л XIV, 646; текст рукою Н. А. Герцен с подписями ее, Огарева, Н. А. Тучковой-Огаревой и С. Серебrenникова — «Лит. наследство», т. 63, с. 499).

² Счета, сохранившиеся в архиве Н. А. Герцен, и были, вероятно, реализацией этой мысли (фотокопии ГБЛ, ф. 69, 24.5, с подлинников ВН). Никакой расписки Нечаева получить им, конечно, не удалось.

³ См. п. 34 и прим. 13 к нему, а также вступит. статью.

49

Н. А. Герцен — М. А. Бакунину

16 июня 1870

Campagne Baumgartner. St. Jean la Tour. Genève.

Надеюсь, что вы мне не будете больше делать упреков за то, что я с недоверием отнеслась к вашему protégé и всем его делам, Михаил Александрович?

Вам должно казаться естественно то, что все было для меня *неясно* в ваших делах, что я так долго колебалась, стараясь добиться до правды, до ясного понимания и убедившись, что это почти невозможно, решила отстраниться и не иметь ничего общего с этими *неясными* русскими делами — несмотря на бесконечные разговоры и споры и на все усилия ваши, Огарева и Нечаева убедить меня в том, что я погибну, если *не буду* участвовать в них.

Я не могла себе вообразить, что кто бы то ни было, в самом деле, может увлечься этой отвратительной иезуитской системой, быть ей верен до такой возмутительно-бесчеловечной степени, как Нечаев, — ведь последовательность доходит у него до уродства!

Как вы можете еще думать о возможности работать с ним после всего того, что произошло между вами, — после всего того, что вы сами рассказывали в вашем письме к нему? На чем же будет основано ваше доверие? А если его нет — как же вы будете с ним работать? Почему вы знаете, что если Нечаев и примет, да, пожалуй, еще подпишет ваши условия (своим настоящим или каким-нибудь выдуманным именем), что он тайком не будет точно так же надуть вас, как он это делал в продолжение всего вашего знакомства? Для меня это было бы решительно невозможно. Он хотя и не магнетизировал меня никогда, как вы думаете, кажется, но он сделал хуже — он отравил и парализовал меня тем, что он развил во мне такое недоверие, от которого я долго не отделаюсь.

Теперь я ни в каких русских делах участвовать не могу и не хочу*.

Неужели Вы хотите, чтобы ваше письмо к Н<ечаеву> держалось в тайне? Позволяете вы мне прочесть хоть отрывки** двум-трем лицам, которые все еще верят, что вы и Н<ечаев> одно и то же? Мне кажется, что это может быть только полезно для вас, а никак не вредно; потрудитесь дать мне знать, как Вы на это смотрите***.

Когда вы собираетесь в Женеву? Кланяйтесь вашей жене от меня, поцелуйте детей, с которыми надеюсь познакомиться когда-нибудь.

Жму Вам руку
Н. Герцен

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 24.7, с. автографа ВН.

50

М. А. Бакунин

Соборное послание Огареву, Тате, Озерову, Серебренникову,
а если <Жуковский> привлечен к вашему собору,
то также и <Жуковскому>.

20 июня 1870. Локарно.

Друзья — из писем, полученных мною с разных сторон, мне кажется, что ваш собор пришел теперь к настроению слишком невыгодному для нашего друга барона. Я употребляю это слово: друг — не в ироническом, а в самом серьезном смысле, потому что я, по крайней мере, не перестал смотреть на него как на самого драгоценного человека между нами всеми для русского дела и как на самого чистого, или, употребляя выражение Серебренникова, как на самого *святого* человека в отношении всецелостной преданности делу и совершеннейшего самоотречения, к тому же одаренного такою энергией, постоянством воли и неутомимою деятельностью, каких мы еще никогда не встречали. Не думаю, чтоб кто-нибудь из вас в своей критике дошел бы до отрицания в нем этих качеств — их отрицать невозможно, они колют глаза. Значит, барон золотой человек, а золотых людей не бросают. Наши усилия, мне кажется, должны быть устремлены на сохранение его для дела и, так как мы сами преданы делу и хотим служить делу, — на сохранение с ним нашей связи.

В этом золотом, страстно преданном человеке много значительных недостатков, чему удивляться не следует: чем сильнее и страстнее натура, тем ярче выступают ее недостатки. Добродетелен, в смысле отсутствия недостатков, только ноль. Относительно добродетельны бывают легкие, гладкие и милые люди вроде Лопатина и Жуковского. Друг наш барон отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: он предается и весь отдается, другие дилетантствуют; он чернорабочий, другие белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших <рук>; зато другие — люди в высшей степени приятные, а он человек совсем не приятный. Несмотря на то, предпочитаю барона всем другим и больше люблю, и больше уважаю его, чем других. Однако я первый**** поднял знамя бунта против его диктатуры; не потому, чтоб диктатура его оскорбляла мое самолюбие — по-моему, кто лучше разумеет дело

* Называйте меня скептиком, М(ихаил) А(лександрович), может быть, вы правы, в этом случае скептицизм мой спас меня от бог знает каких пут и бед. Послано 21-го. Вторник. Июня 70.

** Конечно, не ваши *планы*, а *факты*, доказывающие, что вы не были с ним солидарны во всем.

*** На чистой части листа помета Н. А. Герцен: *Об фонде*.

**** Вставка С. Серебренникова: *Самый последний, и то еще не совсем, что показывает это письмо*.

кто более делает и всецелостнее предается, тот, пока он разумеет, предается и делает, и есть диктатор по праву, т. е. путеводитель, будитель, поощритель и подталкиватель всех других, и все другие естественным образом за ним следуют. Я взбунтовался против диктатуры барона, потому что она прониклась ложною системою иезуитских приемов и лжи, на которые наш друг барон стал смотреть в последнее время чуть ли не как на лучшие средства для достижения цели. Фактов повторять я не стану, они всем вам известны теперь, я должен был взбунтоваться, потому что убежден вместе с вами, что такая система непременно погубила бы самое дело.

Но будем и тут справедливы. Почему барон выбрал эту систему? Вследствие ли какого-нибудь порока, гнездящегося в его существе: эгоизма, самолюбия, честолюбия, славолюбия, или корыстолюбия, или властолюбия? Нет — кто знает хоть сколько-нибудь барона, тот поклянется вместе со мною не в том, чтоб у него не было ни малейшего зародыша этих пороков — по моему мнению, во всяком нормальном человеке и особенно в натурах сильных есть зародыш всех возможных пороков, — а потому, что жизнь его была такого рода, что большая часть ее не могла в нем развиться, и потому, что в нем все другие страсти подавлялись вышшею, революционною или народно-освободительною страстью. Он высокий фанатик и имеет все качества, а также и все недостатки фанатика. Такие люди бывают часто способны к страшным промахам, к опасным ошибкам. Ошибки милых людей обыкновенно бывают так <. . . .> * гладки и незаметны, как и добродетель их; в фанатиках же все крупно, и если они ошибаются, то ошибаются крупно. Пусть Огарев вам расскажет историю о том, как наш общий друг, покойный Белинский, вдруг сделался яростным поклонником и проповедником царской власти, к ужасу всех друзей. Вот до таких пароксизмов нелепости могут иногда доходить в развитии своем натуры искренние, святые и страстные. А барон ведь еще очень молод, и развитие его далеко не кончилось.

В основе всего нравственного и умственного существа его — я говорю и утверждаю это с полною уверенностью и по праву, потому что в прошедшем году в продолжение четырех месяцев сряду я жил с ним вместе, можно сказать, в одной комнате, и проводил почти каждую ночь в разговорах о всевозможных вопросах; мне подробно известна история его детства и первой молодости, — итак, я повторяю, в основе всего существа и всех стремлений его лежит страсть к народу, негодование за народ и дикая ненависть ко всему, что давит его, а след<овательно>, прежде всего к правительству, к государству. Я не встречал еще другого такого искреннего и последовательно<го> революционера, как он. Барон умен, очень умен, но ум его дик, как его страсть, как его природа, и развился далеко не все-сторонне, хотя и не лишен развития значительного. Но в нем все: и ум, и сердце, и воля — а сердца и воли в нем много — все подчинено главной страсти разрушения настоящего порядка вещей; а, следовательно, его ранней мыслью должно было быть создание организации или коллективной силы, способной исполнить это великое дело разрушения — составление заговора.

Кто на своем веку занимался составлением заговоров, тот знает, какие страшные разочарования встречаются на этом пути: вечная несоразмерность между громадностью цели и мизерностию средств, недостаток и незнание людей — сто промахов на один порядочный выбор, один серьезный человек на 100 пустоцветов и пустозвонов. А тут вечная игра самолюбий, маленьких и больших честолюбий, претензий, недоразумений, недомолвок, сплетен, интриг — и все это ввиду гигантской, мастерски организованной, подавляющей и карающей власти, которую хочешь разрушить. Сто раз в неделю руки падают от отчаяния и от усталости. Еще хорошо и сравнительно легко составлять заговоры в таком краю и в таком моменте, когда целый народ или по крайней мере часть общества, целый класс, одержим одною и тою же самою сильною страстью — как, напр<имер>, в начале шестидесятых годов в Польше. Но там, где объединяющей страсти нет или мало или где вместо страсти сердечной существует и действует страсть головная, где

* Текст залит чернилами и не читается. — *Ред.*

более склонность к резонерству, чем к делу, где развращающим образом продолжает еще действовать византийское благословение и где, с другой стороны, научная критика, успевши разрушить старую нравственность, не успела еще создать нравственности новой, где научное отрицание свободного произвола объясняется большинством молодежи в смысле снисходительно-объективного созерцания своих собственных пакостей и имеет результатом естественным распущенность и обмельчение характеров, отсутствие всякой сосредоточенной страсти воли — одним словом, в России, образование тайного общества, серьезного, действительно заслуживающего это имя и способного к настоящему действию, становится невероятным трудным.

Испытав честно, но тщетно все честные средства: пропаганду принципа, страстное убеждение, человек, а особливо молодой человек, страстно стремящийся создать во что бы ни стало могучую и тайную коллективную силу и убежденный в том, что только действием такой силы можно освободить народ, естественным путем доходит до следующего результата, до следующей мысли: «Наша молодежь слишком развращена и дрябла для того, чтоб можно было надеяться силою одного убеждения довести ее до создания организации; но так как организация необходима и так как наши молодые люди не умеют и не хотят сплотиться свободно, то надо их сплотить помимо их знания и воли, и для того, чтоб эта организация, основанная наполовину на насилии и на обмане, не рушилась, надо их так опутать и компрометировать, чтобы возврат для них стал невозможным».

Вот первый естественный шаг к иезуитской системе — это шаг отчаяния, при первой встрече эта система претит такой сильной, страстной, *правдивой* и горячо *сердечной* натуре, как наш барон. Но в том моменте умственного и опытного развития, в котором он находился, другого исхода он не видел. Надо было или совсем отказаться от дела, или принять иезуитскую систему. Отказаться от дела он не мог и потому принял систему, а раз приняв ее, наперекор своему собственному сердцу, он, с свойственною ему страстною и беспощадною стремительностью, не щадя ни себя, ни других, жертвуя с дикой страстью и собою, и другими для дела или для того, что ему казалось таким, он довел эту систему до последней уродливой крайности. Я называл барона *правдивым* и *глубоко серьезным* человеком. Да не удивит вас это, мои милые друзья. Этот человек полон любви, да иначе и быть не может: у кого нет любви, тот не мог бы действовать с таким полным самоотречением, с таким полным забвением не только своих удобств, выгоды, личных желаний, стремлений и чувств, но даже своей репутации и своего имени, — он готов обречь себя на бесчестье, на общее презрение, даже на совершенное забвение о нем для освобождения народа. В этом состоит его *глубокая, высоко-доблестная и девственно-чистая правда* — и силою этой чистоты и правды он давит всех нас: хотим не хотим; если мы хотим быть честными перед самими собою, мы должны перед ним преклониться. Он глубоко любящий человек, он привязывается к людям страстно и все готов отдать своим друзьям, и никак уж нельзя причислить его к тем холодным умам и натурам, которые для достижения своих целей играют людьми, как манекенами. Он не самолюбивый эгоист и не интригант, мои милые друзья, потому что он не преследует *своих* целей и не только не пожертвует ни одним человеком для *своей* выгоды, для *своей* славы или для удовлетворения *своего* честолюбия, но скорее готов пожертвовать собою для всякого. В этом человеке нежное сердце.

Каким же образом он мог дойти в своих действиях и до наглой лжи, и до беспрестанной интриги, и до беспощадного эксплуатирования и компрометирования своих лучших друзей? А система? Не позабудьте систему. Раз убедившись — разумеется, ошибочно — в необходимости употребления иезуитских правил и средств *внутри* организации — заметьте, что я не говорю о их *внешнем* употреблении, которое и по моему мнению часто становится необходимым, потому что в борьбе против организованного деспотизма, где не можешь взять силою, надо взять хитростью, но, разумеется, настоящею хитростью, такою, у которой не было бы написано на лбу: эта хитрость, — раз убедившись в необходимости принять иезуитскую систему, он предался ей *по долгу*, тем страстнее, чем она была противнее

его собственной натуре; беспощадно для себя и для других, с суровостью религиозного аскета и фанатика, он стал убивать в себе и в других как преступные, т. е. делу мешающие слабости, все проявления личного чувства, личной правды и вообще все личные обязательства и связи. Чем более он чувствовал в себе самом склонности к личной страстной привязанности, тем фанатичнее стал он преследовать их в себе и в других. Он предпринял над самим собою и над всеми друзьями систематический курс нового воспитания, имеющего единою целью: систематическое убиение в себе и в других всего, что для каждого лично и общественно — не тайно, а публично общественно — свято и дорого. Мысль и цель его ясны: он видел и слишком сильно чувствовал и понимал, с одной стороны, громадную государственной силы, которую надо разрушить; видел с отчаянием, с другой стороны, историческую неразвитость, апатичность, разбросанность, бесконечную терпеливость и тяжелопоподъемность нашего православного народа, который, если б понял и захотел, одним махом своей могучей руки мог бы свалить всю эту государственную постройку, но который, кажется, еще спит сном непробудным, — и, наконец, видел, с третьей стороны, дряблость нашей молодежи, теряющей всю энергию в нескончаемом и бесцельном резонировании и болтании. В таком виде явилась перед ним русская действительность. Как сломать ее? Где та Архимедова точка, на которую могло бы дело поставить рычаг для того, чтоб поднять этот мир и поставить его вверх ногами? Точка — общая русская беда; рычаг — молодежь. Но в своем настоящем виде эта молодежь далеко еще не рычаг, а паршивое, развратное и бессмысленно доктринерствующее и болтающее стадо. Значит, надо прежде всего преобразовать ее, переменить ее нравы и обычаи.

Что развращает ее пуще всего? Влияние общественной среды. Значит, надо ее оторвать от этой среды. Она привязана к ней двумя нитями: 1-ая — карьера; 2-ая — семейные связи, сердечные привязанности и тщеславно-общественные отношения. Поэтому надо было разорвать эти нити, уничтожить возможность карьеры, возможность выхода, компрометировать до конца и сделать возврат к обществу невозможным — точно так же надо было разбить все семейные связи, все сердечные и тщеславные связи с обществом — и таким способом образовать фалангу суровых абреков, у которых бы сохранилась одна страсть: страсть *государственно-общественного разрушения*. Согласитесь, что это фантазия не маленького ума и не маленького сердца и что в этой фантазии, увы! много законного и много истинного.

Общество — я говорю не о народе — общество наше, т. е. вся сословная, более или менее привилегированная среда, неразрывно связанная с государством и существующая только посредством его, — не имеет другого средства исправиться, как разрушиться окончательно. Кто, не теша себя самолюбивыми мечтами и призраками, прекрасными, но бесплодными стремлениями и бесцельною болтовней, хочет действительно торжества русской революции, т. е. освобождения народа, тот должен хотеть коренного разрушения этого общества. Но буду ли я в состоянии искренно и всецело отдаться и служить делу этого разрушения, пока у меня останется с этим обществом хоть тень корыстолюбивых, славолюбивых, честолюбивых, привычных, семейных и других сердечных связей? — Нет, не буду. Значит, надо эти связи разрушить? Да, надо. — А нет силы их разрушить, не мешайся в революционное дело!

Ошибка барона, *по моему мнению*, состояла не в том, что он хотел окончательно оторвать молодежь от общества и поставить ее в бесцельно-враждебное отношение к нему, — это, по моему убеждению, необходимость, вытекающая из всего настоящего положения России, — а в том, что он в нетерпении своем желал собрать как можно скорее как можно большую силу, и, не находя, разумеется, в такое короткое время сотен людей, которые были бы на высоте этой программы, набирал людей без разбора, и вследствие отсутствия настоящей внутренней связи между ними вынужден был связать их обманом, компрометированием и насильством, и, наконец, пришел к тому, *что должен был вести иезуитскую систему в самую организацию*, — и тем развратил ее. Он не понял того, что, разрушив для членов организации все общественные и семейно-сердечные связи, он должен был создать

для них внутри самой организации новую связь, не отрицательную, а положительную — страстно-солидарное братство, основанное на общей цели, на взаимной правде и вере и на самой строгой круговой поруке.

Отсутствие такой положительной связи произвело самые грустные результаты при первом разгроме. Гром ударил, и вся организация рассыпалась. Мало того, развращенные иезуитским учением, арестованные члены организации стали доносить друг на друга и выдавать друг друга без совести.

Таким образом, бедный барон наш потерпел свое полнейшее кораблекрушение. Но, вместо того чтоб переменить систему, он уперся в ней, и, как доктор Санградо в романе «Жиль Блаз»¹, который лечил всех своих больных горячей водою и кровопусканием, а когда они умирали, утверждал, что они умерли от того только, что они мало выпили горячей воды и недостаточно выпустили крови, — так и барон наш, вместо того чтоб бросить иезуитскую систему, хочет уверить себя, что вся беда произошла от того, что он недостаточно ввел ее в плоть и в кровь своей организации. Это упорство, это упорное ослепление бедственно, без сомнения. Но должны ли мы сердиться на барона за это? Можем ли даже удивляться, что он не так легко нам уступает?

Мои милые друзья, легкая уступка с его стороны была бы доказательством легкомыслия, доказательством того, что он не серьезно и не страстно верил в систему, употребленную им для составления организации. Когда такие цельные, сильные и страстные натуры, как наш барон, ошибаются, они врываются в ошибку так глубоко, что возврат для них гораздо труднее, чем для других, более милых и приятных, т. е. пустозвонных и пустоцветных людей.

Возврат для барона труден, но не невозможен. А так как он человек драгоценный, и лучше, и чище, и преданнее, и деятельнее, и полезнее нас всех, вместе взятых, — то, оставив все мелкие и самолюбивые движения своей души, все личные чувства и обиды свои в стороне, — я говорю это особенно для Вас, Тата, — мы должны дружно соединить свои силы для того, чтоб помочь ему выкарабкаться из омута и дать ему возможность на основании взаимной правды, веры и совершенной прозрачности стать в наши ряды, впереди наших рядов — потому что он все-таки будет самым неутомимо и беспощадно деятельным между нами.

Для этого мы должны:

во-первых, уговорившись между собою, без всякого личного самолюбия и без всякой личной обиды для него, поставить ему твердо, определенно и ясно наши условия;

а во-вторых, мы должны, разумеется с его помощью, употребить все усилия для того, чтоб защитить его против злостно-сплетнической болтовни милых и немилых бездельников, спасти его честь и по возможности очистить его имя.

Я вам писал, мои милые друзья, обо всем откровенно, потому что убежден в необходимости действовать на него, и для спасения его самого, дружно и вместе; я говорил откровенно, полагаясь на вашу честность и честь, на ваше уважение к делу, уверенный в том, что все сказанное в нашей маленькой среде останется *строго и безусловно* между нами и что никто из нас не будет так подло-самолюбив, так бессовестно-легкомыслен, так слабоумен, так слаб, чтоб вынести из нашей среды наружу — в угоду вертящимся вокруг нас и скандалы, и сплетни с такою злостною жадностью пожирающим акулам — хоть малейшую часть того, что высказано или будет высказано в нашей среде. Если б было иначе, я никогда не простил бы себе своего письма и смотрел бы на него как на измену и как на преступление против русского дела.

На каких условиях мы должны стовориться и какими средствами должны действовать на барона — об этом, друзья, мы переговорим лично. Завтра я выезжаю отсюда и на днях буду у вас. Прошу вас, не говорите никому о моем скором приезде.

Ваш М. Б.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.10, л. 16—24, с автографа ВВ.

¹ Речь идет об известном романе Алена Рене Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сапильяны».

51

М. А. Бакунин — Н. А. Герцен

〈Сен-Морис.〉 26 июня 1870

Наталья Александровна,

Я приглашаю Серебренникова на свидание со мною — разумеется, в строгом секрете от всех, кроме вас. Что если бы вам вздумалось прогуляться по Женевскому озеру и приехать завтра в St.-Maurice? Я бы встретил вас на гавани с чрезвычайною радостью, но сомневаюсь больно, чтобы у вас на то достаточно 〈было〉 смелости, охоты и прыти. Во всяком случае, прошу вас передать прилагаемую записку Серебренникову и решительно никому не говорить о моем приглашении.

Ваш М. Б.

Много есть важных вопросов, о которых мне необходимо объясниться и перетолковать с вами.

Это и последующие письма Бакунина к Н. А. Герцен печатаются по фотокопиям ГБЛ, ф. 69, 25.1, с автографов *BN*.

52

М. А. Бакунин — Н. А. Герцен

26 июня 1870. Saint-Maurice, Hôtel du Simplon.

Наталья Александровна,

В объяснение моего утреннего письма, прошу вас, скажите Серебренникову, что я его жду здесь — чтоб он дешеvizны и приятности ради ехал пароходом до Vouvetet, а оттуда железною дорогою в St.-Maurice. Если б я знал, когда он выедет, я ждал бы его на горе. Не может ли он телеграфировать мне перед самым выездом так:

St.-Maurice, Hôtel du Simplon

Monsieur Benoît

Je pars par bateau-à-vapeur (ou par chemin de fer) à telle heure.

Emile *

Тогда я встречу его на горе — я говорю его, а не вас — потому что, хотя и очень, очень желаю, чтоб вы приехали с ним, не верю, чтоб вы решились ехать. Как бы то ни было, прошу вас передать содержание этого письма как можно скорее Серебренникову. Надеюсь, что он по крайней мере приедет и телеграфирует мне перед самым отъездом.

Ваш М. Б а к у н и н

А чрезвычайно нужно было бы мне, просто необходимо видеть вас перед приездом моим в Женеву. Приезжайте, Наталья Александровна, сделаете настоящее и доброе дело. А до тех пор решительно не говорите никому, что я здесь.

53

М. А. Бакунин — Н. А. Герцен

〈Сен-Морис.〉 28 июня 1870

Наталья Александровна,

Серебренников, с которым я провел целый вечер, спит, а я, прежде чем последовать его примеру, хочу сказать вам несколько слов. Из слов Серебренникова я убедился, что вы страшно возбуждены против Барсова, которого еще недавно считали лучшим между всеми нами. Мне мало известны ваши личные отношения с ним, но положим даже, что он так или иначе обидел вас лично. Но это все-таки

* Сен-Морис, отель Симплон, господину Бенуа. Выезжаю пароходом (или по железной дороге) в таком-то часу. Эмиль (*франц.*).

55

Н. А. Герцен — П. Л. Лаврову

Перевод с французского

4 июля 1870

В Париж из Женевы. Отправлено 4-го в 9 ч. 49 мин.¹ Париж, Батиньоль, авеню Сент-Овен, пассаж Сен-Мишель 10, Полю Сидорову².

Вышлите мне адрес Лопатина. Получил ли он мое письмо, отправленное 15 июня?

Натали Герцен

Сен-Жан ля Тур, Женева

Печатается по подлиннику ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 107, л. 6.

¹ В архиве Н. А. Герцен сохранился черновик этой телеграммы, где она спрашивала вообще о получении ее писем Лопатиным (фотокопия ГБЛ, ф. 69, 25.8, с автографа ВЛ).

² Лавров 5 июля ответил ей телеграммой с подписью «Сидоров», где сообщал адрес Лопатина (фотокопия ГБЛ, ф. 69, 25.22, с подлинника ВЛ).

56

П. Л. Лавров — Н. А. Герцен

Париж, 4 июля <1870 г.>

Милостивая государыня Наталья Александровна, сейчас я был, по поручению г. Лопатина, в Hôtel Maçon, где мне пришлось распечатать письмо ваше к хозяину отеля, так как он не был уверен, к нему ли это письмо. Спешу уведомить вас, что письмо ваше, в которое, кажется, было вложено и письмо г. Бакунина, было получено Лопатиным *ранее* его отъезда. Он читал и сообщал мне некоторые отрывки и дал прочесть все письмо г. Бакунина¹. Очень удивляюсь, что это вам неизвестно, так как немедленно по получении от г. Лопатина его адреса в Англии я писал по адресу Madame Alexandrine² в Женеву, Chemin des deux billards, где сообщил этот адрес, а также известие о получении г. Лопатиным писем, ему адресованных. На днях я ему послал еще одно письмо из Женевы, полученное в Hôtel Maçon. Почему мое письмо не дошло, не понимаю, так как это со мною еще не случилось. Оно было франкировано, и думаю, что я в адресе не ошибся. Позволяю себе надеяться, что это письмо дойдет вернее, и пользуюсь случаем, чтобы выразить вам то глубокое уважение, которое я питал к вашему отцу, то искреннее горе, которое я почувствовал, когда, собираясь бежать из России, узнал о его смерти, наконец, то полное сочувствие, которое я, человек, вовсе вам не знакомый, позволяю себе питать к дочери, которая несет достойным образом сама и поддерживаает достойным образом традицию идей такого отца. Сожалею, что обстоятельства не позволяют мне лично познакомиться с вами, так как я слышал о вас много хорошего.

Примите уверение в совершенном уважении

Петр Лавров

Paris, Batignolles, avenue St. Ouen, passage St. Michel, 10

Адрес: Genève, St.-Jean la Tour, campagne Baumgartner, Mademoiselle Natalie Herzen.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 25.7, л. 1—2, с автографа ВЛ.

¹ Разрешение на это дал ему сам Бакунин (см. п. 47).

² Madame Alexandrine — А. Озерова.

57

П. Л. Лавров — Н. А. Герцен

Париж, 5 июля <1870 г.>

Милостивая государыня Наталья Александровна,

Вы получите, вероятно, зараз оба мои письма, вчерашнее и сегодняшнее, потому что вчерашнее письмо опущено было в ящик четвертью часа позже надлежащего срока. Ночью, в 11 часов, вернувшись вчера домой, я застал вашу телеграмму, полученную, как мне говорили, за 4 часа перед тем. Немедленно я отправился в телеграфическое бюро, чтобы ответить Вам, но бюро было заперто, и я мог послать телеграмму только сегодня утром, около 7 часов утра. Только что я сделал это, сажусь написать вам адрес г. Лопатина: Brighton, England, Essex Street, Brighton Arms, Mr. Clark for Mr. H. L.

Но, повторяю написанное вчера: получив от Лопатина письмо и адрес 23 или 24 июня, я немедленно послал адрес M-me Alexandrine с извещением, что Лопатин напишет многочисленные ответы в самом скором времени, как только это будет ему возможно. Мне чрезвычайно досадно, что мое письмо не дошло, так как оно было послано именно с целью успокоить женевских знакомых Лопатина на счет участи посланных ему писем и с целью передать им, что лишь дела мешают ему скорее ответить им. Адрес послал я не в телеграмме, потому что мне известно нежелание Лопатина давать этот адрес лицам, не принадлежащим к кружку более близких знакомых.

Примите уверение в совершенном уважении Петр Л а в р о в

Можно ли будет когда-нибудь обратиться к вам с некоторыми вопросами относительно сочинений и биографических данных касательно Александра Ивановича?

Печатается по фотокопии: ГБЛ, ф. 69, 25.7, л. 5—6, с автографа ВВ.

58

С. Г. Нечаев — Н. А. Герцен

<Женева, 5 июля 1870 г.>¹

Вы наделали дела, поэтому объяснение с вами необходимо. Потрудитесь пожаловать к Огареву ненадолго и не ставьте в необходимость приходиться к вам.

Не задерживайте, я здесь проездом.

Записку возвратите подателю², надписав на обороте ответ. Конечно, о содержании записки и от кого она вы не проболтайте.

¹ Дата установлена по дневнику Н. А. Герцен.² Записку принес Владимир Серебренников (см. там же).

59

Г. А. Лопатин — Н. А. Герцен

Брайтон, 5 июля <1870 г.>

Простите, что до сих пор не отвечал на ваше письмо и на присланное вами письмо Б<акунина>: право, никак не мог. Я очень рад, что дело кончилось таким образом: по характеру я далеко не ссорщик, и мне тяжелы все подобные объяснения. Посылаю вам мой ответ Б<акунину>: я надеюсь, что он написан в миролюбивом тоне, хотя я и счел необходимым выставить с новою силою те положения, которые Б<акунин> оспаривает в своем ответе¹. Мне очень жаль, если в моих письмах к вам попадают места, выражающие сомнение и недоверие по отношению к Б<акунину>: я считаю, что иногда я имел основания, чтобы питать такие чувства, но теперь я не имею достаточных причин для того, чтобы их поддерживать. Я бы очень желал прочесть письмо Б<акунина> к Нечаеву (о котором Вы говорите), конечно, если Б<акунин> ничего не имеет против этого.

Я очень жалею, что Озеров удержал вас от пересылки моего письма к Нечаеву.

ву², потому что без этого дело не имеет окончательного смысла. Сверх того, я желал бы, чтобы Нечаев знал мое мнение о нем. В последнее время я получил из России показания некоторых из товарищей Н<ечаева> и признания, сделанные друзьям некоторыми из соучастников его в убийстве Иванова. Эти признания бросают еще более мрачную тень на все это печальное дело. Так что я не желаю, чтобы для Нечаева или для кого бы то ни было оставалась хотя малейшая тень сомнения относительно характера моих отношений к этому юноше.

Вы желаете оставить у себя копию с известной бумаги «Комитета»? Я решительно ничего не имею против этого; так как в злоупотреблении ею вами против Б<акунина> не может быть и речи; а это единственная причина, на основании которой я отказывал другим, желавшим иметь эту бумагу³. Вы недовольны ответом Л<юбавина>? Я и не думал выставлять его как вещь, достойную подражания. Я и сам нахожу, что можно наговорить нестерпимо оскорбительных вещей, не употребляя ругательных слов; но не забывайте одного: письмо Л<юбавина> было *вызвано* бумагою Комитета⁴; между тем как полученное им оскорбление *не было вызвано* ничем, кроме его искреннего желания услужить Б<акунину>; а потому я никак не могу согласиться с вами в том, что «одно стоит другого».

Все свои сомнения касательно дела Серебренникова я беру назад. Многое зависит от формы передачи: в том виде, как мне его передал Озеров, оно показалось мне ужасно невероподобным; но в том виде, как оно изложено в известной брошюре⁵, в нем нет ничего невероятного, и я ему верю.

В конце письма, по обыкновению, обращаюсь к вам с просьбою: 25-го июня я написал Элпидину очень важное для меня письмо, но не получил ответа; недавно я получил от него письмо, из которого увидел, что мое письмо им не получено; тогда я снова написал ему, на этот раз уже через Озерова, но опять не получаю ответа, так что меня берет сомнение: дошло ли мое второе письмо? Не может быть, чтобы Э<лпидин> медлил ответом на такое письмо. — Поэтому я буду просить вас передать прилагаемую записочку Madame Озеровой; в ней вложено маленькое письмо к Элпидину. (Говоря в скобках, я бы не желал, чтобы в Женеве знали, что я в переписке с Э<лпидиным>; Озеров, правда, знает, но это другое дело.)

Если вы уведомите меня, хотя в двух словах, о получении этого письма, я буду вам очень благодарен.

Л о п а т и н

Мой адрес: Essex Street, Brighton Arms. Mr Clarke for Mr H. L., Brighton, England.

P. S. Мне сейчас только пришло в голову: может быть, Озеровых нет в Женеве? Поэтому записочку Элпидину прилагаю отдельно: если Озеровых действительно нет, то потрудитесь сами переслать ее ему с кем-нибудь; вы этим меня крайне обяжете.

Печатается по фотокопии ГБЛ. ф. 69, 25.8, л. 9—12, с автографа ВВ.

¹ Это письмо Лопатина неизвестно.

² Речь идет о пересылке Нечаеву письма Лопатина [Бакунину от 25 мая (п. 34)]. Именно поэтому подлинник, а не копия этого письма остался в бумагах Н. А. Герцен.

³ См. об этом прим. 12 к п. 34. Впоследствии Лопатин отказал и Марксу в предоставлении этих бумаг, заявив, что не может «позорить <...> человека, игравшего такую роль в нашем революционном движении» (цит. по кн.: Ю. Рапорт. Указ. соч., с. 25).

⁴ Письмо Любавина Бакунину, написанное в ответ на угрожающее письмо «Комитета», неизвестно.

⁵ Брошюра Серебренникова об его аресте швейцарскими властями.

<Женева. 6 июля 1870 г.>¹

Я был у вас и прошу вас быть дома в 6 часов — до 6^{1/2} я приду: мне непременно надо вас видеть.

В. С е р е б р е н н и к о в

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 25.17, с автографа ВВ.

¹ Датируется по дневнику Н. А. Герцен.

61

Н. А. Герцен — П. Л. Лаврову

Женева, 10 июля 1870

Campagne Baumgartner, St. Jean la Tour

Письмо ваше от 23-его и 24-ого июня Озеровы получили, потому что адрес г. Лопатина им известен; они мне его сообщили *после* того, как я вам телеграфировала. Не знаю, почему они не решались дать мне его раньше, может, из осторожности, зная, что г. Л<опатин> не желает, чтобы все знали, где он находится. Не понимаю также, отчего они мне не сообщили, что моя посылка получена; они знали, как я беспокоилась; я несколько раз спрашивала их, не слыхали ли они хоть косвенно о том, что получил г. Л<опатин> мое застрахованное письмо или нет.

После всех глупых и некрасивых историй, которые здесь были, поневоле делаешься подозрительным — поэтому я под конец начала думать, что письмо мое перехватили, вследствие чего я решилась обратиться к вам и вас побеспокоить, несмотря на то что не имею удовольствия быть лично с вами знакома, и очень, очень Вам благодарна за то, что вы так скоро мне ответили и меня успокоили.

Второе письмо Бакунина к г. Лопатину¹ не удовлетворило меня, потому что Бакунин в нем слишком мало говорит о Нечаеве и совсем не объясняет свои отношения к нему, а это необходимо, чтоб доказать, что он не всегда был солидарен с «Народной Расправой». Однако теперь Бакунин и даже Огарев убедились, что их надували, и прекратили все сношения с Нечаевым и его товарищами.

Я всегда готова отвечать на все ваши вопросы касательно Папаша и с удовольствием расскажу вам все, что знаю о его жизни. Рукописей он оставил очень мало, и некоторые из них нельзя еще печатать!²

Надеюсь, что мне удастся когда-нибудь лично с вами познакомиться, помню, с каким уважением Папаша говорил о вас и о ваших сношениях³.

Н. Герцен

Печатается по автографу ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 107, л. 2—2 об.

¹ Это письмо неизвестно.

² Семья Герцена не считала возможным печатать некоторые части «Былого и дум», не изданные Герценом при жизни (о семейной драме, о «молодой эмиграции»). Кроме того, Н. А. Герцен не была, вероятно, еще информирована о принятом А. А. Герценом решении опубликовать «Письма к старому товарищу».

³ Как известно, Лавров сотрудничал в «Голосах из России». Герцен знал и ценил и другие его работы. Сохранился, в частности, его отзыв на «Исторические письма», печатавшиеся в 1868 г. в «Неделе»: «Статья Миртова очень хороша», — писал он Огареву 10 октября 1868 г. (XXIX, 460. Миртов — псевдоним Лаврова).

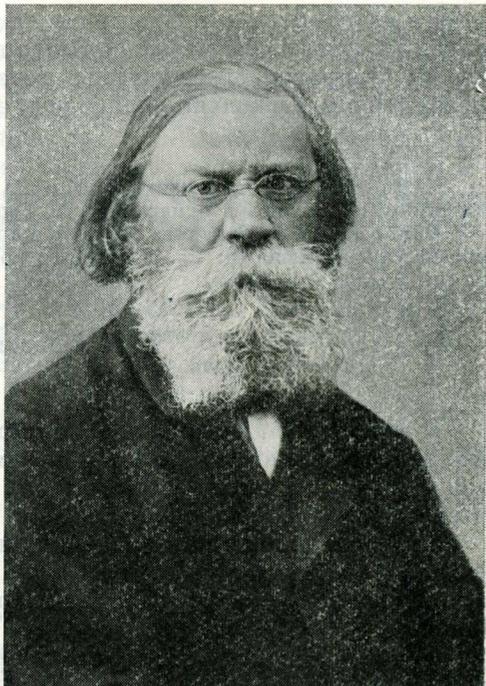
62

М. А. Бакунин — Н. А. Герцен

16 июля 1870. Женева.

Наталья Александровна,

Так как все объяснения мои с Лопатиным кончились удовлетворительным образом, то прошу вас возвратить мне письмо Лопатина, а также и копию с моего



П. Л. ЛАВРОВ

Фотография Т. Бернара. Париж, начало 1880-х гг.
Литературный музей, Москва

ответа на это письмо ¹. Прошу вас также переслать мне через Семена копию моих писем Нечаеву ². Затем мне остается пожелать вам всего доброго и поблагодарить вас за беспристрастное участие, которое вы принимали во всех этих неприятных делах. Через несколько дней я уеду в Локарно.

Преданный вам М. Бакунин

¹ Оба указанных документа (п. 34 и 47) по неизвестным нам причинам не были возвращены Бакунину и остались в бумагах Н. А. Герцен.

² Из всех писем Бакунина Нечаеву в архиве Н. А. Герцен осталась только копия большого письма от 2—9 июня (п. 43). Остальные, по-видимому, были ею возвращены.

63

Г. А. Лопатин — Н. А. Герцен

Брайтон, 22 июля <1870 г.>

Я слышал от Лаврова, что Вы справлялись о судьбе Вашего письма — вероятно, вследствие моего долгого молчания. Я надеюсь, что Вы уже давно получили мое письмо, посланное из Брайтона, и не отвечаете только потому, что дожидаетесь письма от Бакунина.

1 августа я переселяюсь в Лондон, и потому до получения моего нового адреса не адресуйте мне писем в Брайтон, а пересылайте их через Лаврова (Batignolles, avenue St. Owen, passage St. Michel 10, Mr. Sidoroff, pour remettre à Mr Lopatine).

Лавров писал мне как-то, что Озеровы, *кажется*, уже покинули Женеву. Если Вы в переписке с ними, то сообщите им при случае, что письмо, адресованное в Брайтон, не дойдет до меня, так как мне некому поручить здесь получение и пересылку мне моих писем. Если же они в Женеве, то потрудитесь передать им это на словах, avec mes compliments * (так, кажется, это говорится в образованном обществе).

Что хорошего делается в Вашей Женеве?

Лопатин

Адрес: Switzerland. Mademoiselle Natalie Herzen. Campagne Baumgartner. St.-Jean la Tour. Genève.

Это и следующее письмо Г. А. Лопатина к Н. А. Герцен печатаются по фотокопиям ГБЛ, ф. 69, 25.8, л. 14—16.

64

Г. А. Лопатин — Н. А. Герцен

Брайтон, 28 июля <1870 г.>

Лавров просил меня переслать Бакунину от него письмо, так как он не знает его адрес.

Бакунин, правда, сообщил мне свой адрес (Locarno и пр.), но так как из его письма я заключаю, что он живет в настоящее время в Женеве и так как я не знаю его женевского адреса, то я опять вынужден обратиться к Вам с просьбою передать ему прилагаемое здесь письмо Лаврова.

О деле Иванова я напишу уже из Лондона: в настоящую минуту я спешу оканчивать еще несколько нужных писем.

Лопатин

65

Н. Н. Любавин — П. Л. Лаврову

Тюбинген, 28 июля 1870

Петр Лаврыч,

Письма ваше, Лоп<атина> и Бак<унина> получил сегодня, последние 2 отослал, согласно желанию Л<опатина>, в Петербург ¹. Каковы наши герои, освободители несчастного человечества! Я не сомневаюсь, что среди политических дея-

* с приветом от меня (франц.).

телей всех стран можно найти немалое количество дряни, но нам, кажется, особенно везет в этом отношении; и я думаю, что причина этого отчасти заключается в сильном недоразумении насчет принципа «цель оправдывает средства», господствующего у нас. Сравнивая борьбу против существующего порядка с войною, забывают, что и на войне не все позволительно, что есть вещи (напр<имер>, расстреливать пленных), которых стыдятся даже люди довольно низкой нравственности. Главное же, не принимают в расчет, что крайняя неразборчивость в средствах невозможна без насилования того чувства, которое назыв<ается> совестью, которое от частых подавлений, конечно, атрофируется, и тем самым подкашивается в самом корне и тот мотив, который побуждает человека посвятить свою деятельность на пользу общую, п<отому> ч<то> какой же это в большинстве случаев мотив, как не чувство долга? Недурный пример в этом отношении Лассаль, окончивший свое поприще дуэлью из-за знатной и смазливой девчонки².

Насчет нового издания Истории Каппа³ ничего не слыхал. Знаю только, что в прошлом году вышло 2 выпуска прибавлений к его труду, содержащие исследования некоторых специальных вопросов из истории алхимии — насколько мне известно.

Я собираюсь уехать отсюда недели через 3. Не будет ли от вас каких-нибудь поручений в Петербург?

Н. Л ю б а в и н

Печатается по автографу ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, д. 655.

¹ 8 августа 1870 г. Лопатин писал по этому поводу Лаврову: «Вы пишете: «Я не знаю, желали ли Вы пересылки письма Бакунина в С.Петербург или нет» и пр. Но боже мой, я нарочно послал письмо мое к Л<юбавину> открытым для того, чтобы Вы его прочли, хотя, может быть, я и забыл упомянуть об этом в моем письме к Вам. Я нарочно писал разные вещи в этих двух письмах для того, чтобы не заставлять Вас скучать, читая два раза одно и то же» («Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 136—137). Речь идет, без сомнения, о копии письма Бакунина к Лопатину от 9 июня 1870 г. (п. 47).

² Фердинанд Лассаль (1825—1864) — деятель немецкого рабочего движения, публицист и философ. Был смертельно ранен на дуэли, на которую вызвал прежнего жениха своей невесты Елены Деннигес, дочери баварского дипломата.

³ Очевидно, речь идет о книге Эрнста Каппа (Ernst K a p p. Vergleichende allgemeine Erdkunde in wissenschaftlicher Darstellung. Braunschweig, 1868).

66

С. Г. Нечаев — М. А. Бакунину и Н. П. Огареву

⟨Лондон, конец июля 1870 г.⟩¹

Бакунин и Огарев,

Отчего при расставании, целуя меня, как Иуда, вы не сказали мне, что будете писать вашим знакомым?² Последнее письмо ваше к Таландье и предупреждение Гильбома об опасности участвовать в деле, которого вы всегда были инициаторами в теории³, — суть самые бесчестные и самые подлые поступки, вызванные мелкой злобой. Вы, наперекор всякому здравому смыслу и выгоде дела, непременно хотите упасть в грязь. Так падайте!

До свиданья.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 26.46, с автографа В.Н.

¹ Датируется по связи с письмом Бакунина Огареву от 2 августа 1870 г. (Письма М. А. Бакунина, с. 299). На самой записке помета другой рукой: «Август 1870».

² Имеются в виду письма Бакунина от 24 июня 1870 г. к Таландье и В. Мрочковскому (Письма М. А. Бакунина, с. 285—290).

³ Речь идет об организации Нечаевым банды экспроприаторов (см. вступит. статью).

67

В. М. Озеров — Н. А. Герцен

<Июль 1870 г.>

Brighton, England. Essex Street, Brighton Arms. Mr Clarke for Mr H. L.

Наталья Александровна!

Посылаю Вам адрес Лопатина и прошу извинить, что не могу быть у Вас сам; когда будет посвободней, зайду непременно.

Печатается по фотокопии ГБЛ, ф. 69, 25.13, с автографа ВМ.

68

Г. А. Лопатин — Н. А. Герцен

Лондон, 1 августа <1870 г.>

Вот, в коротких словах, те новости, которые получены мною о деле Иванова. Я знал до сих пор, что И<ванов> был умерщвлен не как шпион, а как человек, изменивший свои взгляды и отступивший от некоторых §§ устава «Комитета»; но *в чем* состояли эти отступления — я не знал. Вот что говорят лица, участвовавшие в убийстве, и некоторые другие. И<ванов> был человек достаточный (может быть, даже — богатый) и не однажды снабжал Нечаева деньгами. Под конец его стало брать сомнение относительно правильного употребления денег. В один прекрасный день он сказал Н<ечаеву>: «Я даю вам деньги в последний раз. Вы знаете: я готов отдать на «дело» все, что я имею, но для этого я требую двух условий: 1) чтобы лицо, которому я буду давать деньги, внушало мне большее доверие, чем вы; 2) чтобы я имел какие-нибудь гарантии относительно того, что само это лицо знает, куда идут деньги, а не служит лишь слепым орудием в чьих-нибудь руках». — Н<ечаев>, говорят, не взял денег, но пошел к Успенскому, Прыжову и др. и сказал им, что подобные слова есть нарушение дисциплины, несоблюдение § устава, гласящего: «собственность членов находится в распоряжении „Комитета“, что подобные вещи нужно прекращать в самом начале... и пр. — Итак, И<ванов> убит вследствие: 1) оскорбленного самолюбия (если хотите — честолюбия) Н<ечаева> и 2) за нарушение § устава, по которому «Комитет» распоряжается бесконтрольно собственностью членов. На мой взгляд, это очень печальные сведения.

Далее: я знал, что У<спенск>ий выманил И<ванов>а в лес под приличным предлогом, и я всегда удивлялся, почему, идя с ним рядом, он не выстрелил ему в висок? Для чего тут понадобилось пять человек? Но теперь мне пишут, что, по рассказам участников, они так растерялись, что забыли, что при них есть оружие, и стали бить И<ванова> камнями и кулаками и душить руками; вообще убийство было самое зверское. Когда И<ванов> был уже мертв, Н<ечаев>, вспомнив о револьвере и для большей уверенности, выстрелил труп в голову. Впрочем, это последнее обстоятельство, если не ошибаюсь, я рассказывал вам, точно так же, как и то, как в темноте Н<ечаев> принял У<спенско>го за И<ванов>а и бросился на него, как И<ванов> впустился бежать, «Комитет» — за ним... и т. д. всю эту трагикомическую сцену¹.

Далее в письме сообщают мне историю происхождения «Комитета» и его развитие. Но так как тут все дело вертится на именах и фамилиях, то я не могу распространяться об этом. Притом же почти все личности вам не известны, а потому все это не может особенно интересовать вас.

Из сообщаемых мною Вам сведений вы можете делать какое вам угодно употребление. Но обратите внимание только на одно обстоятельство: я *верю* лицам, сообщившим мне все это; но, в случае недоверия и сомнения *с чьей бы то ни было* стороны, в случае каких бы то ни было *объяснений*, я наперед положительно *отказываюсь* сообщать фамилии этих лиц и вообще привести какие бы то ни было доказательства справедливости моих слов и рассказов. Я не считаю себя ни вправе,

М. А. Бакунин — Н. А. Герцен

«Локарно.» 2-го августа 1870.

Милая Тата,

Мне самому было очень грустно уехать из Женевы, не повидавшись и не простившись с вами. Но что прикажете делать? Я не мог победить отвращения, возбуждаемого во мне одною мыслью о Вашей старшей приятельнице и соименнице¹, — а главное, я спешил: бедная Antonia звала меня — она была совершенно одна, и я спешил к ней на помощь. Так и уехал, не простившись с вами.

Вот вам адрес Семена Серебренникова: *Suisse, Herrn S. Serebrennikoff, Öttingen 360. Bei Frau Bülsterli. Zürich.*

Я насчет его в большом беспокойстве. На другой же день моего возвращения сюда писал ему и до сих пор еще не имею ответа. Знаю, что он должен был вместе с старым другом, которого должен был встретить в Цюрихе, отправиться путешествовать по горам, и вот какое известие я вычитал третьего дня в „*Bund*“: „Один молодой русский студент Цюрихской политехнической школы, взбираясь на гору Пилат возле Люцерна, упал в пропасть и расшибся до смерти.“ Я сейчас же написал в Цюрих для того, чтоб справиться о Серебренникове. Надеюсь, что несчастье случилось не с ним². Это было бы большое несчастье. Я редко встречал молодого русского человека, более симпатичного и более достойного уважения и веры, чем он. Если знаете что о нем, прошу вас, напишите.

Вы спрашиваете меня, не слыхал ли я что-нибудь о нашем любезном «бароне» (Нечаеве) и его товарищах. С сею же почтою посылаю Огареву записку его, полученную мною вчера вечером, — прочтите и сохраните ее у себя как документ, под номером, в числе других документов. Ведь вы же наш архивариус! Дайте прочесть ее Озерову и Жуковскому, только под условием молчания. Как вам нравится эта записочка? Фанатик наш в своем более или менее искреннем изувержестве превосходит даже Робер-Макера³, а я начинаю сомневаться даже в искренности его изувержства, и нам всем, а мне более всех остается покрыть голову пеплом и с горем воскликнуть: мы были круглыми дураками! Вперед наука — жаль, что старость приходит и что немного лет остается для того, чтобы пользоваться наукою. Я просил Мрочковского, к которому он являлся, дать мне самые подробные известия о его адресе, новых связях и всех новых проделках. Что узнаю, вам сообщу.

А нескромна ли будет с моей стороны следующая просьба? К вам известия о военных действиях доходят посредством телеграфа тотчас же — к нам через два дня. Всякий раз, когда случится что крупное, французы ли вошли в Германию и поколотили немцев, немцы ли во Францию и поколотили французов, французский ли флот разбил прусский и совершил десант на немецком берегу, какая-либо новая держава: Россия, Австрия, Дания, Италия, Англия приступила к войне — одним словом, когда случится в каком бы то ни было отношении что важное, телеграфируйте мне на следующий адрес: *Locarno. Signora Teresa Pedrazzini*, да как можно точнее и подробнее. Если вы это сделаете, я буду Вам чрезвычайно благодарен.

Прощайте, жму Вашу руку

М. Б а к у н и н

Антося вам кланяется.

Я вам пишу этот раз через Огарева, потому что забыл записать ваш адрес и боюсь ошибиться. Пришлите мне ваш точный адрес.

На конверте: à Mademoiselle Tata.

¹ Имеется в виду Н. А. Тучкова-Огарева.

² Несчастье случилось не с Серебренниковым (о нем см. прим. 1 к п. 32).

³ *Записочка* — см. п. 660. *Робер-Макере* см. выше на с. 279 — персонаж пьесы «*L'Auberge des Adrêts*», в XIX в. ставший символом наглого мошенника.